

ЮНОСТЬ

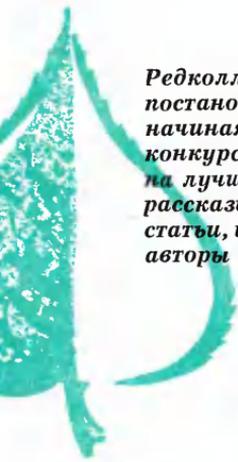




**В. И. Ленин председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров.
Москва, 17 октября 1918 года.**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ



*Редколлегия журнала «Юность»
постановила:
начиная с 1974 года ежегодно проводить
конкурсы «Зеленого листка»
на лучшие повести,
рассказы, стихи, очерки,
статьи, иллюстрации,
авторы которых в п е р в ы е выступают в печати*

(Условия конкурса — на стр. 107).

1 (224)
январь
1974

Журнал
основан
в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ

С того скорбного вечера 21 января 1924 года, когда неумолимая болезнь остановила биение ленинского сердца, прошло столетие. Множество событий величайшей исторической важности произошло в мире за эти пятьдесят лет. Но память нетленно хранит все, что связано с этой датой.

...Был морозный, метельный вечер 22 января. В кривобоком домишке бывшего тракторного трактора, где обосновался волостной Народный дом, только что закончился доклад о кровавом воскресенье 9 января 1905 года, и зрители ждали начала спектакля, когда из исполкома прибежала сторожиха и сказала, что Рыбинск требует к телефону кого-нибудь грамотного. Когда я пришел в волостной полком, далекий, плохо слышный голос велел взять карандаш и бумагу и стал диктовать строки обращения Центрального Комитета партии по поводу смерти Владимира Ильича. Обращение призвало народ сплотиться вокруг созданной Лениным партии для продолжения и победного завершения дела, начатого великим вождем.

Мне в моей жизни всего дважды привелось видеть и однажды слышать Владимира Ильича в Петрограде — первый раз во время первомайской демонстрации на Марсовом поле и во второй — на рабочем митинге в Новом Адмиралтействе, куда меня привел единственный тогда в порту большевик-грузчик Ефим Салапах.

Семнадцатилетний парнишка, я в те дни еще не силен был разбираться в тонкостях сложной политической ситуации первых месяцев после свержения самодержавия, не знал, какое место занимает Ленин в ожесточенной политической борьбе. Но тогда я скорее почувствовал, чем понял, что этот человек не может быть тем страшилищем, каким его пытались представить народу буржуазные газеты, обливавшие грязью Ленина и большевистскую партию.

...И вот в исполкоме, под вой январской метели за окнами, я ловил сквозь треск разрядов слова обращения и плохо слушающей рукой записывал их, чувствуя, как в горле растет и растет стесняющий дыхание ком.

Вернувшись в Народный дом и прервав спектакль, я прочел в тревожно затаявшуюся темноту маленького зрительного зала слова обращения партии к народу.

Как тяжелые каменные глыбы, ложились эти слова на человеческие сердца, и все эти люди — старые и молодые, мужчины и женщины, никогда не видевшие живого Ленина, иногда и ворчавшие на Советскую власть за нередкие трудности и неполадки жизни первых послеоктябрьских лет, — почувствовали острую боль личной утраты и тревогу за завтрашний день, когда надо будет жить «без него».

Полутоление, прошедшее с того январского вечера, показало, что партия и народ, преодолев скорбь и горечь понесенной невосполнимой утраты, совершили, пройдя сквозь строй величайших и жесточайших испытаний, стремительный взлет на подступы к будущему коммунистическому обществу. И живой Ленин, воплощенный в его великих трудах, его ясных заветах, был всегда рядом с нами в трудные дни испытаний и в солнечные дни великих исторических свершений.

Чтобы навсегда закрепить в сердцах молодых поколений чувство верности заветам гениального вождя, комсомол назвал себя Ленинским.

И он имел уже завоеванное в огне гражданской войны и в трудных буднях великого восстановительного труда право нести на своем знамени имя Ленина, который, давая советы организаторам октябрьского штурма, посылал на самые трудные участки работу молодежь и матросов, который, выступая на Третьем комсомольском съезде, дал в своей речи направление деятельности комсомола на многие годы и десятилетия вперед.

...Оглянемся назад. Вспомним те дни, когда Ленина не стало. Перед партией и народом лежала огромная страна, в которой многовековая отсталость была усугублена великой разрухой — страшной спутницей двух изурительных войн, катастрофическим голодом, охватившим огромные просторы Поволжья. И вековая темнота. Неграмотность большей части населения и цепкие пережитки дореволюционного прошлого — все это лежало на пути народа к тому справедливому и счастливому обществу, строить которое Ленин призвал в дни Октябрьской победы.

И не так в то время многочисленны были ряды ленинской партии, закаленной в огне великих испытаний. И не так широк был развернутый строй верного помощника партии — комсомола, вставшего под ленинское знамя.

ВЕЛИКОГО ИМЕНИ

Но народ, поверивший в силу и мудрость ленинского учения, в непоколебимость железной воли ленинской партии, послал в ее ряды сразу же после смерти Ленина тысячи и десятки тысяч своих лучших сынов и дочерей, и среди них совсем юных, прошедших школу политической зрелости в рядах комсомола.

И невиданным трудовым напряжением на фронте борьбы с разрухой народ рапортовал вечно живому вождю восстановленными из руин и пепла заводами и фабриками, ожившими угольными шахтами и нефтяными промыслами, возрождением плодородия поросших бурьяном войны полей.

И городская и сельская молодежь, сплотившаяся под ленинским знаменем комсомола, была верным и активным помощником партии во всех ее великих начинаниях.

Это комсомол, посылая юношей и девушек учиться на рабфаки, закладывал первые камни фундамента нашей нынешней процветающей науки и высокой инженерии промышленности и сельского хозяйства.

Это комсомол, посылая на флот и в военные учебные заведения молодых патриотов, помогал партии строить и крепить оборону нашей Родины, тем самым подготавливая великую нашу победу над полчищами гитлеровских захватчиков.

В историю наших трудовых побед в годы довоенных пятилеток навсегда, рядом с именами ветеранов, отцов и дедов, вписаны имена комсомольцев — строителей индустриальных гигантов в европейской и азиатской частях страны (Днепрогэса и Магнитостроя, Сталинградского и Челябинского тракторных, Уралмаша и Кузнецкого металлургического гигантов), имена комсомольцев, помогавших партии в переводе сельского хозяйства на колхозные рельсы.

И нынешнему поколению молодежи известны и чтимы им имена шахтера Алексея Стаханова, ткачих Евдокии и Марии Виноградовых, трактористки Прасковьи Ангелиной, звеньевой-свекловода Марии Демченко и многих, многих других.

С честью выдержав испытание на трудовом фронте довоенных пятилеток, Ленинский комсомол в дни Великой Отечественной войны принял эстафету воинской доблести из рук молодого комсомольского поколения, давшего таких героев, как Николай Островский, Александр Фа-

деев, Виталий Бонивур, Аркадий Гайдар. Навсегда вписаны в историю воинской доблести сынов и дочерей народа имена Зои и Шуры Космодемьянских, Лизы Чайкиной, Саши Чекалина, Александра Матросова, молодогвардейцев и тысяч им подобных рыцарей без страха и упрека.

Годы, прошедшие после окончания Великой Отечественной, вписали в книгу истории трудовой и боевой славы новые подвиги. Это молодые, не боящиеся трудностей и лишений, ехали на восток по призыву партии поднимать целину. Это молодые по призыву партии шли в рядах геологических партий разведывать несметные богатства Сибири и Дальнего Востока, воздвигать на великих реках могучие электростанции, добывать нефть и газ в знойных песках пустынь Средней Азии и на суровом сибирском Севере.

Есть что-то символическое в том, что первым землянином, которому посчастливилось из космоса взглянуть на нашу старую и вечно молодую планету, был воспитанник комсомола Юрий Гагарин, так похожий своими душевными качествами на миллионы лучших комсомольцев наших дней.

Уже за тридцать миллионов перевалило число юношей и девушек нашей страны, вставших под украшенное орденами Родины и освещенное великим именем Ленина знамя комсомола.

Юноши и девушки города и деревни, старшие школьники и студенты, промышленные рабочие и труженики полей, инженеры, техники, молодые ученые, молодые люди искусства и литературы, сотни тысяч молодых учителей, врачей, агрономов — вот та великая армия, которая под руководством коммунистов трудится рядом с отцами и старшими братьями на широком фронте штурма подступов к коммунистическому обществу или готовит себя к будущим трудовым подвигам.

И нам, комсомольцам первых призывов, торившим первые тропы к широким дорогам трудовой и боевой доблести комсомольцев и ведомой ими несоюзной молодежи, очень хочется, чтобы в дни, когда приближается пятидесятилетие принятия комсомолом имени Ленина, каждый из нынешней многомиллионной армии комсомольцев и комсомолок с особой остротой почувствовал, к каким великим подвигам и свершениям обязывает имя Ленина, начертанное на ее славном знамени.

Вячеслав Шерешев



Сыновья

Я часто ездил. Спал, где мне постелят.
Порой с комфортом. Чаше — на полу.
Я слушал, как мороз бродил в метелях,
Зеленый мир упрятан под полу.
В такую пору не сугробы — кручи.
И как маяк — любой избы труба.
Заснеженную шапку нахлобучив,
Меня укрыла в непогодь изба.
Духмяный хлеб, не обронив ни крошки,
Старушка распластала у груди.
Поставив щей дымящуюся плешку,
Тихонько позвала:
— Сынок, иди...
Звенели сосны бронзовой корою,
Скребя колючей лапой по стеклу.
В печи металась искры светлым роem,
Тянул я руки к вечному теплу,
Сидел и слушал, как трещат поленья...
А из угла — не бог, не образа! —
С журнального портрета щурил Ленин
Земные и бесстрашные глаза.
И ниже чуть, в пилотках залихаатских
Два парня у разрушенной стены:
Фотограф, неизменный друг солдатский,
Запечатлел в последний год войны...
И был в том смысл, что их портреты
рядом:

В любой семье Ильич — за своего...
Я сл. Старушка тихим, долгим взглядом
Смотрела на сынов и на него.
Как будто что-то в лицах их читала,
Что ведомо одной лишь только ей,
Как будто вместе их родней считала,
И Ленин старшим был из сыновей.



Я не боюсь сентиментальности:
Она причастна слову грусть.
Боюсь славности, банальности,
Пустой риторики боюсь.
Как много строчек риторических
Порою у коллег моих!
Как много ноток металлических:
Боюсь, не заржавел бы стих —

Металлы часто окисляются...
А впрочем, это вранда.
Сентиментальность нам прощастся.
Ложь не простится никогда.

Землекопы

Мы не забыли, как рыли окопы.
Мы — землекопы.
Мы — землекопы.
И отступали, и наступали —
Всякое было.
Мы, землекопы, землю копали:
Рыли могилы...
Грозы прошли.
Время — птицам и розам.
Реквием — павшим.
Мы, землекопы, по утренним росам
Сеem и пашем.
Видни века в микроскопы
Раскопок —
Улицы древних.
Снова копаем, но не окопы —
Гнезда деревьев.
Но мы не забыли,
Как рыли окопы.
Эй, землекопы мы! Землекопы!

Юрий Шигаев



Зерно

Лопатюю — обычным инструментом —
В разрушенном подвале земляном
Рабочие на стройке под Ташкентом
Нашли кувшины, наполненные зерном.
Оно веков семнадцать пролежало,
Безвестною рукой погребено,
Лишь ржа в земле осталась от металла,
Но сохранилось древнее зерно.
И проросло весной быстротечной,
И каждый колос выжил и окреп.
Что тьма веков! Добро людское вечно,
Как солнце, как земля моя, как хлеб!

Березы

Когда березы корчевали,
Когда березы волокли,
Они на помощь будто звали,
Зажав в корнях куски земли.
Давно не стало светлой рощи,
Снесли наш старый сад и дом.
Забетонировали площадь,
И загудел аэродром.
И самолет бежит по детству.
Останет поле от колес,
И увезу я, как наследство,
С собою в сердце свет берез.



Летом рвется, как будто пламя,
Рвется сердце мое на простор.
Очарованный в детстве снами,
Не опомнюсь еще до сих пор.
Все мне кажется, небо льется
В неукротимости, как река.
Звезды светятся днем в колодцах,
Заколдованных на века.
Не смолкает осинок трепет,
Будто их разлучают навек.
Все мне кажется, будто лебедь
Что-то скажет мне, как человек...

Олег

Кочетков



Сивка

*Товарищам по работе
в тепловозосборочном цехе
посвящается*

Скользнув по крутому загравивку,
Погладила холку ладонь.
Да это же сказочный Сивка —
И правда не конь, а огонь!..
Болты, если мне не стараться,
Упрямо идут вперед.
Ответственная операция —
Снаружи крепить тепловоз!
Одним только полон желаньем,
Бряцая оправкой своей:
Протяжное Сивкино ржанье
Услышать как можно скорей.
Он в яблоках серой шпаклевки,
Домашний и добрый на вид.
..Пусть мы не в халатах — в спецовках,
Но каждый из нас Анболит.



Какая же неистовая сила
Сокрыта в работе-молотке!
Грубое, каменное зубило,
Вздрагивая, охает в руке.
По звончатому полю нержавеющейки
Торопится стальная борозда.
Со гба скатившись, капли, как монетки,
Сверкают на поверхности листа...



Пригладив рогами вилами
Пушистое сено в копне,
Дед хлопнул вожжами вполсилы
Кобылу по лысой спине.
Душистый, вихрастый пригорок
Туманом белесым поплыл,
И, робко заржав, жеребенок
В тележной пыли затрусил.
А я, разметавшись на сене,
Глазел, как расгуст облака,
Великою тайной сравнений
Еще не болевший пока...

Все как прежде...

Снова кружево хрупких берез,
Робкий лепет стыдливых осин.
Для волнения, для трепетных слез
Снова множество веских причин.
Вдохновенная трав тишина,
Снова даль без конца и без края,
Соловьиная ночь дспьяна,
И избенка, по-русски простая.
Снова день с васильковым рассветом,
Петухов стооттенковый клич,
Все как прежде... Лишь девочки нету,
Что звала меня просто — москвич.

Александр Васютков



Опять весна, и гвалт веселый,
И пар, окутавший забор.
Весной, как будто новоселы,
Мы снова обживаем двор.

Война недавно отгремела,
Всего лишь год тому назад.
Но жизнь как будто опустела
Без не вернувшихся солдат.

Муж тети Маши, дядя Слава,
Забыл ты, что ли, про несл!
Она давно перестирала
Все довоенное белье.

Она к воротам выбегает,
Боясь не встретиться с тобой.
Она красивая такая
В нарядной кофте голубой.

Пионерлагерь

Если выйти
дорогой лесною,
чуть от лагеря отойти,
на поляне
под старой сосною
можно пули и гильзы найти.

Тупорылые пули немецкие
и советские,
словно штыки.
И от них тяжелы
наши детские,
крепко сжатые кулаки...



В плаще годов шестидесятых,
В ботинках этой же поры
Иду с тетрадкой слов крылатых
Меж воробьев и детворы.

Осенний лист к ногам скатился.
Он удивительно красив.
И жив еще Илья Сельвинский.
Еще Корней Чуковский жив.

Вот я на площади Восстания
Светлова профиль узнаю,
И радость этого свиданья
Перепополняет жизнь мою...

Маме

Ручейки прорываются первые.
Пахнет мартовский воздух весной.
Посветлили глаза твои серые,
и сединки еще ни одной.

Только волосы
глаже ложатся,
все спокойнее
дней круговерть:
миру надо, не удивляться,
а светлеть от него,
светлеть.

Валерий Левенко

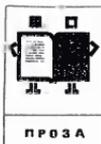


Родство

Люблю далекую езду!
Подножка поезда, как стремя...
Но тяга к отчему гнезду
На расстояньи все острее...
Серебряны отец и мать,
Как ель и кедр в часы метели.
Ну где такое солнце взять,
Чтоб кудри снова зачернели!
Я б сорняками вырвал дни
Из поля памяти встревоженной,
Когда юнцом неосторожным
Я нарушал покой родни!
За мною тянутся, как связь,
Лучи надежных глаз из оков,
И я не буду одиноким,
Пока она не прервалась.



На проливе туман, как дым
нарастающего пожара!
И нырков к берегам прижало —
значит, с севера скоро льды...
И труба, огибая порт,
смуглым табором журавлиным
подаются на юг дельфины —
этот умный,
незлой народ!
Что бы мне пожелать им вслед!
Чтоб любого из них, растяпу,
возвращали к своим по трапу,
если вдруг попадется в сеть!
Ведь и годы мои плывут,
гаснут медленно, словно льдины,
дружелюбные, как дельфины,
сети памяти
с треском рвут!..
Хорошо мне их провонять
с легкой горечью на рассвете —
эх,
связать бы однажды
сети,
чтобы молодость
удержать!



ФЕЛИКС ВЕТРОВ

Феликсу Ветрову 26 лет. Он окончил художественное училище. Работал в НИИ, на 1-м рабочем заводе. Сейчас учится в Литературном институте. Печатаем его первую повесть.

ПОВЕСТЬ

СИГМА-ЭФ

Посвящая профессору Михаилу Михайловичу КРАСНОВУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Установка взорвалась в десять тридцать две. Воздушная волна тугой подушкой давила толстое стекло электрических часов и остановила механизм. Так что когда в институт явился следователь, он смог сразу же ответить на один, но такой важный в криминалистике вопрос: когда? Все остальное было неясно. Заместитель директора НИИ по пожарной безопасности Митрофанов и следователь ходили по длинному коридору и вели нелегкий разговор. Со стороны могло показаться, что два пожилых человека вспоминают что-то общее. На самом деле Митрофанов, крепкий располневший седой мужчина, во время войны — танкист, а потом — пожарник, командир отделения, начальник целой районной пожарной части, подполковник запаса, объяснял следователю, что за собачья у него должность в этом НИИ, куда его перевели на повышение.

В институте, где все десять лабораторий могли в любую минуту устроить трам-тарам вроде сегодняшнего, оказалось работать куда тяжелее, чем, завернувшись в брезент с пропиткой, шуровать в огне. В части все было ясно — огонь, выезд, ликвидация. Здесь же стояла тишь да гладь, но тому, кто знал — а он-то знал огромное институтское хозяйство, — не давало покоя сознание, что он отвечает за безопасность таких отделов и корпусов. И хотя взрыв в шестой лаборатории сегодня утром был первым большим ЧП за все годы его работы здесь, Митрофанов думал о том, что недаром он все ждал, ждал того, что случилось.

Кому доверили все эти мудреные пульты, кабели, насосы, ударные трубы? Мальчишкам! Физики! Им голубей гонять в пору. Даром, что бороды поотпускали...

«Так им всем и надо, — думал старый пожарник, — не институт, а шурь-муры одни. Он, отдавший всю жизнь армии, привыкший к ее четким, строгим законам отношений и поступков, не мог одобрять этих шалопанских мальчишек, очкастых девочек в брючках, куривших в коридорах, провожавших его насмешливыми взглядами. Они без конца нарушали порядок, толпились и все говорили, говорили, вроде бы по-русски, а как прислушаешься — черт знает по-какому. Митрофанов не был уверен, что они в рабочее время горьят, о чем надо, ну, об опытах там своих, он чувствовал, что все это так, провололочка времени от зарплат к зарплате. Потому и ходил всегда по институту мрачный и недоверчивый и, если мечтал, так о том, чтоб их институт перевели в особую категорию. Тогда бы... данной ему властью... Он знал свое дело — энер-

госнабжение, водо-пароцентраль, газовую магистраль, вентиляцию, бойлерную, где хранились сотни баллонов со сжиженными и сжатыми газами, склады кислот, радиоактивных веществ и реактивов. Все это могло загореться, отравить, просочиться, равнать. Он чувствовал, как оно давит на него, давит в будни, по выходным, в отпуске. И когда навстречу ему катилось сверху по лестнице непонятное существо — то ли девушка, то ли парень, — он вздрагивал в ужасе, думая о том, что может накурлесить этот молодой «кадр». «Безответственные — вот что страшно», — думал он. Однако институт считался одним из лучших, дело, как ни странно, двигалось, а эти выхристые «гении» шумной ватагой выстраивались в очередь за премиальными. Для Митрофанова было загадкой — когда? Когда успели наработать? Он подозревал какой-то великий всеобщий сговор, круговую поруку, на профсоюзных собраниях молил о дисциплине, порой тяжело страдал оттого, что остался без толкового образования. Тогда б он их вывел на чистую воду... А так — на него махали рукой, и вот... допрыгались «физики». Домахались.

Митрофанов был в другом корпусе, когда ухнуло, задребезжало стекла. Рядом на территории какой-то день бабахал, заколачивая сваи, копер, и потому Митрофанов не бросился к шестой лаборатории, приняв взрыв за тупой удар железа по бетону. И в то время, как по этажу, где была шестая, носились оглохшие, перепуганные сотрудники, растекался густой желтый дым и шипела пена уже пущенного в дело огнетушителя, — он спокойно водил двух новеньких инженеров, сурово наставляя, что и как делать, если, упаси бог, загорится. У него в кабинете верещали, подпрыгивали, надрылись, телефоны, и, лишь когда по громкой связи зазвучал резкий голос: «Товарищ Митрофанов, товарищ Митрофанов!!!» — он понял: случилось. Подскочил к телефону, сорвал трубку.

— Взрыв в шестой!

Он кинулся к лифту, не стал его дожидаться, часто заступал набок по ступенькам, побежал, задыхаясь, по территории, чувствуя, что сердце бьется не в груди, а в горле. До экспериментального было с полкилометра, он выскочил за деревьями, и не было видно ни дыма, ни огня — ничего. Когда на задубевших от бега ногах он приблизился наконец к его стеклянному входу, соединился с толпой бледных, растерянных сотрудников, — отвалила и помчалась, быстро уменьшаясь на глазах, их институтская «Скороая». Источно затянула сирена, и от этого знакомого звука Митрофанов побелел. Протоколался через толпу сотрудников, смотревших вслед машине, и с тягостным чувством свершившегося несчастья пошел к шестой.

Он уже слышал в толпе, что ранен какой-то эмзис Марков, что ему сильно обожгло лицо. Митрофанов Маркова не знал. Попробуй узнай всех, когда такая уйма народу... Он не знал Маркова, но уже испытывал к нему странное чувство: не было ни сострадания, ни жалости, была неприязнь, тоскливое понимание зависимости от этого Маркова его, Николая Андреевича Митрофанова, дальнейшей судьбы. Конечно, сегодня к вечеру соберутся у директора на оперативку, выйдет приказ о создании аварийной комиссии. Но все равно, как бы там ни повернулось дело, непременно на него будут смотреть косо. То, что к нему станут хуже относиться, было Митрофанову безразлично. Пугало другое: вдруг скажут, что он плохо работал, не за свое дело взялся, допустил небрежность? Он твердо знал: совесть его чиста, — но понимал, что коли слова

то будут сказаны — неверные, несправедливые слова, — он ничем не сможет оправдаться, не сумеет и рта раскрыть, чтоб что-то доказать. Да, в пожарном деле все выходило по-другому. Стихия! С нее и взятки гладки. А тут — та же стихия, даже хуже — несерьезные люди. Главное, здесь есть кому ответить, есть кому голову сечь. А взглянет ответственного всегда охотники найдутся.

А вдруг и правда недосмотрел? Митрофанов, отдуваясь на лестнице, даже приостановился. Но нет, он знал — у него все чисто, в лучшем, как говорится, виде: сосала, как зверь, вентиляция, нигде не искрила проводка — даром, что ли, он гонял и «ветродуя», начальника компрессорной, и монтеров... Разве не сам на каждый вечер обходил, опечатывая на ночь отдели, проверяя и перепроверяя?.. Он был на месте, сделал все, что был обязан сделать, предусмотрел все, что должен был предусмотреть.

Добрался наконец до пятого этажа, и тут сработало чутье старого пожарника, видавшего, как горели целые секции и этажи. «Ничего страшно», — сказал он себе. Дым уже почти весь упылил через пустые проемы высаженных длинных окон, кисло пахло какой-то химией, на полу под ногами хрустела стеклянная крошка. Взрывом снесло перегородки двух смежных залов, опрокинуло шкафы, разметало приборы. Но тяжелые, оббитые металлом двери держались незыблемо в своих стальных рамках-косках.

«Рабочники! — подумал Митрофанов о строителях. — Стен нету, а двери торчат!»

— Ну, что вы тут натворили?! — с ходу накинулся на Дробыша, замначальника лаборатории.

— Взорвалась установка «ЭР-7», газовая, высокого давления. Чижов сейчас приедет.

«Чижов... — подумал Митрофанов. — Чижов, Чижов... Профессор, величина. Да и язык подвешен не в пример моему. Теперь ему одну задачу решать: чтоб его «наука» ни при чем оказалась. Директор его ценит, Чижова. А я что? Был и сплыл. Авария? Халатность. Человек пострадал? А где был, куда смотрел замдиректора по пожарной безопасности? И закончишь ты, фронтоник и спасатель, свою биографию — хуже не придумаешь. С таким срамом уйдут тебя по сорок седьмой статье...»

— Что там с сотрудником вашим? Марков, что ли? — спросил он, хмуро переступая через плоские обломки асбоцементных плит. — Взрыв-то не так чтоб очень.

— Да, да, Марков, — закружился вокруг Митрофанова Дробыш, — он, вероятно, находился далеко от установки, иначе вряд ли отделался бы одними глазами...

— Глаза?.. Плохо дело...

Он не хотел входить в заваленную обломками и кафелем лабораторию: с минуты на минуту мог походить директор. Заглянул через пролом в стене. В тамбуре научного зала, у отброшенной и сломанной взрывом вешалки валялось обшарпанное известкой пальто, в стороне лежала кепка. Пол запудрило белой пылью, кое-где еще всухла и опала, пурзясь, пена огнетушителя. Там, где проглядывали дощечки паркета, угадывалось место, где лежал Марков.

Митрофанов смотрел на это пальто и кепку, чувствуя, как в нем самом что-то тяжело заворочалось. В забытой, оставшейся без хозяина одежде незнакомого Маркова увидел он вдруг лица тех людей, что тянули к нему руки, когда он пробивался к ним через серую дымную муть. Марков, конечно же, был одним из них. Николай Андреевич качнул голову в угрюмой усмешке. «Ну, и дошел я до этой канительной жизни! Раньше головой мог риско-

вать, обгорал, ходил с волдырями — и ничего. Все было как надо. А теперь за чин свой испугался!

Ему точно сделалось оттого, что каких-то десять минут назад он чернил и клял Маркова. И хоть по-прежнему туго гнул к земле страх за себя, за то, что будет вечером на оперативке, все же не таким уж страшным казалось это Митрофанову. Так ли, сак — все едино. Отыграются на нем. За то и деньги получает, чтоб отдуваться за всякое шибко ученое дурьяне.

— Молодой парень-то? — спросил, глядя в пол.
— Двадцать восемь лет. Да вы его должны знать, Николай Андрееч... засуетился зам Чикова.— Может, обращали внимание, здоровенный такой парень, под потолок, круглолицый?

Митрофанов пошел встречать директора.

Он сразу понял, кто этот Марков. Как же, конечно, обращал внимание. Не обрати, попробуй — машина атака. Ему нравился этот серьезный, всегда чем-то озабоченный парень с обрубчатым колечком на толстом пальце. Встречая его иногда в институте, Митрофанов думал: «Вот ведь человек как человек. Не строит из себя ничего, видно, правда, работает». Ему нравилось, что был тот всегда просто и скромно одет, не щеголял, как некоторые, в заморских штанах, ходил, сутулясь, со стареньким, небось, со студенческих лет, портфелем. Надо же было, чтоб у него-то и взорвался!

Пришел директор, молча кивнул всем. Посмотрел на разрушенную лабораторию. Глазами, сверкнувшими из-под черного велюра, приказал следовать за ним неизвестно откуда взявшемуся Чикову, старому зубру-кадровику Зотову и Митрофанову. Уходя, Митрофанов снова взглянул на дешевенко пальто Маркова, на кепчонку. В этой брошенной на полу одежде не было ничего, кроме неожиданно-го, нелепо свалившегося горя.

И снова подумал Митрофанов, что зависит от Маркова его жизнь, но теперь все изменилось, все было иным. Митрофанов надеялся теперь, что все кончится в худшем случае строгачом без засенения. И единственным человеком, который мог его спасти, был Марков. От того требовалось лишь выжить и остаться в твердой памяти.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У становка взорвалась в десять тридцать две. Но Марков узнал это много позже. Теперь он лежал на койке в палате, лежал, боясь шевельнуться, а койку несло на волнах, она то круто проваливалась, то начинала поддирать снизу, в ушах стоял и не проходил мощный гулкий звон.

Над ним шептались врачи. Они знали то, чего еще не знал он сам, и уже обновили чистенький титул истории болезни. «Проникающие ранения осколками и ожоги обоих глаз», — было написано против графы «Диагноз при поступлении». В одиннадцать двадцать его вывели из шока. Он застал от налетевшей боли, от звона в голове. Вспомнились желтые брызги, хлынувшие из установки, гром, чернота. Ничего никогда не было страшнее этой глубокой черноты.

«Ах да...» — сказал кто-то в нем внутри, — так ведь это смерти!»

В черноте этой было что-то очень знакомое, естественное, и он понял: если не рассеется это чувство

спокойствия, общности и простоты, он перестанет быть.

Но вдруг отчаянно залился в плече Сережка, он наклонился куда-то, что-то показывал ему — Марков никак не мог рассмотреть, что. Сын был таким маленьким, измученным, не по-детски истрадавшимся, что тот же голос приказал Маркову: гони, гони, отталкивай эту черноту, отрывайся от нее!

Сережка все ревел, но отчаянные вскрилы его начали удаляться, теряться в звонком гуле. Чернота медленно отошла, будто кто-то плавно перевел на реостате ползунок, и замерла вдали полоской непроницаемого темного заката.

После осмотра в приемном покое, посовещавшись, куда класть — в «травму» или к окулистам, — Маркова отвезли в глазное отделение. Койка оказалась мала — ноги высовывались между стальными прутьями. Несколько раз пыталась медсестра укутать их одеялом, но оно съезжало, открывая его большие ступни в теплых серых носках. Ему выпрыскивали обезболивающее, но он даже не ощущал укулов иглы — что была эта боль! Она тонула в другой, неправдоподобной, сжигающей. Голова его была туго забинтована, и когда стемнело за окнами, он не увидел, что уже вечер. Потом пришла ночь, и боль вдруг разом затихла. Он полегал, прислушиваясь к себе, потом поднял руки, они были совсем легкими, нащупал повязку на голове, бинты, и тут его руки оказались в других руках, тонких и горячих.

— Ну-ну-ну-ну!.. — услышал он над собой. — Лежи смирно! Трогать нельзя.

Марков хотел что-то ответить, но не было сил, он только махнул рукой. «Вера, — понял он, — Вера моя. Значит, ей уже сказали». Он снова протянул руку к ней. Жена поймала ее, прижала к своим губам, потом к горячей мокрой щеке.

— Не плачь, — прошептал он.

Слезы сильнее побежали по ее лицу. Он погладил ее по волосам, дрожащим пальцем нажал на кончик носа.

— Я не плачу, — едва могла она проговорить сдавленным в беззвучном рыдании голосом.

Он осторожно поглаживал ее лицо, она крепко сжимала его большую сильную ладонь, и редко-редко меж его пальцев вдруг скатывалась слеза. На рассвете у него снова начался приступ боли, снова забегали сестры, ввели остро пахнущее лекарство, и Марков уснул. Но даже во сне знал: стичь протянуть руку — и рядом окажется Вера. А темнота ушла, и, как бы там ни было, — он жив.

Вера сидела рядом, не отрываясь смотрела на белый шар его забинтованной головы с просветом для дыхания, на все его большое тело, укрытое одеялом. На ноги, высунувшиеся за спинку кровати, она старалась не смотреть — столько в них было беспомощности и несказанной боли.

Он проснулся утром от громких голосов.

— Ну, где он тут, пиротехник ваш? — весело звучал молодой мужской голос. — Доброе утро, товарищ физик!

— Здравствуйте... — чувствую, что он невольно с ходу принимает тот же тон бесшабашной уверенности, проговорил Марков.

— Давай смотреть, что у тебя там приключилось. Катя, развязывай.

Ловко и быстро, в темпе легкой скороговорки командовавшего врача, с него сбросили бинты. Лицо зашипло, стало жгуче больно.

— Терпи, — звучал все тот же голос. — Наука тоже требует жертв. Терпи.

Марков почувствовал прикосновение чьих-то рук, от глаз осторожно отделили ватные подушечки.

— Открывай глазки...— приказал врач,— не бойся, открывай!

Марков открыл глаза. Все в тумане. В лиловом тумане. Засыло яркое пятно лампы. В глаз ударил лучик света... Постепенно стало видно немного потуманевшее. Перед ним на краешке кровати сидел молодой врач в очках. В его руках вспыхивал зайчик зеркала. Прямо из лба врача был свет.

— Красиво тебя раздало,— усмехнулся врач,— ну ничего. Правый глаз мы тебе постараемся заштопать. Что взорвалось? Мы, конечно, кусочек щек твоих на анализ послали. Да ждать долго. Химия... Уж лучше информация из первых рук... Что там было? Стекло? Металл?

— Все там было,— сказал Марков, а сам подумал: «Что же с левым-то глазом?»

И он спросил, боясь ответа.

— С левым?— перестроил врач.— С ним дело похуже. Металл был магнитный?

У изголовья стояло несколько врачей. Кто-то что-то записывал. Мужчины и женщины. Все—лиловые. И небо лиловое. И свет.

— Металлов много у нас. И стали, и медь, и вольфрам.

— Понимаешь, почему я металлургией интересуюсь?

— Догодаваюсь.

— Что ж, интеллект сохранен, как находите, коллеги!— Сверкнув стеклами очков, врач поднял голову к своим.— Ну, товарищ Марков, давай знакомиться. Я тут начальником числюсь, профессор Михайлов Сергей Сергеевич... Как сердчишко, не пошаливает?

— Да нет,— вдруг смутился Марков,— не беспокоитесь!

— Какое воспитание!— улыбаясь профессор.— Предлагает не беспокоиться! А за что нам тогда деньги платить прикажешь? Болит здорово?

— Да есть немного...

— Давай условимся: не морочить друг друга. Скажи прямо: была адская. Мне ведь надо картину иметь полную.— Он еще раз посветил в правый глаз, легким, каким-то воздушным движением раздвинул пошире веки.— Ладно. Лежи пока.— Поднялся и пошел к выходу.

За ним двинулись другие доктора.

Подошла сестра.

— Ну, давайте снова повязочку наложим...— Она закрыла его правый глаз ватным шариком, и тут Марков вдруг понял, почему он решил, что профессор светит своим зеркальцем только в правый глаз. Левым он ничего не видел. Совсем ничего.

День прошел в тупой неподвижности. Временами он забывался, всякий раз вздрагивая от прикосновения сестер. Они подходили сразу с тремя шприцами на лотке. Подходили каждый час. Ощущая их твердые, умелые руки с удивительной хозяйской сноровкой, Марков никак не мог взять в толк, что это действительно он лежит здесь, на этой койке. Порой он старался думать, что все это ему кажется, но вновь разыгрывалась боль, теперь мучительно ныл затылок — и все сразу становилось на свои места. Он принадлежал к тем людям, которые накрепко сжились с мыслью о надежности своего здоровья. И как все несуетливые, далекие от мнительности люди, Марков был уверен, что уж оно-то во всех случаях останется при нем, не подкачает. То, что вчера утром в одно мгновение кончилось его жизнь здорового человека, было так жестоко и неожиданно, так резко и грубо отделило прошлое от настоящего, что увериться в этом оказалось труднее, чем

свыкнуться с болью. Он лежал почти без мыслей — мир вдруг сжался, сжегился, не осталось ничего, кроме подушки, бинтов, иголок и горечи во рту. Там, где-то в пустоте, были, должны были быть его сын и жена, люди, с которыми он был единым целым. Марков знал: все трое они неотделимы друг от друга, но как далеко его отбросило от тех двоих! Было непривычно и тоскливо, иногда, когда затекла рука или нога, он осторожно менял их положение, шепча: «Свалилась... зар-ра-за... мур-ра!» Под вечер его переложили на каталку и увезли в отдельный маленький бокс. К переселению из палаты он отнесся равнодушно. Лишь отметил про себя: неспроста.

На следующее утро его снова смотрел профессор, но уже почти ничего не говорил, только приказывал:

— На палец смотри. Пониже, еще, еще пониже. Во-от так. Стоп-стоп! Налевое... Вверх...

Марков старался уследить взглядом за зайчиком зеркала и тоже не лез с вопросами: он видел гораздо хуже, чем накануне. Уходя, Михайлов хлопнул его по плечу и вышел, не попрощавшись.

Казалось, сам воздух вокруг Маркова становился все тревожнее — он чувствовал: что-то надвигается.

Снова вошел профессор, один, без свиты. Сам снял повязку. Долго осматривал глаз. Марков видел через лиловое марево его искривленные от напряжения, прикушенные губы.

— Да! — сказал Михайлов.

— Ну как, Сергей Сергеевич?

— Могучий у тебя организм,— помолчав, ответил профессор,— бурно реагирует. Только бурлит не туда, куда надо. Помнишь уговор: все начистоту?

— Говорите.

— Говорим, как мужчины. Так?

— Только так.

— Плохая у тебя штука на левом начинается. Если бы не она, может, и стоило б еще за него побороться. Надеяться я, что обойдется... Времени нам с тобой отпущено двадцать часов. Было бы больше — мы б еще посмотрели. В общем, пока нет сюрпризов — надо от левого глаза избавляться. Повреждение суровые, глаз полон крови, металлолома — шансов на спасение мало. А ждать уже нельзя. Давай вместе решать, как быть.

— А правый?

— Сейчас сражаемся уже только за него. Левый надо удалять, пока не перешло на второй. Нужна, конечно, формальность — твоё согласие. Но случай не тот, когда можно выбирать.

— Значит, быть мне адмиралом Нельсоном? — попробовал пошутить Марков, но голос подвел, задрожал.

«Куда махнул! — подумал Михайлов.— Милый ты мой, не остаётся бы тебе вовсе без глаз, не образовались бы перемычки в стекловидном теле, не отвалилась бы сетчатка...»

«До чего ж с ним все просто, с этим профессором,— думал Марков.— Профессор! На сколько он меня старше? Лет на пять — не больше. Режет правду-матку, не темнит, все в открытую. Изложено четко, и никаких проблем. Надо что-то иметь... что-то особое, чтоб вот так рубануть, коротко и ясно. И ты почти спокоен, никаких трагедий. Хочется лишь пресечь об одном — делай, что считаешь нужным, делай скорее, но только сам...»

Операция прошла тяжело. Когда Маркова, серого, залитого холодным потом, привели назад в бокс, его мертвый глаз — маленький, изрезанный осколками голубоватый шарик, еще два дня назад жадно вбиравший в себя свет солнца, символы формул, лица и деревья,— опустели в спирт, чтобы потом разрезать на тончайшие дольки препаратов и ради

спасения другого глаза рассмотреть под микроскопом.

Михайлов, сбросив стерильный операционный халат, сидел за столом в своем кабинете. Ни одна из операций не уносила у него столько душевных сил, как эта. В сравнении с тем высшим пилотажем глазной хирургии, которым он владел, это была черная, грубая, тупая работа. Как горек ты подчас, хлеб хирурга! Михайлов очень редко сам удалял глаза, поучая это дело кому-нибудь из ассистентов. Так когда-то поступали и с ним самим: именитые светила деликатно сплавляли ему, начинающему, удаление глаза — энуклеацию, под тем предлогом, что бессмысленно им, виртуозам, тратить на нее свои уникальные руки. Теперь он знает, что побуждало их к этому: тяжкое сознание своего бессилия перед неумолимой болезнью. Когда знаешь много и много, очень много можешь сделать, это сознание становится во сто крат мучительнее. Хирургам тоже приходится себя оберегать... А ассистенты пусть практикуются!

Рассуждая так по традиции, профессор Михайлов знал: его ждет с физиком Марковым выматывающий круг операций на единственном правом глазу, и начало этой многомесячной, а может, и многолетней цепи страданий и ожиданий — в предельно точном удалении погибшего левого, без малейшего риска перенесения инфекции. Заглядывая в будущее, Михайлов уже никому ничего не мог передоверять. Он принял решение. Он встал.

Сейчас его заботило одно: не опоздали ли они?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Марков лежал в своем боксе, отвернувшись к стене. Кончался тридцатый день больницы жизни. Бывали минуты, особенно вечерами, когда никого не хотелось слышать. Он уже не мог различать ничего, кроме бесконечно далекого стеклянного абжура под потолком, и оттого, что знал — внутри этого тусклого баргового шара пылает мощная статвятная лампа, — света не зажигал, лежал в темноте.

Ушла чернота смерти, снова сильными стали руки и ноги, но взамен на него надвигалась другая чернота, беспросветная, долгая, на всю жизнь.

Когда сгущались сумерки и ослабевала вера в обнадеживающие слова Михайлова, тогда, лежа в темноте, он нередко думал: какая чернота хуже — та или эта?..

Сегодня к нему приехали ребята из института и его лучший друг Мишка. Все они долго не могли начать разговора, смущенно перебирали имена тех, кто слал ему приветы и обещал навесить. Конечно, потом это прошло, они разговорились, и панихидная скванность первых минут разлетелась в дым. Но минутное оцепенение случалось с каждым из друзей, входивших в его «боксы». О том, что с ним произошло, все, будто сговорившись, деликатно по-малкивали, и это было еще тяжелее. Марков понимал — друзья молчат не только из жалости к нему, из простого людского сострадания — конечно же, нет!

Этим проклятым взрывом он нанес удар им всем. И самый жестокий, самый тяжелый — тому человеку, которого вспоминал не реже, чем сына и жену, — своему учителю. И хоть Марков отчетливо вспоминал, пока лежал с завязанными глазами, каждый свой шаг в то утро — как подвел к трансформаторам силовое

напряжение, как разогнал насосы, как выставил на режим следящую автоматику и как спокойно загудели обмотки магнитов, короче, произвел пуск по всем строгим правилам, — он так же отчетливо сознавал, что никогда не сможет оправдаться перед профессором Борисом Александровичем Чиковым.

Да, ему вовек не оправдаться перед учителем, и не только потому, что «ЭР-7» взорвалась в его руках... Марков должен был сказать, но так и не сказал, что, к ужасу своему, все больше сомневался в справедливости той основополагающей концепции, которая принесла славу Чикову и стала краеугольным камнем всех исследований лаборатории. Побоялся обидеть учителя? Или свято верил в его правоту, многократно проверенную жизнью? Постеснялся? А черт его знает, почему! Постеснялся идти к учителю со ссылками на интуицию. Когда дело касалось не идей, а расчетов, Чиков интуицию свирепо отменял... А расчеты казались точными. И ЭВМ подтверждала. Единственным доказательством того, что Марков прав, мог стать только взрыв. И он ударил.

И вот он здесь, на этой койке, без глаза, не сегодня-завтра слезой. А вина на профессоре, на человеке, который стал для Маркова... Да разве отыскать слово, объясняющее, как м стал профессор Чиков для Маркова?

Он навсегда запомнил тот день, когда впервые вошел в аудиторию новый профессор. Оглядел студентов, мгновенно останавливаясь глазами на каждом, и вместо того, чтобы, как было обещано в расписании, читать общую теорию газов, заговорил о музыке. Студенты поначалу переглядывались. Марков, никогда не любивший разговоров не по делу, тоже, как и все в начале лекции, недоумевал: что же записывать в толстую тетрадку, раскрытую на первой странице? Про Баха? Об основах гармонии? А профессор говорил, все больше увлекаясь, о непрерывном, полном музыки, вечном движении материи, о сложных, как сплетения мелодического тем бетховенских симфоний, связях физического мира... Марков так ничего тогда и не записал в свою тетрадку и всю жизнь потом жалел об этом. Да и теперь жалеет.

Потом, конечно, были и газы, и формулы, и практические занятия, но профессор Чиков обо всем говорил совсем не так, как другие. Каждое его слово свежо и весомо очерчивало мысль, она делалась рельефной и четкой. «Блеск!» — говорили студенты в перерывах. — Нет, парни, какой блеск!

А Марков молчал. Эти лекции ломали его. После них он был противен себе — невежда, абсолютный невежда! После лекций Чикова хотелось сейчас же, без промедления, во весь опор мчаться в «Ленинку» и читать, читать. И слушать музыку. Чтоб не осталось в тебе, чтоб не прошло мимо, чтоб хоть немножко, ну вот настолько приблизиться к тому огромному, цельному, летящему миру, в котором жил их профессор.

Да разве это были лекции? Это были уроки. Так их и стал называть Марков, твердо решив заниматься в будущем теми же проблемами, что и Чиков. Он был уверен: все глубоко взаимосвязано и, только во всем следуя учителю, сможет он стать тем, кем мечтал.

Они подолгу говорили после занятий. Чиков запросто приводил его к себе, ставил на проигрыватель Моцарта, и снова шел разговор, после которого Марков брел по ночной Москве, счастливый и влюбленный.

Жизнь Маркова была не из самых радостных и легких. До двадцати трех лет он не знал многого из того, чем владел каждый... например, что такое

семья, своя комната. Но остались в памяти отдельные дни. И одним из самых ярких навсегда остался день, когда заседала комиссия по распределению. Чиков утром встретил его на лестнице и сказал, как о давно решенном: «Пойдешь в мою шаругу».

В «шараге», то есть в лаборатории номер шесть знаменитого научного института, он еще лучше узнал учителя.

— Потрудимся, друг! — говорил Борис Александрович, входя утром в «мыслительную» — комнату соотрудников, где они получали «ЦУ», обсуждали опыты, эксперименты, прежде чем разойтись по этажу. — Спешите! Мода на физиков проходит! Скоро за вас никто замуж не пойдет!

Они любили своего профессора. Любили, когда он шел в кабинет, переодевался и возвращался к ним уже не в модном, строгом костюме, а в пестрой рубашке и джинсах, в наброшенном на плечи белом халате, высокий, по-юношески подобранный. Любили, когда, поплывав на руки, он сам брался за паяльник и забирался в густые дебри электронных схем. Узкие глаза, блестящие холодной голубиной на тонком, бледном лице в частой штриховке мелких морщин, утрачивали тогда всегашнее ироничное выражение.

Они знали: для их руководителя, профессора Бориса Александровича Чикова, нет, не было и не будет ничего дороже работы. Он жил наукой, дышал ею. Ломать голову, ставить подряд десятки опытов, находить, отвергать, радоваться и страдать над установками и черной доской — без всего этого он не смог бы существовать. Суховатый, деликатный, чуть насмешливый, он мгновенно «переходил в другое агрегатное состояние», как шутя говорил Мишка, когда речь заходила о физике, о том ее разделе, на котором они «пахали». Если есть на свете счастливый человек — так это учитель, думал Марков. Но каким страстным, злым, язвительным становился Борис Александрович, когда спорил, отстаивая свое! Тогда для него не было ни рангов, ни дистанций, ни субординаций! Плохо работать у Чикова было просто немыслимо, и они пыхтели. Отношение к науке — этим измерялось все. Ведь на свете нет ничего важнее.

А когда местком устранивал поездки за грибами, Чиков приходил к автобусу в старой куртке и сапогах, надвинув на лоб кепку. Легкий на ногу, с выверенными, тонкими движениями бывшего человека, он чем-то отличался от остальных... Чем? Марков давно это понял. Профессор Чиков знал не только свою науку...

Марков приподнялся на кровати, перевернулся на спину и снова лег, заложив руки за голову.

Когда это было? В больнице время резко сбавило темп, исчезло ставшее таким привычным ощущение страшной нехватки часов, и последняя поездка с Чиковым в лес показалась Маркову бесконечно далекой. Он принялся вспоминать тот день и отчетливо увидел Чикова, ребят из лаборатории, желтые волны опавших листьев и стволы, стволы... Он шел скорзинкой, цело всматриваясь в землю, раздвигал листья, бросался на подосиновикам, срезал их крепкие, тугие, похожие на маленькие березки ножки, и осторожно, чтоб не сбить оранжевой замшевой шляпки, укладывал в корзину.

Вышел на поляну, светлеющую за тонкими стволами молодого осинника, и замер. Десятки грибов толпились перед ним, поднышавши на красные и желтые, уже начинающие чернеть листьях. А чуть в сторонке от них стоял такой грибинка, что у Маркова сердце подпрыгнуло. Ай да гриб! Серезку бы съел! Только

бы не червивый! Но красавец оказался чистеньким, а шляпка размером с большую тарелку еле уместилась в корзине.

«Нет», — подумал Марков, — так дело не пойдет. Все трофеи мои собою закрыл. Придется в руке нести». Он уже представлял, как завоеют от зависти ребята, когда он вдруг небрежно вытащит из-за спины руку с этой громадиной, и как заворожено будет смотреть на гриб Серезка, когда он повторит дома этот фокус.

И вдруг что-то случилось. Марков почувствовал: эта минута уже была. И был такой же гриб. И та же радость. Все повторилось. Замкнулся какой-то круг жизни.

В мокрых листьях отражалось, отсвечивало небо. Было тихо. Чуть постукивали капли по земле и веткам. Он стоял один в редком осиннике и, закрыл глаза, вслушивался в легкий перестук мелкого дождя. Он был рад этой минуте без мыслей в холодном воздухе облетающего леса.

«Да», — сказал он себе, — да, да! Жизнь идет как надо. Во всем найти закономерность — вот так же просто и сильно почувствовать ее в каждой минуте каждого дня — не ради ли этого мы все лезем из кожи вон? Увидеть закономерность во всем, что вокруг меня, — разве не в этом смысл жизни!..»

Он вдруг услышал позади себя задумчивый голос учителя:

Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.
Все пошлое и ложное
Ушло так далеко,
Все мило-невозможное
Так близко и легко...

Взволнованный, сосредоточенный, с окрепшей вдруг верой в счастье, которое всегда было где-то в будущем, близкое, но вечно убегающее, Марков пришел к автобусу у шоссе. Уже все собрались, когда он вышел из-за деревьев.

— Ребята, смотрите, какой он грибок отхватил! — Гигант!

— Большому кораблю большое плавание!

Он забрался на заднее сиденье, в уголочек. Всю дорогу до Москвы молчал, только слушал, как трепали и хохотали ребята, как звенела гитара. Чиков, улыбаясь глазами, почему-то все время оборачивался к нему и подпевал своим «резерфордам»...

Никогда!

Никогда больше не пойдет он в лес за грибами.

Никогда!

Незадолго до взрыва он видел в метро слепого. Молодой человек с сухим лицом стоял, прислонясь к дверям, и все время улыбался странной улыбкой. Марков смотрел на него и думал: жаль и не видеть... Представил себя на минуту без зрения, закрыл глаза. Но мощные прожектора тоннеля били, пронеслись мимо окон вагона, красными вспышками... С шумом растворились двери, и человек, будто оберегаясь от удара, откинул назад все тело, шагнул к выходу, ступа перед собой тонкой тростью.

«Ах дурак, дурак!» Марков вскопился, нащупал ногами тапочки. Подошел, выткнув перед собой руку, к окну, коснулся холодного стекла. Какой же он дурак! Все ждал, когда счастье придет! Все думал: это еще не то, не то, не до конца. А то, оказывается, и было оно, самое что ни на есть полное, настоящее счастье. С светой, с нервотряпками, с тоскливыми днями, но со светом, с книгами и кино, с лицами Серезки и Веры, с работой.

Теперь он и формулы записать не сможет.

Не увидит улыбки своей Веры.

Ну ужели придется учиться читать по этим пупырышкам на коричневой бумаге?

И такую же тросточку заводить, как у того, в метро!

Он представил, как они пойдут с Верой по улице. Крепко и надежно подхватив под руку, жена поведет его по тротуару, будет зорко и напряженно, как за маленьким Серезжкой, следить, чтоб не оступился. Он будет тяжело, путаясь ногами, топтать рядом, отбивая палкой беспорядочную дробь. Вся улица будет смотреть на них и жалеть. И оглядываться.

Бедная моя Верка! Зачем тебе эта горькая канитель?!

Марков не сомневался: ей будет даже труднее, чем ему. Он ничего не увидит и не узнает. А ей — видеть и знать. И скрывать от него. Вера будет водить его, будет говорить веселым и беззаботным голосом, каким она уже говорит теперь, приходя в больницу. А лицо ее станет ожесточенным и непроницаемым. К чему ей тащить на себе его беду? Зачем всю жизнь делать вид, будто ничего страшного не произошло, а самой день и ночь корчиться от страданий? В конце концов ей всего двадцать шесть. Так ну ужели оттого только, что у него никого, кроме Веры и сына, она должна быть несчастна?

Впервые за все годы их жизни Марков мысленно отделил жену от себя, от своего прошлого и будущего. Они существовали отныне не сплитно, а сами по себе, два разных человека. Раньше, когда шли по улице и Вера отходила от него в сторону, стояла в очереди — на нее нахально глазели всякие типы. Но приблизился Марков — широкогрудый, сутулый от силы, со своими ста девяносто тремя сантиметрами роста, и типчики моментально отводили глаза. Теперь не отведут.

«Ах, если б ты, Вера, была другой! — думал Марков. — Насколько проще бы все было!» Ее преданность обернулась неожиданно иной стороной, и ничего тут не поделаешь. Так они устроены. Он и она. Они бы не могли и дня прожить вместе, если бы не их главное — правда в каждом слове. Теперь ее не будет. Разве скажет она, что тягостно и безнадежно жить ей со слепым мужем? Просыпаться и засыпать под гнетом горя? И чем дальше, тем чаще она будет думать о разбитой своей судьбе. Но не скажет. А он всегда будет знать и помнить, о чем она не договорила, что осталось за смехом ее и ласковым словом. И не жизнь у них будет, а вечная игра.

Марков стоял у окна. Во дворе больницы шумел дождь. Наушники давно замолчали. Наверное, очень поздно. Но сна не было — каждую ночь одни и те же мысли обступали его и терзали до утра, медленно проворачиваясь тупым колесом в сердце.

Вера не будет нянкой. Этого Марков не допустит. Обузой не станет. Никому. А само так получится... Не получится. Есть выход: он останется один. Так легче. Страшнее, но легче. И честнее.

Ему предстоит заново учиться жить. Марков увидел себя в какой-то пустой комнате с лиловыми стенами. Веры не было. Серезжки тоже. В комнате стоял ледянячий холод. Серезжка! Как он испугается, когда посмотрит в лицо отца! Ведь «папа в командировке»...

Марков замотал головой. Он ощутил подле себя голову сына, запах его тела, мягкие волосы, теплое плечико под пушистой шерстяной кофточкой. Жить без него?! Марков придушил стон, но горячие слезы обожгли глаз. Он понял: не сможет.

Не сможет без сына и жены, слабый, жалкий человек. Как же быть? Чтоб без жалости к себе и чтоб не старело до времени Верино лицо...



Марков тяжело улегся на кровать и стал вспоминать лицо жены, ее каштановые волосы, голубые подкрашенные глаза, маленькую родинку у кончика носа, ее рот, улыбку, ее руки... Потом опять думал о сине.

Увидит ли он их когда-нибудь?.. Уходя в то утро на работу, он не знал, что надо взглянуть так, чтоб впечатлелись навсегда эти два лица...

Завтра все станет на свои места. Мишка сказал ему: «Завтра шефа жди». Приедет Чиков. И Марков повиснет в своем молчании. Учитель все поймет. И они решат вдвоем, как быть Маркову.

В наушниках звенят куранты. Шесть раз. «Доброе утро, товарищи!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И наконец-то вырвался к тебе...

Марков, уже потерявший надежду услышать сегодня голос учителя, торопливо поднялся с койки и, смущенно улыбаясь, шагнул к двери, ища своей рукой руку гостя.

— Куда вскочил? — Чиков, с портфелем в одной руке и с сеткой, набитой апельсинами, в другой, искал глазами, куда бы их деть, но тут большая ладонь Маркова нелепо ткнулась ему в живот. Борис Александрович крепко сжал его запястье.

Красный круг ноябрьского солнца давно ушел за длинные, похожие на дремлющих рыб облака, растянувшиеся над Москвой. Синий сумрак вечера заполнил маленький бокс. Чиков еще не видел лица своего младшего научного, черным силуэтом загородившего больничное окно.

— Ты позволишь, я свет зажгу?

— Конечно, конечно, Борис Александрович...

Чиков нашел на стене выключатель, щелкнул и, взглянув на Маркова, согнулся, охватив разом пустую глазницу под ввалившимся веком, красные разводы ожогов, темные метины, обезобразившие такое знакомое, славное лицо.

— Ну, что ж, на ногах уже, молодцом. Холодильник есть? Тут тебе несколько миллиардов калорий... Изволь употребить. Я к черту сегодня все послал... хоть до ночи сидеть могу...

Он вышел.

Марков не мог видеть, как сильно изменился профессор, будто и сам только поднявшийся после тяжелой болезни, не знал, что в его глазах появилась усталость, такая незнакомая для всех, кто знал Бориса Александровича.

Он не знал, что Чиков утратил сон, и это была не просто хворь нервного века — бессонница, а трудная работа ума, изнуряющее, многократное проигрывание наедине с собой того, что случилось в его лаборатории. Какая-то сила поднимала его среди ночи, и он, отодвинув сновторное, положенное заботливой рукой на письменный стол, склонялся над листом бумаги.

Каждую ночь вычисления давали один и тот же ответ, и он сидел, не отрывая взгляда от этой, обведенной рамкой строчки римских, греческих и арабских знаков.

Это было крушение.

То, что казалось столь надежным, выверенным до конца — его формула газового состояния, ставшая после опубликования реферата докторской диссертации «формулой Чикова», физическая зависимость,

позволявшая, как он думал, открыть новые свойства материи, — оказалось ошибкой.

Лишь взрыв, лишь поиск причин аварии натолкнули его на мысль пойти в расчетах с другого конца и построить новую математическую модель процессов, которая не только объяснила безумную реакцию газа в установке, но и опровергла «формулу Чикова».

Самым мучительным было понимать свою несостоятельность как ученого. Как, как могло случиться такое с ним! Он пытался утешить себя. Убедить в том, что вообще так задан ход бесконечного разгадывания загадок природы, что ошибались и великие, но это не успокаивало. Теперь, после того, что произошло с «ЭР-7», после этих ночных математических бдений, ему уже могло просто не хватить дней жизни, чтобы она вновь обрела истинно весомый, ясный смысл.

Получалось так, что, сделав просчет однажды и взяв за основу ошибочную идею, он потом последовательно и методично громоздил ошибку на ошибку. А какой-то дьявол все прятал и скрывал от него истину, пока не завел туда, откуда не было выхода.

Теперь «формула Чикова» была... «дополнена и исправлена».

В ближайшую среду следовало сделать сообщение на ученом совете.

И что тогда?

Тогда конец.

Все, что возмущалось с таким трудом, обратится в прах. Давняя мечта о том, чтобы его лаборатория стала самостоятельным, уникальным по профилю работ НИИ, неизбежно рухнет. А что если не спешить с сообщением?

Взрыв? Да он мог произойти от тысяч причин!

Несчастный случай.

От установки ничего не осталось. Сколько бы ни гадали на обломках глубокоуважаемая комиссия, причины взрыва уже никто никогда не узнает.

В конце концов, он же не собирается подличать и хоронить истину. Он, он сам откроет ее, но... погоды. Когда придет время. Он никого не обманывает. Он лишь хочет сохранить лабораторию и осуществить свое, выношенное.

Марков стоял у окна и прижимал холодные руки к горячей батарее Вот, вот сейчас заскрипит дверь, и Борис Александрович вернется в его маленькую комнату. И ему придется сказать профессору все, что он понял. Но как сказать?..

Вошел Чиков, притворил за собой дверь, усадил Маркова на кровать и сел напротив него.

— Ну, — сказал он, — как нас с тобой вентиляция подкузьмила, а! Черный юмор! Такие дела ворочаем — и вентиляция!

«Как? — вздрогнул Марков. — О чем говорит профессор?». Вдруг радостная волна освобождения захватила его. Неужели правда, и он запутался в расчетах, намудруил, а все дело в какой-то дурацкой пустяковине?

— Вентиляция? — переспросил Марков.

— А ты что думал? Она самая. И заключение комиссии есть. Взрыв в результате слабой вытяжки и скопления газов в отводном канале с последующим воспламенением.

— Правда?

— Ну, конечно, чудак человек! Ладно, рассказывай, что врачи обещают.

— Пока не густо, — ответил Марков. Его минутная радость неожиданного облегчения пропала. Он вспомнил свои расчеты. Не может быть, чтоб он ошибался. Вентиляция... Значит, профессор ничего

не знает. Нет. Молчать больше нельзя. Но пусть Чижов узнает все от него, от ученика своего, а не от кого-то еще.

— Борис Александрович. Понимаете... я тут, пока лежал, все думал, думал... отчего же рвануло...

— Тебе сейчас только об одном думать надо, как бы поскорее в строй вернуться. Других проблем на повестке дня нет.

— Я понимаю... вы правы.

Чижов поднял голову. На лице Маркова он увидел страдание. Слепой... Почти слепой. И в горе этого парня, которому он, доверяя, как себе, поручал самые тонкие, самые сложные опыты,— повинен он один.

«Да, Марков не отвлеченная жертва во имя прогресса». Он м о я жертва». Чижову стало невыносимо смотреть в лицо Маркова. Он встал и погасил свет. Снова стало темно в боксе, но Марков не заметил этого.

— Борис Александрович, мне кажется... вентиляция ни при чем.

— Вот те раз! С чего ты взял?

— Серьезно. У меня тут времени хватает, я, кажется, понял, в чем дело. Ошибка в расчетах.

— Это ты так — «в порядке бреда»? Было вульгарное ЧП. Конденсация без оттока и замыкания. Элементарщина. Пропади он пропадом, этот взрыв. Довольно о нем. А расчеты на «Минске» просчитывали. Ты же знаешь.

— Борис Александрович... — Марков напрягся и быстро, собравшись с духом, выговорил: — Я имею в виду не расчеты конструкции «ЭР-7». Я говорю о том, что мы проверили на ней. Конструкция безупречная. И разговора нет. Я — об общем принципе.

— Так, — сказал Чижов и откинулся на спинку стула. — Интересно. — Перед ним маячили в темноте взволнованное лицо, по которому скользили пятна света от проезжавших по улице машин. — Если я тебя верно понял, речь идет о моей формуле критических состояний? — Чижов засмеялся. И сразу почувствовал: сухо и деревянно прозвучал в тишине бокса этот похожий на звук трещотки смех. Марков не засмеялся.

Чижов оборвал смех и сказал весело:

— Володя! Я понимаю. Вышший смысл, да? Конечно, боже мой, как это понятно: уж если жертва, так чтоб не напрасно. Хочется, чтоб как Гусев в «Девяти днях»? Это бы! Протоптанная дорожка для людей. Ведь так?

Марков молчал.

— Но, увы, так бывает не всегда. Бывают дикие случаи, в которых смысла не отыщешь.

— Честное слово, Борис Александрович, никогда не хотелось мне ошибаться, а сегодня хочется.

— Ладно, — сказал профессор, — ташите ваш билет. Зачетку не забыли? Рассказывайте.— Чижов был спокоен. Он сидел и смотрел, как Марков потирает руки и морщит лоб, подыскивая слова.

— Значит, так... — Марков начал медленно водить указательным пальцем по шерстяному одеялу, — значит, так...

«Ну говори же, говори, наконец!», — внутренне подгонял его Чижов, с раздражением глядя на невидимые узоры, которые вырисовывал пальцем Марков.

И будто услышав его, Марков быстро заговорил, сбиваясь, повторяясь, но с такой убежденностью, что Чижову стало не по себе.

Теперь, когда Марков, напрягая память, снова медленно, отчетливо и весомо произносил каждое слово, неторопливо разворачивал вслух сложнейшие формулы, добавляя после каждого завершеного уравнения: «Так, здесь ядро... Вы чувствуете-

те?», — его палец все чертил по одеялу, и Чижов неожиданно понял, почему он, как загнипотирированный, следит за каждым движением этой большой руки...

В ходе своих рассуждений, в самом направлении мысли Марков шел тем же путем, который привел Чижова к тому страшному конечному уравнению.

— Ну вот... — тяжело вздохнул Марков, — до сих пор формула остается справедливой. Хотя я и считаю совсем по-другому, вы чувствуете?

— Так,— нагнул голову Чижов.— И что же?

— Да в том-то и дело, что уравнение, принятое нами здесь раньше за конечное, не конечное. Вот смотрите...

— Смотрю, — сказал Чижов, — смотрю.

Дальше все было ясно. За те ночи он глядел часто просчитывал все это сам. Чижов влился в лицо Маркова. В темноте, против света уличного фонаря, оно казалось тем же, что и раньше, до взрыва, но было искрено невероятным напряжением, а незрячий, единственный глаз его был закрыт. В уме считал И в уме дошел до всего! Чижов уже почти не слушал, он поражено смотрел на человека, которого ценил до сих пор лишь за добросовестность и золотые руки. Как не понял он раньше, он, проницательный Чижов, что за феноменальная голова у этого медлительного слона!

— Борис Александрович! — Марков вздохнул. — Теперь самое главное... «Да...» — оцеленое согласился в душе Чижов, — вот именно, теперь! Палец Маркова снова задвигался.

«Он, оказывается, просто пишет так символы и цифры, помогая работающей на пределе голове!» — понял профессор. Марков растолковывал ему последнее уравнение.

Вдруг безумная мысль стрельнула в голову Чижова: что если вывод Маркова будет совсем не тем, которого он ждет... Ну... ну только бы не произнес «сигма-эф»... все что угодно, кроме этого коэффициента. Ну... что же он тынет?

— Альфа на пэ мало, — сказал Марков, — здесь... нам просто необходим добавочный коэффициент... мы не учли его раньше...

«Мы...» — подумал, задыхаясь, Чижов, — «какая delicatность!»

— В данном случае... — Марков остановился и, будто извиняясь, закончил упавшим голосом: — В данном случае это будет «сигма» с показателем «эф».

— Исключается, — раздельно сказал Чижов.

— Да нет же! — воскликнул Марков.— Послушайте, Борис Александрович...

— Ну и нагородил ты... Без таблиц... Все в голове!

— В голове, — тяжело согласился Марков. — Но ошибки нет... мне кажется...

Сейчас, в первый раз рассуждая вслух, разворачивая, живо представляя сложные математические построения, Марков убедился, что прав. Никаких сомнений.

— Борис Александрович... хотите... я еще раз все расскажу? А вы будете записывать. Вы увидите — все верно... — Марков просительно вытянул руку туда, откуда слышал голос Чижова. — Я же ни с кем не мог поговорить об этом, вы же понимаете... Я по-быстрому, пока не забылось...

— Да ты что? — Чижов взволнованно встал. — Инсуль! схлопнуть хочешь?

— Мне это важно, — сказал Марков. — Очень. «Что за пытка! — чуть не застонал Чижов. — Как выколотить это из него? Нет... невозможно... Но он еще ни с кем не говорил. Он сказал: ни с кем...»

— На дворе молало... Русским языком сказано: есть заключение комиссии. Авторитетной комиссии. Что ты за человек, не понимаю.— Чижов знал силу своего влияния на Маркова, знал, как жадно и с доверием тот всегда ловил каждое его слово.— Ну, не сиди с таким видом,— тронул он его за плечо,— поправьшись, окрепнешь, будешь видеть — обмозгуем вместе, а сейчас ни к чему все это.

Теперь, когда для жизни среди людей у него остался только слух, Марков с испугом и болью ощутил в голосе учителя, в поспешной, светлой интонации его речи то, что было полной неожиданностью. Откуда эта беспечность? Нет, это не потому, что он, Марков, болен, а с большими принято так говорить. Здесь другое... Чижов говорил, и Марков не вдумывался в смысл его слов... первый раз в жизни. Он просто ловил звуки голоса и удивлялся. Вдруг какие-то слова резанули его. Опять «комиссия», опять «вентиляция»... Почему Чижов, всегда учивший их мыслить, так сжился с этой, как он сказал, «элементарщиной»? И ни слова, ни намека на то, что он хотя бы на секунду допускает возможность ошибки. Ни тени волнения или тревоги... Простой обеспокоенности...

Ну, конечно же! Учитель просто не может поверить ему. Борится поверить — это так естественно. Чижов борится? Их Чижов? А его слова: «Если нет мужества — уходите. Место под солнцем найдется, но пусть это будет другое место, не наука?»

— Подождите, — сказал Марков, — подождите, пожалуйста. — Взволованно встал, шагнул к окну, зацепив ногой за тумбочку, свернула ее в сторону. Задрезал ложку в стакане.

Если перечеркнуть и отбросить то, что он понял после взрыва, тогда действительно «бессмысленная жертва». Он мрачно усмехнулся. А ему нужно, что ли, чтоб его горе выглядело осмысленно? Подумаешь, первооткрыватели! Сочтемся славою!

— Слушайте,— твердо сказал Марков и повернулся туда, где сидел Чижов. — Я повторю...

Он говорил уже одними формулами. На его лице Чижов увидел недоумение. «Удивляется, бедняга, — подумал профессор. — Хм, Чижов, который всегда ловил на лету любую мысль и тут же, на их глазах, как фокусник, развивал ее, — не видит очевидного... А Марков, кажется, снова собирается идти по новому кругу, снова в уме... До чего же силен, дьявольски одарен этот скромняга!»

— Стой! — сказал он. — Погоди, как ты сказал?. Добавочный коэффициент? А ну, погоди... сейчас запишу.

Марков смолк. Чижов вытаскил из портфеля блокнот, ручку из кармана. А что писать? К чему? Все давно выведено. Он отложил блокнот на тумбочку, сунул ручку обратно в карман.

Пусть думает Марков, что он углубился в расчеты... Лицо Чижова кривилось от презрения к себе, от этой гнусной игры перед незрячим человеком... «Гнусно, мерзко...» — думал он, — неужели это я ломаю здесь комедию?»

— Володя, — прошептал он, дивясь тому, как натурально сорвался и сел голос, — поздравляю... — «Он понимает абсолютно все...» — думал Борис Александрович. — Потому и не утешает,— Сидели на пороховой бочке,— обессиленно пробормотал Чижов. — Лаборатории конец...

— Почему?

— А ты как себе представлял? Разонят. Без лишних вариантов. Полетят диссертации...

— О моей и говорить нечего. Впрочем... о чем я? — Марков усмехнулся.— Какая теперь диссертация...

— Я твой научный руководитель,— сказал профессор. — Не будем говорить о том, что значит для меня случившееся... Говорить об этом... — Он замолчал. — Но я отвечаю за ваши жизни, за ваши судьбы ученых... тебе трудно это понять... Раз в моем несчастье виноват я, мне надлежит не только отвечать перед самим собой. Твоя диссертация не пропадет. Я сам перепису ее.

Марков молчал. Его сердце сжалось от любви к этому человеку.

— Спасибо вам, Борис Александрович, дорогой... Диссертацию я напишу сам... — Марков запнулся.— Есть новые мысли, думаю без конца...

«Ему еще до мыслей,— содрогнулся профессор.— А что делать мне? Почему все это случилось именно сейчас: я не занял еще того места в науке, когда опровержение самого себя не имело бы таких последствий?»

Что же делать?

Живя в мире науки, оставаться честным во всем и всегда,— это было его святым правилом. Нарушить его — значило бы потерять уважение к себе. Теперь же он стоял перед дилеммой: открыть ошибку, публично оповестить коллег, сотрудников, учеников и потерять все, что составляло смысл его жизни, или на время сохранить тайну, что-то выждать...

Он не хотел лгать, но игра, начатая здесь, в больнице, уже что-то изменила в нем.

Он часто думал о судьбах тех титанов науки, подобно которым пытался строить свою собственную. Одна мысль в последнее время не давала покоя: были ли они так младенчески чисты у края могилы, эти славные титаны, как о том иногда вещали биографы? Или и у них случалось нечто такое, о чем биографы предпочитали не сообщать миру?

— Диссертацию я тебе напишу... — раздумчиво сказал Чижов.— А потом...

— Что потом? — испуганно спросил Марков.

— Ты видишь какой-нибудь выход для меня? Для нас всех?

— Я не знаю... Правда.

— Послушай, Володя,— горестно начал Чижов,— давай рассудим... — Еще никогда, кажется, не подбирал он с такой тщательностью слова, не сортировал их, не отфильтровывал, взвешивая значение каждого.— Давай рассудим,— повторил Борис Александрович.— Иногда ради науки — ты же читал, знаешь... — ученым приходится идти на жертвы, на страшные, невосполнимые потери, чтобы сохранить достигнутое. Были, были подвижники науки, и как ты думаешь, что было самым трудным в их судьбе? Ведь без издержек не обходилось, и самые большие издержки связывались не с материальными лишениями... Люди могут понять и верно оценить, но только потом... Для них все обрубается с ошибкой... И то, что было до этой ошибки, для них почему-то перестает существовать, хоть что-нибудь значить... Понимаю это, ученый, не во имя себя, но во имя того, чем он живет, вынужден иногда кривить душой. Но всегда, слышишь, всегда это лишь временный шаг, ради большой Правды.

— Да,— сказал Марков.— Это можно понять. Но что же нам делать?

«Нет,— внутренне воскликнул профессор,— востину «лучше с умным потерять!». Какой не тонкий, какой недотеп! Где гибкость мысли? Заставляет меня ставить точки над «я», говорить вслух то, о чем мне говорить неловко, мучительно. О том, что для любого другого было бы уже давно само собой разумеющимся...»

— Ради науки, ради нашей лаборатории... — Что? — спросил Марков.

— Мы должны... повременить с сообщением о том, что случилось. Пусть какое-то время об этом будем знать лишь мы с тобой.

— То есть как? — растерянно улыбнулся Марков. — Я что-то не пойму...

«Как он неприятен — с этой вытанутой шеей, в настороженной застывшей позе, — невольно подумало Борису Александровичу, — ждет, ловит каждое слово... Анекдот! Я — во власти какого-то неразворотного Маркова...» Чижов ощутил внезапную непреодолимую неприязнь к Маркову. И оторопь взяла Чижова. «Спокойствие! — приказал он себе. — Эмоции побоку, а то так можно далеко зайти».

— Пойми меня только правильно... Мы попали в такое положение, когда нет меня или тебя. Есть лаборатория. Мы должны быть верны ей. Могла... могла же быть просто неисправна вентиляция...

— Вентиляция была в порядке.
«Такого ничем не прошибешь. А по институту бродит следователь, и со дня на день он прикатит сюда, войдет в этот бокс. И извольте — сенсация на радость Солнцеву, Арамяну, Кондорскому».

— А заключение комиссии?
— Вентиляция была в порядке.
— Для таких случаев существуют люди, которые зарплату получают, чтобы не было ЧП... Заместитель директора по пожарной безопасности — вот кто виноват. Это не я говорю, так комиссия решила.
— Митрофанов!

Профессор поморщился от ненависти к себе, к Маркову, ко всей этой заваруке, которая вынуждала его говорить и делать то, что он сейчас делал и говорил.

— Строгий выговор по административной линии, взыскание по партийной — и вся драма.
Марков странно качнулся: горло давило сознание беспомощности перед падением, и никого рядом.

— Согласис, Володя милый, взвесь — это несоизмеримые величины: «сигма-эф» и Митрофанов. Что важнее для науки, для народа — подумай! В конце концов Митрофанов не замученный ребенок, о котором пекся Иван Карамазов. От его выговора гармония не пострадает... Учи, кстати, он наверняка к тебе приедет...

Марков вдруг вспомнил любимый афоризм своего учителя: «Возвышенные вершины неприступны. Только орлы и змеи могут их достигать». Вот так — только змеи и орлы.

— Так как же? — с усилием проговорил Чижов.
— У Митрофанова все было в порядке, — ответил в пространство Марков.

Ему вдруг сделалось неприятно, что Чижов видит его изуродованное лицо, он застесался своего большого тела, запрятанного в бумазеевую кургузую застиранную пижаму, цвета которой он не знал, застесался запаха, исходящего от этой пижамы, запаха простого мыла...

Чижов смотрел перед собой в темноту. Это из его, Маркова, лексикона — «чудно». Действительно, чудно — сидят два человека в черной палате и молчат. Вот тоже еще Джордано Бруно... Да ведь век же не тот, не то время, не те люди... Все относительно...

Борису Александровичу хотелось уйти с чувством завершенности. Он еще надеялся на что-то.

«Надо же понимать, надо быть более гибким. Не подличать, нет! Но быть более гибким. Кому нужна его пионерская честность? Этой глыбе ничего не докажешь. — Усмешка передернула тонкие губы Чижова. — Занятно. Светило науки, профессор, которого знают в Европе, вот тут, в этой больнице на окраине Москвы, вдруг уличен неким Марковым как обыкновенный подлец. Шекспир! Но разве наука

обойдется без жертв? И разве на его месте не мог оказаться я сам? Чижов вздрогнул. Представил себя здесь, на этой койке, с пустой глазницей.

Марков...
Борис Александрович даже немного завидовал ему, его свободе, независимости от тех бесчисленных условностей, связанных с его, профессора Чижова, положением, которые обязывали... Обязывали к чему? «Держать марку», спасти «фирму»... К чему еще?

А в голове Маркова неожиданно просто и ясно определились их позиции, словно кто-то расставил на шахматной доске фигуры: «Мне только что предложили сделку: за предательство невиновного человека — кандидатская диссертация, написанная профессорской рукой, звание, видимость деятельности».

— Володя, милый, ты извини, что я тебя расстроил. Право, это так все неприятно. Но главное — это твоё здоровье. Все остальное ерунда. Поправись, будешь видеть... я не сомневаюсь. Тогда...
«Все ложь», — думал Марков. «Все-все ложь. Он не верит в это. Я для него кончился».

— Выкарабкаешься! Непременно. Тут ведь Михайлов. Бог и царь. Я поговорю с ним... Скучно тебе здесь. Я тебе моя «Сателлит» притащу. Тринадцать диапазонов. Весь мир как на ладони...

Марков молчал. В неподвижной настороженности его головы Борису Александровичу почудилось ожидание.

«Он ждет, когда я уйду», — понял Чижов.
— Ты слышишь меня?
— Да, — тихо откликнулся Марков. — Не стоит.
— Чего?
— Приемник возить не стоит. И вообще... Думать мне нужно. Много думать.

И тут он понял... сейчас его учитель Борис Александрович Чижов жалеет, что он не умер, что он сохранил интеллект, как сказал Михайлов... В той схеме, которую построил для себя профессор, он, Марков, оказался тем же неучтенным, добавочным коэффициентом, что и злосчастная «сигма-эф».

Профессор, кажется, поднялся. Колючинские воздух и его прохладная волна коснулись щеки Маркова.

— Ну, ложись... я утомил тебя.
Что-то еще нужно было сказать профессору...
Что-то очень важное... Марков нахмурился.

— Борис Александрович, вы с профессором Михайловым не говорите... Спасибо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бсли вы верите в свою звезду, учите, что это — рискованное и ненадежное дело. Это говорю я, физик, ученый, специалист. Я тоже когда-то верил, лет десять назад. Нет, не подумайте, что моя звезда меня обманула. Напротив. То, что было загадано, до смешного точно исполнилось в срок. И сегодня, сейчас, в данной точке пространства, именуемой эскалатором станции «Краснопресненская», у черного резинового поручня стоит весьма преуспевающий, судя по его виду, кандидат наук. Заметим на полях: тот далекий двадцатилетний Мишка, полный энтузиазма и огня, пришел бы в восторг, увидев меня, то есть себя, сегодня. И насколько бы не удивился бы. Я, сегодняшний, точно уложился бы в его схему будущего. Но ему, зеленому студенту физтеха, не дано было понять то, что абсолютно ясно мне сегодня: и мое модное пальто, и работа

у холодного мудреца Чижова, и переведенная в опуб-
ликованная во Франции диссертация — по сути,
цель случайностей. Невообразимых случайностей.
Услышь такое двадцатилетний Мишенька, заводила,
душа человек и столп «калустников», — он загопал
бы ногами. Он еще не дошел тогда до теории
вероятностей. Так что если вы по-прежнему будете,
несмотря на мое компетентное предупреждение,
верить в свою звезду, учитие, что свет ее может от-
клоняться.

«Неблагодарный! Мало ему всего! — вполне спра-
ведливо можете вы подумать. — И здоровьем судьба
не обидела, и ростом, и профилем. Теперь с бакен-
бардами по нынешнему поветрию...»

Не судите меня строго за мои маленькие слабо-
сти: вообще-то я «серьезный», «перспективный»,
«одаренный» и «многообещающий», если верить, ко-
нечно, характеристикам... Так вот теперь я похож на
испанца. Накрашенные неземные существа в сног-
шибательных одеяниях, поднимающиеся на встреч-
ном эскалаторе, поглядывают на меня. Кто робко
и мимолетно, кто посмелее и пооткровеннее. Двад-
цатилетний Мишка не поверил бы, что это может
быть безразлично. Только, пожалуйста, не ошибит-
есь... не подумайте, что раз я смеюсь с вами, про-
вожаю потрясенным взглядом какую-нибудь хоро-
шенькую розовенькую мордашку с тугими щеками,
в которых все ее семнадцать лет, улыбаюсь пони-
мающе, демонстрирую свою фотогеничную улыбку
дедам постарше, — не воображаете, что мне сейчас
весело. Скажу больше... если бы тот, двадцатилет-
ний, спросил меня, заранее уверенный в ответе,
счастливы ли я... то я, сегодняшний, скорее всего
предложил бы ему... поговорить о птицах.

Всё, эскалатор кончается. Теперь не до «прокля-
тых вопросов» — надо смотреть в оба, а то могучая
толпа может подхватить и унести обратно наверх,
на Пресню. Вечерний час «пик». Разрезаю плечом
шумный людской поток, сталкиваюсь с бегущими во
всю мочь, выхожу на перрон.

Двадцатилетний Мишка входил в метро, как в кино.
Он не зубрил формул, везущий черт, ему все да-
валось с лёта. Он пьезал от мелькания лиц, от ты-
сяч глаз, от гула туннелей, от радостных свиданий
у синего свода «Октябрьской», от красной фуражки
дежурной по платформе, от короткого, отрывисто-
го: «Готов!» Он не ходил тогда, а бегал, везде успе-
вал: и в бассейн, и на тренировку институтской во-
лейбольной, и толкнуться захот, и прохлянуть до утра,
целуясь всю ночь напролет. Верил в мировую гар-
монию и имел на это право. И всегда было метро,
всегда новое и волнующее. Оно и теперь иногда бер-
ет за душу тем давно ушедшим тревожным бес-
покойством, которое, напоминая о себе, само вол-
нует больше, чем станции, мрамор, вагоны... Нигде
так остро не чувствую я, что уже отрезано навсегда
полжизни. А это, как говорил мой дед, «не фунт
прованского масла».

Всё ближе грохот, переходящий в рокошущее за-
вывание. Из черной арки туннеля вынырнул поезд.
С лягом и шипом расходятся двери, людей из ва-
гона выбрасывает, как катапульты.

Нас несет по черному туннелю, мотает из сторо-
ны в сторону. Зеленые светофоры прочерчивают
вагоны окна длинными импульсами, как экраны ос-
циллографа. Сумка с апельсинами начинает оття-
гивать руку.

Мне ехать далеко, две пересадки. Минут через
пятьдесят доберусь. Выйду к нему, и тут, я уже знаю,
в моих умных кандидатских мозгах что-то переключи-
тся, и я начну сыпать смешное, как из рога изо-
бия.

А сегодня мне не до смеха. И не только сегодня.
И особенно с ним. Но я должен говорить веселые
вещи — все в заданных параметрах, не больше и не
меньше, как учил наш шеф: «Такт прежде все-
го», — но должен. Слишком сильно люблю я этого
человека, чтоб дать ему зарыться в свое горе.

Откуда эта потребность — жить и знать, что после
моей усмешки кому-то полегчало? Генетика, наверно.
По наследству от деду эта способность смеяться,
когда надо бы тиснуть зубы. Я любил де-
да. Его стоило любить. Он умирал от рака горла в
старенькой больнице — умирал, уже изрезанный
вдоль и поперек. За пять минут до конца дед пом-
нил нас с отцом и, когда мы приблизились, улы-
нулся и прокрипел в свою трубку: «Поезд отъез-
ден... Все — согласно купленным билетам... Никогда
не ездите «зайцем»... Это было не самое легковес-
ное из духовных завещаний. Дед открыл счет.

Месяц назад чуть не продолжился этот счет по-
терь. Тот, к кому я еду сейчас, мой самый близкий,
самый верный друг, подорвался на опите.

Оглушительно лопнули стекла, и, когда я очутил-
ся, сломая голову кинулся по коридору, вбежал в ла-
бораторию, забил огнетушителем пламя, то увидел
Володьку. Он лежал на спине, в забрызганном
кровью белом халате, закрыв лицо руками. Я отвез
его на «Скорой» в больницу, схватил такси и помчал-
ся в школу за ней. Она должна была быть с ним
рядом. Он мог умереть то школа.

Вспоминая тот день, я невольно ловлю себя на
одном и том же: услышав грохот, увидев дым, вы-
ходящий из провала в стене, я прежде всего подум-
ал не о Володе. Пусть это ужасно. Но это правда.
Двадцатилетний с его прямым, дозрившим пониманием
вещей очень бы удивился, а узнай он,
как я живу теперь, наверняка подмигнул бы и ска-
зал: «Старичок! Это же классика!»

И он попал бы в точку. Как всегда. Чудак, маль-
чишка! Как легко он во всем разбирался! К нему
шли за советом, за его смешняцкой железной ло-
гикой. Он всегда давал правильные советы.

— На «Белорусской» сходите?

— Нет, — говорю я, отодвигаясь подальше от две-
рей. — Пролезайте, если сможете...

Я приезжаю. Серая муть морозного вечера. Кор-
пус больницы светится голубыми окнами. Подни-
маюсь на четвертый этаж, стучусь в дверь бокса.
Тюшина. Притворяю дверь, заглядываю. Володьки
нет. Внезапная тревога сжимает грудь.

Я вижу его в дальнем конце коридора. Он стоит
у окна, у рахитичной пальмы.

— Старик! Вон ты где! Я уж решил: тебя за нару-
шения режима попросили... — Он не оборачивается.
Будто не слышит. Что с ним? Неужели подписали
«смертный приговор»? — Марков, ау! — Я обнимаю
его сзади за могучие плечи. — Прячься от репор-
теров, Бриджит Бардо?

Он резко оборачивается и снова упирается лбом
в стекло.

— Володька! Это я. Привет!

— Привет, привет... — говорит он, и я не узнаю
его голоса. — Приехал, значит?

— Ну да... — я вовремя спохватываюсь, чтоб не
брякнуть «как видишь», — пошли к тебе.

— Зачем?

— Что струсилось, Володя?

— Ничего.

— Врачи сказали что-нибудь?

— Нет! — упрямо, сквозь зубы отрезает он.

— Так, — говорю я, — Марков вспомнил, что у

больных непременно в четвертом действии бывает кризис. Родные обступают Бородатого доктора. «Ну-с, хм, хм,—говорит доктор, играя цепочкой от часов,—главное теперь—это хина. Будет хина... хм, хм, ну тогда... хм, хм... конечно... кризис, господа, кризис!».

— Иди ты к черту!
— Черта нет,—говорю я.—Ты тут обскурантизм средневековый не разводи.—Беру его за руку.— Пошли к тебе.

Володька выдергивает руку.
— Я не шучу с тобой!

Хочу снова взять его под руку, но он отталкивает меня. Он действительно не шутит. Лапа у него тяжеловатая.

— Обойдусь без поводырей.—Володька на шаривает рукой стену и медленно бредет рядом со мной, пригнув голову.

Я исхожу глядящая на него. Это сон. Чтоб на его лице—такая недобрая усмешка... Веки горя. — Пришли.—Я останавливаю его перед дверью бокса.

Он тяжело опускается на кровать, сидит понурясь.—Апельсины!—говорю я торжественно.—Очередь чуть не побила твоего знакомого камнями. Просил отборных для одного грубияна.

— Слоспашь сам. Забирай и катись. Тащат и тащат эти апельсины. Устроили фруктовый магазин.

Так Это уже вполне серьезно. Что произошло, хотел бы я знать?

— Володя,—мой голос тверд.—Скажи, что случилось?

— Ничего.—На его лице та же мрачная усмешка.—Я прозрел.

Я не понимаю такого юмора и говорю:

— Володька, милый мой! Не надо так. Нам всем тяжело. Это я птица вольная, а у ребят семьи, малышня, магазины. Не могут они часто приезжать. Зато приветов тебе...

— Милый!—сдавленно, тяжело вдруг засопев, выкрикивает Володька. —Милый! Для всех я теперь «ми-ильный». Все вы теперь знаете... не дураки, образованные, интелли-иге-ентные... Конец Маркову, отбегайся. Ан все-таки какая-никакая, а помеха. Слепой, а мешает, ходу не дает... Мы его по-хорошему, по-культурному уговорим, чтоб знал теперь свой шесток... апельсинчиков притащить... кушайте на здоровье... Владимир Петрович... А сами... А сами—о себе хлопочете!

— Ты что, сдурел?—Я чувствую, что темно, губы краснею.

— Сдурел. Свихнулся. Как это? Ах да... недееспособен. Мозги набекрень. Тебя ведь это устраивает, правда? Ну вот скажи... Ты для чего ю мне через день катаешься?

— Чо я могу для него сделать? И для нее? Неужели ничего?! Совсем ничего?

— Чего катаются? Для разминки.

Мне ясно—его обидели. Обидели слепого... С какой стороны это пришло?

— Давай, давай,—ядовито улыбается Володька,— куй железо. Только не думай, что я такой уж глупенький. Все вы друзья, пока вам чего-нибудь надо, а добудете... Гуд бай! Может, тебе фактики нужны? Из диссертации моей? Могу подарить. Конечно, зачем мне теперь это все?... Надо науку двигать, а я тут лежу себе, как собака на сене... Так, что ли? Бери, старичок, не стесняйся, описание накрутишь, обрабатываешь... Разве я не понимаю? Бери.

Мне делается душно. Это не Марков.

— Фу... усмехаясь я,—ну и тексты выдаешь. Если ты полагаешь, что я хлопну дверь и выме-

туса,—держи карман. Не для того я перся через всю Москву. Не надейся.

Мне действительно не до обид. Сказать по чести, я и обижаться-то толком не умею. И потом—это от профессии. Нам нельзя обижаться. Физика пострадает. Круговая порука! Вроде того.

— Знаешь, Володька, может, и правда—приехать мне к тебе завтра? Будем считать, что сегодня меня у тебя не было... Если ты не можешь мне сказать, что случилось,—выпить я не буду. Сиди тут и дуись, как мышь на крупу. Если к тебе приезжают друзья—нечего на них бросаться аки собака.

— До свиданья. Не вздумай оставлять апельсины.

— Ну не воображай, что я поволоку их назад после трудового дня. Можешь отправить малой скоростью на Огненную землю. Там у них наводнение, кажется...

Я подхожу к нему. Крепко обнимаю. Он уже не вырывается. Я вижу, что щека его, багровая, изрешеченная осколками, начинает дрожать.

— Ну скажи мне, дуралей паршивый, что с тобой? Какая сволочь тут побывала! Только скажи—кто?

— Слушай, Мишка, жуткий вид у меня! Только честно!

— Нормальный вид.

— Врешь ты все.

— Очень даже мужественный вид. Сразу видно—человек не бумажки подклеивал.

— Я решил. Я разведусь с Веркой.

— Тебе надо прописать душ Шарко,—говорю я, чувствуя, что стены бокса начинают сдвигаться и сейчас меня расплющат.—Помогает. Тебя что—переколоти!

— Я решил.

— Он решил! Он, видите ли, решил! Кто дал тебе право решать за нее!

— Я имею право. Будь ты на моем месте...

— Будь я на твоем месте—я б жрал таблетки. Хоть Веру не мучь. Ей сейчас весело, как ты мыслишь?

— Ну вот... я и говорю.

— Ты хочешь сделать, чтоб было еще хуже. Только и всего.

— Ладно,—говорит он и хмурится.—Хватит.

— Пожалуй,—соглашаюсь я.

Ничего смешного больше в голову не лезет. Я выдохся. Потерял форму. Мне не двадцать лет.

На пороге Вера. На ней белый халат, сдвигнутый по всем правилам на пуговицы, не то что моя наидка. Из-под халата видны модные брючки. Как вы думаете—что у нее в сумке? Да-да, они самые, может, даже и из Марокко.

— Привет честной компании.

Она бросается к Володьке, крепко целует. Я свой. При мне можно. Чмокает меня в висок. В ее голубых глазах вопрос: «Ну как он?» Я киваю, успокаивающе поднимаю руку: «Порядок». А она постарела.

— О чем говорили, признавайтесь?

— Мы как канадские лесорубы,—улыбаюсь я,— «в лесу о Бабах, с бабами о лесе».

— Страшные оригиналы... Надо думать, не только канадские лесорубы...

— И заметь—не только лесорубы...

— Да-да. Вопрос века. Неразрешимый вопрос.

— Откуда доспехи?—киваю на белый халат.

— Выпросила у химички нашей.

— Как ученички, Вера? Грызут гранит?

— Не напоминай мне о них. Если бы грызли!

— Как у тебя с часами?

— Нормально, как говорят мои детки. Я спрашиваю: как жили Ларины до приезда Онегина? Отве-

чают: «Нормально жили». — Вера подносит палец к губам. Ясно. Разговор не для этой минуты.

Понимающе прикрывает глаза и говорю: — Володька! Чего молчишь? Угадай, что тебе жена принесла? О чем ты мечтал... ну?

— Апельсины, небось? — Он чуть улыбается. — Что мне с ними делать?

— Слышишь, Вера? — говорю я. — Могли ли задать такой вопрос наши деды и отцы в 1913 году? Мне самое время уходить. Теперь, когда она пришла, я здесь ни к селу ни к городу. Но какая-то сила не дает мне встать и распрощаться.

— Счастливый ты человек, Мишка, — говорит Володька, — легкий человек. Все у тебя хорошо.

— Плюнь, — говорю я, — плюнь сейчас же. Сглазит меня захотел?

— Тебя не сглазишь. Ты веселый, заводной... Чего не женишься? Не понимаю.

— Видишь ли, старина, — улыбаясь я, — никак невесты не выберу. Притязания-то у меня — сам знаешь!

— А женись вот на ней, — вдруг резко говорит Марков, — на Вере.

Зачем мне эти слова? Почему я не ушел пять минут назад? Досиделся. Я молчу. Скорей, немедля надо что-то ответить ему. Принять и отдать этот пинг-понговый мячик. Что-нибудь в том же проклятом непринужденном стиле...

— Минуточку, — с серьезным видом оборачиваюсь к Вере. — Тут надо разобраться... Вера! Ты умеешь делать пельмени на быстрых нейтронах? Да или нет?

В ее глазах слезы.

— Какие-какие!..

— Ах, вот оно что?.. — разочарованно тяну я. — Ну, тогда все понятно. Друг называется! Сватает какую-то бездарность, о любимой закуске физиков всех стран слыхом не слыхивала...

Мы хохочем с Верой. Володька молчит, а мы хохочем.

Вера вдруг обнимает большую Володькину голову. Ее глаза вливаются в это обожженное лицо, она проводит пальцами по затнущимся рубцам. Ее глаза закрыты, но из-под ресниц тянется черная мокрая полоска.

Когда меня возьмут под белые руки, поставят пред очи господина и создатель спросит меня: «Что видел ты, жакиш маленький лудильщик!», я отвечу: «Однажды зимой, в больнице, вечером, я видел любовь, господи». Кажется, так писали когда-то в романах?

Вера отрывается от Володьки. Она смотрит на меня.

— Ну, — говорю я, — теперь, когда главный режиссер распределил роли, мне можно уходить. — Я смотрю на Маркова, на его тяжелые, массивные плечи, на толстую крепкую шею, но чувствую на себе все тот же остановившийся взгляд голубых глаз. Надо ударить. Пора...

— Итак, — бодренько говорю я глухим незнакомым голосом, — сделал дело и уходи. Володька, помни, о чем говорил.

— Давай, — невесело кивает Марков. — Спасибо тебе, Мишка.

Вера встает и отходит к окну.

— За что спасибо-то? — спрашиваю я.

— Не уверяешь хотя бы, как некотерые, что все будет в лучшем виде. А ездить через день — зачем тебе мотаться? Я ж тебе не мать...

— А действительно... Ты мне не мать. Что это я, правда, выдумал! — Я склоняюсь к нему.

Он сидит грустный, далекий. Еще позавчера был другим. Его запавшее веко — близко-близко. А тот

глаз, что остался, — мутен, весь в черно-красных трещинках сосудов, сморит как-то вбок.

Вера стоит к нам спиной.

— Ладно, веди себя тут хорошо, на днях заскочу. — Стискивая его ручищу. Всегда твердая и горячая, сейчас она холодна. — Вера! — Вот мы рядом. Я касаюсь губами ее руки. — Развесели этого типа. Как подменили человека... Пока!

Я высикаю из Володькиного бокса. В коридоре темно.

— Миша! — Вера стоит в темноте. — Подожди.

— Что?..

— Ты знаешь... я поняла сегодня.

— Что ты поняла? Ничего ты не поняла. Беги к нему. Старик сегодня сам не свой.

— Ты редкий человек, Мишка!

— Открыла Америку!

— Посмотри на меня. — Она берет меня за руку. — Куда ты смотришь?

— Я смотрю на тебя.

— Я больше не буду бояться за Сережку... слышишь? Я никогда раньше не думала, что со мной что-то может случиться... А после того, что с Вовой произошло... Теперь я знаю, я могу не бояться.

— Что-то ты такое говоришь... ничего не понимаю.

— Я очень счастлива с ним, Мишка.

— Я знаю.

Это правда. Она действительно счастлива. Не считая мы с ней тогда языками в бесконечной очереди у читального зала «Ленинки»... Не познать ее тогда со своим лучшим другом Марковым... А главное... забудь я тогда на минуту о Виктории Олевской... И все завертелось бы в иной плоскости, все было бы совсем не так, как оно есть сегодня. А сейчас... Вику Олевскую, то есть исследователя сверхновых звезд, талантливого астрофизика В. И. Олевскую, вспоминаю редко... Иногда мелькнет информация в журнале, фамилия... Олевская... он ты где... ясная голова...

А Вера счастлива. Так и должно быть. Я хочу радости Володьке, ей, себе. Я всегда знал, что у них не будет скандалов, ссудки, побегов на сторону, всей этой паршивой модной разводной муты.

Вера вдруг прижимает к себе мою голову... какие сильные у нее руки.

— Ну, поезжай, дорогой.

— Как у тебя с деньгами? Только без дури.

— Если будут нужны, я скажу.

— Беги...

Меня снова качает вагон метро.

«Так получилось...» — думаю я, — так получилось. Наверное, это ни в какие ворота — что я думаю сейчас о себе. Но думаю вот... Странно... и немного удивительно. После столько лет, после столько встреч Володька и Вера — единственные люди, которые у меня есть. Так получилось.

Что же стряслось с Володькой? Кто был у него вчера?

И вдруг меня пробивает разрядом неожиданной догадки. Чижов! Но почему же после его визита? Ведь он Володьке вроде пастыря. Что между ними произошло? Володька не захотел сказать. Марков есть Марков...

Мерное покачивание усыпляет.

Все равно, как бы там ни было... спасет ему зрение или нет... я буду с ним.

Так получилось.



Проводив Мишку до лифта, Вера медленно пошла к боксу, где лежал ее муж. Марков все так же сидел, сжав голову руками, и, когда она вошла, не шевельнулся.

— Ты похож сейчас на роденовского «Мыслителя», — сказала Вера и погладила его по волосам. — Тебя смотрели сегодня?

— Смотрели, не смотрели... Какое это теперь имеет значение?

— Вовка! Так нельзя. Обидел Мишку...

— Велика важность! Не будет больше ездить... апельсинчики возить.

— Мишка — друг. Настоящий друг.

Он поднял голову, и Вера ужаснулась, увидев его холодную, недобрую улыбку. Ее Вовка Марков не мог так улыбаться. Что произошло, что еще обрушилось на них?

— «Настоящий друг»... Настоящим другом может быть только мать или отец. А меня тетка воспитала... Кое-что я успел понять в жизни. Во всяком случае, что такое «настоящие друзья».

— Нехорошо ты говоришь. Несправедливо... Знаешь, как за тебя в институте переживают!

— Зачем она дотрагивается до самого больного? В институте переживают. Переживают, точно. За себя переживают.

Вера обняла его за плечи.

— Что тебе сказали врачи?

— Врачи? — Он пожал плечами. — Что нового они могли сказать? Все, как было.

— Ну, так что же все-таки? Зачем ты мучаешь меня?

— Разве я прошу тебя мучиться?

— Вовка, это не ты говоришь!

— Это я говорю. Надо смотреть на жизнь просто и видеть ее такой, какая она есть. Хватит витать в облаках. Тогда по крайней мере не обманешься.

— В ком ты обманулся? В Мишке? Он... Он сказал тебе что-нибудь? — Вера почувствовала, как у нее похолодели ноги, но она снова увидела Мишкины глаза, и ей стало стыдно за себя. — Или во мне?

— Обманулся — обманулся... Все слова, слова... Жизнь умнее нас.

— С тобой что-то произошло. Что-то очень плохое. Я чувствую. Не хочешь говорить — не говори. У нас с тобой нет сейчас ничего важнее, чем твой глас. Тебе нельзя нервничать. Вспомни, что Сергей Сергеевич говорил.

— Да не в том дело! — досадливо махнул рукой Марков.

— Тогда я слов не нахожу... Да как можно... из-за какой-то чепухи... Теперь для нас все чепуха...

— Как сказать...

— Вовонька, что случилось?

— Тебе это ни к чему.

— Хорошо, — отрывисто сказала Вера деланно-сухим безразличным голосом и встала. — У всех людей бывают такие моменты. Ты живой человек.

— Верочка, как думаешь, не пора ли... остепениться твоему умному мужу?

— К чему ты это?

— У меня был вчера профессор Чижов. — Он сразу подобрался, напрягся. Голос зазвучал жестко, отрывисто. — Почему взорвалась установка — знаем только мы двое: он и я. Больше никто. В том, что грохнуло, виноват шеф. Это не вина, конечно. Заблуждение. Серьезное? Будь здоров! Ошибка! Но за ней, я чувствую, стоит что-то колоссальное. Надо бы редоваться, да? Не так все просто. До этого колоссально дожить надо. Дожить. А пока доживешь...

В общем, если кто-нибудь узнает насчет установки, будет великий шум. Это как дважды два. А стрелочник тогда зачем? У нас такой стрелочник — некто Митрофанов. Короче, так я молчу, Чижов молчит, шишки на Митрофанова. А молчание, Верочка, — золото. Мне за него профессор пишет кандидатскую, орация на защите, соискатель — слепой, слава героя и т.д. Ну как, нравится?

— Какая мерзость!

— А ты подожди, не горячись. Это в моем-то положении — двести пятьдесят целковых в месяц! Таких денег сейчас не бросаются. Ты взвесь, подумай...

— Это низко! — тяжело дыша, быстро выговорил Вера. — Низко! Как ты смеешь меня проверять? Рассчитываешь, как я буду тебе прощать, делать скидки на твоё положение?.. В холодильнике мусс клубничный и котлеты. Я пошла. У меня гора тетрадей.

— Подожди... Я еще пошутил... — Он встал и шагнул к ней, вытянув перед собой руку. — Верка...

Она взялась за ручку двери:

— Следы все-таки за собой. Кофту наизнанку надел. До свидания.

После вчерашнего разговора с Чижовым Марков ощущал постоянную нехватку воздуха. Грудь сдавило, каждый глубокий вздох отдавался болью в сердце. Что же, в новом свете все выглядело иначе. Неужели он был для Чижова просто ломовой лошадкой, а его слова об одаренности, талантиности молодого физика, коммуниста Владимира Маркова — не чем иным, как изыщной понаукликой, стимулом для достижения задуманной цели? Он всех их сделал ломовыми лошачками, восторженными, влюбленными фишками, и только сейчас дошло до Маркова, что именно оттого, что он подавлял их своей эрудицией и одновременно в высшей степени деликатно, но железной хваткой держал в узде, в плену лишь своих планов, своих идей, своих мыслей, оттого, что они сами перестали считать себя «мыслящими единицами» и не умели шире взглянуть вокруг себя, — именно оттого так долго не всплывала на поверхность та роковая ошибка. В сущности, они никогда не были самостоятельными, они были покорными счастливыми рабостратегами его идей — и больше никем.

...Надо было идти к людям, неважно к кому, услышать их голоса, простые слова, старые анекдоты. Но идти в холл, на лестницу, в холодную, пропахшую хлоркой уборную, где, покуривая «Беломор» и «Шипку», невидящие люди устраивали диспуты о положении на Ближнем Востоке, о пенсиях по группам инвалидности, «о бабах», о глазных болезнях, об обеде, о том, кто как жил в то неправдоподобное время, когда смотрели глаза, — этого Марков не мог.

Чижов вчера точно все определил и зафиксировал: никто никому не нужен. Никто никому не верит, а главное — все слова, улыбки, обещания не принимаются никем всерьез. Каждый, зная себя, не может верить в чью-то искренность. Надо быть дураком, чтобы верить. Логически все было абсолютно верно. Но так же точно знал Марков, что эта логика не для него, что ему-то как раз лучше жить тем дураком, который верит. А верить он не мог.

Пришла ночь. И странное дело: с этой ночи кончилась его бессонница, он спал тяжело, каменно, просыпаясь на рассвете — от прикосновения к горячей коже мокрого холодного градусника — в том же положении, в каком засыпал. Грустные сны снились ему под утро. Появлялся Чижов, тот, прежний, и Марков что-то ему доказывал, с особой радостью, что бываешь только в хороших снах: чувствовал, учитель все понимает, до последних крупинку.

Снились ему огни аэропортов. Пестрые бесконечные монтажные провода. Много синей воды. Сны были как никогда реальные, яркоцветные. Лучше бы не просыпаться после таких снов!

Но издо было вставать, добираться на ощупь до умывальника, нухать, чтоб не перепутать тубики с зубной пастой и кремом для бритья, осторожно, обходя рубцы, сбрасывать шетину, идти на завтрак, что-то говорить в ответ на вопросы:

— Ну что, Володь! Лежишь?

— Тебе масло как? На хлеб намазать или в кашу?

— Те-те-те... размахался! Смотри, сейчас стаканы все покочелишь! Ты, Володь, борьбу не занимался? Здоров ты, парень!..

Снова потянулись долгие, томительные больничные недели, заполненные каплями, уколами, процедурами... мыслями. Марков почти не выбирался из своей комнаты. Ждал. От судьбы, способной на всякие повороты, от Михайлова, от далекого — до которого надо было еще попросту дожить — февраля, марта или июня, когда должно было наконец что-то скажаться, что-то поддествовать по не ахти каким уверенным обещаниям доктора Каревой Натальи Владимировны, его палатного врача.

Он ничего не загадывал. Он только ждал, когда проползет время. Все его руки были в красных точках внутривенных инъекций, ему делали переливания, пропуская через глаз токи высокой частоты, вводили под воспаленное веко кислород, но глаз по-прежнему был заполнен темными сгустками крови. Они не рассасывались.

Пусть острая боль простреливает голову. Пусть мутит от мерзкой, тягучей, сладкой до горечи жидкости, прозываемой глицеролом — хочешь не хочешь, два стакана в сутки надо было влить в желуток. Ради того, чтобы увидеть Сережку, Веру, само-му запасти свои мысли, можно стерпеть все.

Приезжала Вера. Приезжали Мишка, ребята. Ожесточившись, Марков почувствовал в себе новую, неизвестную силу. Это была чужая, не радующая сила, но она помогала быть твердым, когда входила Вера. Надо было давно сказать ей все, но каждый раз, когда раздавались ее шаги у двери, когда она целовала его, жадно расспрашивала обо всем, что происходило с ним за тот день или два, что они не виделись, Марков почему-то переносил задуманный разговор на следующий ее приезд.

Как-то под вечер постовая сестра Галя распахнула дверь бокса и сказала: «К тебе гости, Марков. Сюда, пожалуйста». Чьи-то тяжелые шаги со скрипом прозвучали по линолеуму, и он услышал над собой незнакомое, хрипловатое дыхание. В боксе запахло тем одеколоном, каким «освежают» в парикмахерских, и густым духом, сопровождающим курильщиков.

«Нуужели все-таки он? — подумал Марков. — Нуужели никак нельзя было обойтись без меня, нуужели непонятно, что я не могу, что нет у меня сил устраивать их дела — здоровых, зрячих людей?»

Марков давно ждал, когда придет тот человек. Он понимал: может случиться так, что от его, Маркова, слова, повернется в ту или другую сторону целая человеческая жизнь. Что ж, будучи уверенным, он мог взвалить на себя эту тяжесть. От того человека хотел лишь одного — и втайне просил его — не приходить. Его, Маркова, не надо «обрабатывать», хватит.

И все же он ждал. Зачем? Чтобы еще раз убедиться в том, что все, творящееся вокруг него — слепого, изувеченного человека, — не более чем мелкая возня насмерть перелуганннз за себя людейшек, которым наплевать на его горе, несравнимое ни с какими их неприятностями? В чем дело он удостоверить? Для чего ему эти доказательства расчетливой беспощадности, отшлифованной на кругах житейского опыта?

— Здравствуйте... Владимир Петрович... — прозвучал

чал над ним глухой низкий голос. — Я Митрофанов... заместить директора...

— ...по пожарной безопасности... — перебил вошедшего Марков. — Здравствуйте, здравствуйте.

«Какая скучная, убийственно скучная жизнь! — подумал он. — Вот я и дождался тебя. Вот ты и пожаловал выколачивать из меня свою чистую биографию. Все как по нотам! Почему я, собственно, так взелся на Чижова? Он прав. Как это ни прискорбно для лопуховых идеалистов вроде меня, но прав. Это у людей в крови, в генах, в черт его знает каком мучеге, непобедимом нутре. Как засуетились, как забегали! Хотят утупить друг друга, а Марков для них — сильный козырь, он все покроет; надо только заполнить его из колоды. А что? Поменяй их местами... Чижова с Митрофановым — и все было бы точно так же, с вариациями на тему. Другое дело я сам... Олух Марков, ты и под пистолетом не поехал бы к какому-нибудь бедолаге, чтоб, разбередив его раны, добыть себе душевный покой. Тем хуже для Маркова!»

— Как вас... по имени-отчеству? — спросил он.

— Николай Андреевич...

— Что ж, Николай Андреевич... садитесь.

Марков лежал на кровати и улыбался в душе. Ему было интересно, с какого конца подойдет Митрофанов к тому разговору, из-за которого узнал сюда дорогу.

— Вот ведь... беда какая вышла, — сказал Митрофанов и сел, отдуваясь, на стул. Рядом с ним, на сбитом, вылезшем из пододеяльника одеяле лежал тот самый парень, который вспомнился ему через несколько минут после взрыва. Сейчас он представил снова весь тот день, другие дни, когда работала аварийная комиссия, заключение комиссии, по которому выходил виноватым он один, свою везназную немому, когда вдруг совсем другим тоном заговорил с ним следователь, показавшийся поначалу таким рассудительным и понимающим. Все это время Митрофанов порывался съездить поговорить с Марковым, ведь он-то должен был знать, что к чему. Но только позавчера, расписавшись у почтальона и пробежав глазами серенькую повесточку с приглашением явиться в прокуратуру, понял: надо ехать в больницу. Чего хотел он от Маркова? Армейская выучка требовала поставить задачу. Задача заключалась в том, чтобы, убедившись в знании Маркова подлинных обстоятельств взрыва, просить его, единственного свидетеля, написать заявление, бумагу, с которой он, Митрофанов, мог бы идти куда угодно со спокойной совестью. Он знал, что у парня этого худо с глазами, но на всякий случай захватил с собой папку с копиями актов по последней проверке вентиляционной системы, разные другие документы, а также «болванку» марковского заявления, которое тому в случае чего надо было только подписать. Митрофанов сам напечатал «г» в обед на машинке, воровато оглядываясь. Нуемло стучал одним пальцем, отыскивал нужные буквы и удивлялся: «Чего я боюсь, если не виноват?»

По дороге в больницу купил апельсины и, пока ехал, все думал: а удобно ли заявиться по такому делу и что-то принести? Вроде бы и маленькая, а все-таки взятка. Но ехать к больному с пустыми руками — тоже никуда не годилось. А пес с ними, со всеми! Пусть думают, что хтят! После той обиды, что он носил в себе, все стало ерундой. Особой надежды, что Марков его вызовет из этой передерги, не было. Кто он ему? Да никто! За Чижова своего горой встанет, за себя. Что ему до позора какого-то там Митрофанова!

— Вот вы, значит, где лежите... — сказал Митрофанов и прокашлялся. — А я по коридору туда-сюда...

спасибо девушке, проводила. Ну, как чувствуете себя?

— Спасибо,— улыбнулся Марков.— Жду вот у моря погоды.

Что дальше говорить, Митрофанов не знал.

Они думали об одном. «Черт с ним,— решил Марков,— ничего спрашивать не стану. Пусть выкручивается как умеет!».

— Как больница тут, ничего? — спросил Митрофанов.— Корпус очень красивый. Современный такой.

— Возможно.— Марков обернулся к пришедшему, и на Николая Андреевича пахнуло вдруг далеким чем-то.— Больница хорошая, говорят.

— А кормят как? У меня жена прошлый год в Боткинской лежала, так я бы сказал — неважное питание. Восемьдесят копеек в день — откуда и силам-то взяться?.. А здесь сколько содержание суточное?

— Не знаю,— развел руками Марков,— может, и восемьдесят копеек, может, больше.

— Это смотря как приготовить... Если с душой, с пониманием, что для больных,— так очень можно вкусно сделать.

— Здесь вкусно! — уверенно потрянул головой Марков.— Да не в том счастье.

— Что и говорить... Доктора-то как, надеются?

— Надеются. Больше ничего не остается, как надеяться.

— И я вам так скажу: не малое это дело — надежда.— Николай Андреевич вдруг понял, что напомнило ему это испещренное черными шрамами лицо.— Я вот в войну, в госпитале когда лежал, доставили раненого к нам. Мы все лежачие, кто с чем, у кого голова, у кого живот... А этот, как и я, тан-

кис... Сорок третий год шел, самый перелом... Отец-то у вас воевал?

— Погиб.— Марков нахмурился.— В сорок третьем как раз.

— Да... — помолчав, сказал Митрофанов.— Год тяжелый был. Ну вот, лежит капитан тот со мной рядом. Какие осколки могли вытащить, вытащили... Чего не нашли — при нем осталось. По всем статьям — с часу на час умереть должен. А он в сознание пришел и говорит... тихо так...

— Буду жить назло врагу... — усмехнулся Марков и подумал: «Вряд ли бывало в жизни такое кино».

— Примерно так и сказал... И что же вы думаете? Встретил я его через год — а ведь совсем помирал. Надеяться, в общем.

— Все надеялись.

— Это правильно,— согласился Митрофанов.— Человек должен надеяться.— Его тянуло выйти покурить. Заодно можно было бы обдумать, что говорить дальше, но разговор какой-никакой, а двинулся. Потом — кто его знает, как получится. Захочет спать — и все. И зря катался.— Как зрение-то? — спросил он участливо.— Хотя немного видите? Я тут недавно статью в «Известиях» читал — какие дела хирурги делают! Одно слово — чудо. Не стоит на месте наука, что там говорить...

«Про это хоть не надо,— подумал Марков.— Говори скорее все, за чем приехал, и мотай с богом. Я тебя успокою, поедешь счастливый, обо мне и думать забудешь. Спрашивай, что ли, дипломат!»

— Так что вы не огорчайтесь. Вот у нас на фронте, уж какие случаи помню! Рассказал бы кто — не поверил бы. Сам видел...



— Знаете...— Марков потер подбородок.— Не надо меня утешать только. Спасибо.

— Я уже старик,— негромко проговорил Митрофанов,— видел много всякого. Зря утешать — самое последнее дело. Нехорошо это.

— Вот и не надо.— Марков повернулся к своему гостю.— Не надо, правда.

Николай Андреевич хотел что-то ответить, но тут в бокс заглянул медбрат ночной смены Вася, толстогубий, очень серьезный парень в минусовых очках, за которыми его выпуклые светлые глаза казались совсем крохотными.

— Здравствуйте,— сказал он и добавил начальственно:— Давай лечиться, Марков! Закатывай штанины, снимай носки!

— Это еще зачем? — Марков поднялся.

— Назначили твои лечащие ножные ванны. Может, рассосется...

Марков застеснялся было Митрофанове, но тот замахал руками.

— Бросьте, бросьте, чего там!

Вася вернулся с большим серебряным тазом и зеленым чайником, kloкотавшим кипятком. Зазвонела струя воды по металлу, таз запел, как колокол. Вася всыпал в клубящуюся паром воду сухую горчицу, и сразу запахло, как в хорошей шашлычной.

— Давай опускай ноги! — приказал он.— Хотя — стой. Подожди, не обварись, смотри. Перегрел я воду. Ждать теперь, пока остынет, а мне сейчас таблетки раздавать, да еще троих на операции готовить.

— А вы ступайте, не беспокойтесь — сказал Митрофанов.— Мы сами тут...

— Отлично! — обрадовался Вася.— Подливаете воду, когда будет остывать, горчицы подсыпайте.

Марков сидел, нахохлившись, свесив над полом мускулистые розовые ноги.

«Вот тебе и чудеса науки — кипяток да горчица, — подумал Митрофанов. Он наклонился, попробовал воду.— Нет, еще рано. Свариться можно».

Марков сидел беспомощный, выключенный из окружающего, теребя в руках носки. В темноте, с голыми босыми ногами, боясь обжечься, что-нибудь не так сделать при чужом человеке, он утратил вдруг ощущение пространства; ему было тяжело, неловко и до стона больно чувствовать одновременно железно тренированных мышц и вот эту невозможность делать самые простые вещи без посторонней помощи.

— Да положите вы их! — Митрофанов забрал у него носки.— Вот мы их сейчас на батарееку пока... Ну, давайте, что ли, осторожно. Опускайте, опускайте ноги... не бойтесь... левой, левой становьте...

— Ого! — вскрикнул Марков и выдернул из воды ноги. Борт таза был еще горячее, чем вода. Он неловко зацепил его.— Ах черт! — Таз с шумом опрокинулся, и вода разлилась по полу.— Вот, ведь... — Ему хотелось плакать. «Черт, лучше сдохнуть, чем так!» — Ну и растяга же я... Много там пролилось? Весь пол, наверно...

— Набедокурили мы с тобой,— тихононько засмеялся Николай Андреевич.— Чего ты перенулся?.. С кем не бывает... Чудак... Красный аж стал... Подумаешь... — Он похлопал Маркова по плечу.— Этот парень нам с тобой на орехи задаст... Погоди-ка, надо тряпку взять.

— Ой, да что вы... — замотал головой Марков.— Не надо, честное слово, высохнет, не надо...

— Погоди, погоди! — Митрофанов смотрел на лужу, растекающуюся по линолеуму.— Раз нашкодили, надо самим убирать... Ноги-то подбери, простынку замочишь...

— Ой, не надо, не надо, пожалуйста,— плачущим голосом сказал Марков.



— Это потому что беспорядок,— как бы не слыша его, заметил старый пожарник,— раз люди ноги парят, так надо сделать, чтоб удобно было. Разве такие тазы нужны? Надо, чтоб дно плоское было, широкое, наподобие шпачки, тогда никуда не перевернется, а так, конечно... тут и здоровый...

Марков сидел на своей кровати и туло слушал пытенне Митрофанова, который собрал на тряпку воду, разбился с крахтием, шлепал с раковине, выжимал журчащую струйку и снова склонялся к полу. «Старается,— неприязненно думал Марков,— из кожи вон... Все ради одного. Насколько приятней жить, не зная, что движет людьми!»

— Ничего...— бормотал Митрофанов,— сейчас мы ее подотрем... Это нам ча ползуно... Гимнастика...

— Да кончайте вы,— чувствуя, что его воротит от неловкости и отвращения, просил Марков.— Санитарку позовем...

— А зачем нам санитарка?— посмеивался, тяжело дыша Митрофанов.— Вот уж и все почти, вот и немножко осталось... Ладно уж, лежи...— Наконец он выжал последнюю воду в раковину, затер капли на сером линолеуме.— Протирают хоть пол-то? У меня б в больнице пол почище было... А с другой стороны взять— сколько у санитарки хлопот... Суматоха— не то слово. Ну... давай, только чтоб больше не проливать.— Николай Андреевич попробовал рукой лоснящийся зеленой эмалью чайник.— Водичка-то теперь в самый раз... Опускай, я держу, опускай.

Марков сидел, боясь шевельнуться. Жгло огнем ступни, каждый палец, щиколотки.

— Задаст тебе супруга: пропах ты горничей на веки вечные. Как жена-то, ходит?

— Ходит,— кивнул Марков.

«Ходит!»— усмехнулся про себя Митрофанов.— Больно нужен ты ей такой! После войны всяко бывало. Некоторые жены... Да что там, известное дело: со здоровым да складным веселей, небось, чем с безногим или с глухарем контуженным... Хватало стерж... «Ходит!»

— Она у меня хорошая,— сказал Марков, и Митрофанов не разобрал, то ли себе он это, то ли ему. «Хорошая».— Николай Андреевич хрипло вздохнул и снова взялся за ручку чайника.— А чего ей плохой быть? Зарплатку ты ей носил аккуратно... не маленькую зарплатку— физик... Не пил, не гулял... по тебе, милый друг, в момент видать, что ты за птица. «Хорошая»... Бросит тебя твоя «хорошая» и как звали забудет. Коли такая, как Сашке моему, старшему, поपालась,— бросит, и думать нечего. Станет такая со слепым валандаться...

— Мамаше твоей переживание-то какое,— сказал он вслух,— не приведи бог.

— У меня нет матери,— тихо проговорил Марков.— Я и не помню ее.

Митрофанов даже привстал со стула. «Вон как круто с парнем судьба обошлась... Богато дасть грозилась, а последнее отнимает... Жена? Да какие они теперь, жены! Матери нет— это горе».

Марков сидел перед ним на кровати, тяжело продавляя своим большим, мощным телом пружинную сетку. Широкие плечи расслабленно опустились. Прикрыл мутный, сильно косящий единственный глаз, он неподвижно замер.

«Что тут скажешь?— думал Митрофанов.— А ничего. Всегда так— раз хороший человек, не хлюст, на него и сыплетсЯ. И этот— до всего сам дошел, безотцовщина, голь— а со шпаной, с шушерой всякой не связался, ученый стал, партийным... Не было папы с мамой, чтоб в институте пропихивать да учителей на дом возить... Сам пёр. Добился— и на тебе! Что за подлость собачья!»

Многому научила Митрофанова опасная работа.

Но главное, что понял он для себя за прошедшие не легкие годы,— это как отличать одного человека от другого. Мало волновало его— шибко умный перед ним или не так, чтоб очень, скромный или много о себе поимает. Главное было в другом: можно ли положиться на человека? Чобы понять эту, может, и не такую уж хитрую вещь, надо было пройти целую войну, поработать год на разминировании в Донбассе, тушить десятки пожаров бок о бок с товарищами по подразделению.

Он понял— на Маркова можно положиться.

Сколько страшных увечий довелось ему видеть: разваленные рухнувшими перекрытиями грудные клетки, крещаные осколками черепа, обугленные, с поджатыми к животу колениками черные трупы. Он привык к виду смерти и ран, но то ли оттого, что война была давно, оттого ли, что много годов уж не был на больших пожарах... может, еще почему... но уж больно сильно ударило по нему все в красных лоснящихся пятнах ожогов и зарубках шрамов лицо Маркова. Старый, чаверно, стал... Поизмотался. Опять же— нервички.

Он все смотрел в лицо, столь похожее на многие, многие лица, виденные на фронтах, и как-то все не мог уразуметь— как же это получилось в мирное время такое боевое, военное на вид ранение.

Марков пошевелил пальцами в мутной желтоватой воде. Николай Андреевич услышал всплеск, схватился за чайник.

— Остыла, а он молчит сидит! Дай-на подолью...

В коридоре послышался шум голосов, шарканье многих ног.

— Девять часов, да?— спросил Марков.— Капли последние...

— На капли!.. На капли!..— кричал Вася, заглядывая в палаты по пути в процедурную.

— Тебе-то надо капать?— спросил Митрофанов.— Пойдешь— простинешь...

— А черт с ними, с каплями,— сказал Марков,— шесть раз и так капают.

— Разве можно пропускать?! А ну, посиди, я сейчас.— Николай Андреевич вышел из бокса и, переваливаясь с ноги на ногу, твердо зашагал туда, где виднелась очередь больных в разноцветных пижамах. Всякий был тут народ. И мальчонки маленькие, озоровавшие, будто им здесь улица, прятывавшиеся, сдерживая хохот, за спины подслеповатых стариков, и мужчины постарше, но больше всего было уж таких дряхлых, что Митрофанов див дался: чего им взбрело напоследок лечиться и как бы беруся оперировать хирурги. Ну и смелый же народ, эти врачи!

Он протолкался к двери процедурной и увидел Васю, ловко орудовавшего пилетками.

— Слушайте, молодой человек, беспорядок у вас,— насупленно сказал он.— Маркову из это четырёхнадесят ноги парят, а кто ему капать будет?

— Приду сейчас,— отмахнулся Вася,— вечно разговоры с этими родственниками.

— И полетнице для ног прихватите.

Он вернулся в бокс, выпил в раковину воду.

— Проплощи-ка в чистой. Сейчас придет, капнет. Вошел Вася с подносиком, уставленным разными пузырьками.

— Фу, как вы тут сидите, горчица одна. Открывай глаз, Володя.

Митрофанов отошел в сторонку, чтоб не мешать. Вася приблизился к Маркову, поднял к свету его лицо, раздвинув веко. Николай Андреевич, смотревший из-за спины медбрата, глянул в глаз. Какая тут надежда может быть?... Пустые разговоры.

— Вверх посмотри!

Сколько раз уж слышал Марков эти два слова к покорно воздевал к черному небу свой глаз! Вася

ловко и точно метнул под красные, воспаленные обложки положенные пять капель и повернулся к выходу. Митрофанов взял его за локоть, и Вася увидел резко побледневшее, в грубых складках лицо.

— Ну, что там у него? — спросили глаза Митрофанова.

«А!» — беззвучно воскликнул Вася и махнул на Маркова рукой. Тот сидел, медленно и равнодушно складывая и разминая ладони...

— Я тут... тебе... апельсинчиков привез. — Николай Андреевич выложил на стол пакеты. — Может, апельсинку почистить?

— Спасибо, — устало помотал головой Марков. — Я уж куда их и девать-то не знаю, апельсины эти...

Он вытер ноги и сел, привалившись спиной к стене. Митрофанов задумался, глядя на него. Как дальше-то ему жить?

— Может, нужно чего? Так ты говори, не стесняйся.

— Да ну, что вы... Все, что нужно, мне принесут.

— Смотри сам... — Николай Андреевич поднялся. — Ну, так я пойду. Пора. Отбой в десять у вас?

— Как? — спросил Марков. — Уже уходит?..

— Надо ехать, поздно, отдыхать тебе нужно.

— Подождите... — Марков подался вперед.

— До свидания, стало быть. Лечись. Врачей слушай.

— Он взял Маркова за руку, крепко сжал ее жесткой своей рукой. — Чтob другой раз веселый нам свидеться...

Неожиданно взгляд его задержался на чуть подрагивающей штапельной ткани оконной портьеры.

— Окна заклеили из рук вас. Не продюло б тебе... — Он вышел и осторожно притворил за собой дверь.

«Вернется», — подумал Марков. Но было тихо в коридоре. Он ошеломленно потер виски. Потом нагнувшись ногами тапочки, встал, потянулся так, что в спине хрустнуло... Прошелся по боку.

Митрофанов не вернулся.

Где-то в недосигаемой вышине потолка плыл тускло-багровый шар, и Маркову почудилось, что он светится сегодня ярче, чем вчера...

Он вдруг почувствовал, что ему хочется есть. Чертовски, неизменно хочется есть! Это, говорят, отличный знак, когда человек болен. А еще говорят... перед смертью.

Но Марков знал, что сегодня не умрет. Это был хороший голод, будто после тяжелой работы со штангой, гантелями и стальными «блинами» в гиревом зале... Он сунулся в тумбочку, достал два апельсина побольше. Съел их. Прохладная кислотная свежесть только растрявила голод. «В холодильнике лежит кусок курицы» — вспомнил он. Нашел дверную ручку и выбрался в коридор.

Но в столовой, открыв холодильник, сколько ни искал, так и не нашел своего целофанового пакета с куриной ногой. Он присел на стул и негромко засмеялся. Ему вдруг показалось ужасно забавным, что кто-то, такой же «глазастый», как и он, умял сослегу его курятину.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С оперировав за утро одного, двух, а когда и трех больных, отработав над столами несколько часов, пережив над злыми глазами минуты высшего счастья, высшего горя, снова высшего счастья и высшего волнения, они приходили сюда, в светлую комнату ординаторской. Кто-то всыпал кофе в кофейнику, кто-то прополаскивал чашки — почти без слов, без лишних жестов, без улыбок, К двум-трем

часам они собирались здесь все вместе, и начиналось то, что их шеф, профессор Михайлов, называл когда-то «большой кофейной церемонией». Первая чашка выпивалась в полной тишине. Вытянув ноги, держа перед собой тонкие фарфоровые чашечки, они сосредоточенно прихлебывали кофе. «Размышлись» как-нибудь полчас назад, записав ход вмешательства в операционный журнал и в истории болезни, они все еще не могли вернуться мыслями отсюда... Это повторялось изо дня в день. Они давно привыкли к своей работе, умели ее делать так, как немногие, но никак не могли научиться смотреть на нее просто и сразу забывать белый свет бестеневых ламп, уходя из операционной.

Потом, после первой чашки, кто-то решался спросить о том, что идет в «Повторном», начинался обычный разговор обычных людей, уверенных, что они и правда обычные. Над кем-то подтрунивали; говорили о своих детях, о путевках в Болгарию, о том, что кто шьет к лету. Мужчины поднимались, уходили в свой уголок и глубокомысленно склонялись над шахматами. Потом кем-то вспоминались дела кафедры, сообщения реферативного сборника... Разговор заходил о последних методиках глазной хирургии. Мужчины, пререзительно отгородившиеся от бабских глупостей истинно мужским интеллектуальным занятием, уже не так внимательно следили за сложными отношениями белой лады и черного ферзя. Молотый кофе снова сыпался в кофейварку, они вновь рассаживались вокруг столика и говорили о том, что волновало их куда больше всех на свете платьев, андшилей и поездов...

Кандидат наук Карева, среди многих подопечных которой был и Марков, вошла в ординаторскую и устало села к столику. В такие минуты ей верилось в цифры статистики, из которых следовало, что их профессия хирургов, так же, как и профессия летчиков-испытателей, не ведет к долголетию. Она закончила четверть часа назад тончайшую операцию, которая должна избавить больного от глаукомы. Ту операцию, что давно стала ее «коньком», при проведении которой она была спокойна и обычно весело поговаривала со старичками и старушками, легко и нежно работая иглами и ножками.

Сегодня было не до разговоров. Сначала все шло отлично. Ввела полтора кубика новокана, парализовав глазные мышцы, и сразу укрепила бекорасстриль. Когда операция уже началась и отказаться стало невозможно, глаз закрыли. Остановились и велела сестре смерть артериальное. Подсочинило до 160. Как назло, тут же разрядился батарейный коагулятор, перестал прижигать сосуды, и, сколько она ни прижимала его тонкое жало к своей стерильной руке, ожога не чувствовалась. Кровь все набегала, в визире микроскопа все было красно. Сестра, ассистировавшая ей, побежала за большим сетевым «профессорским» коагулятором, а старик почувствовал, конечно, неладное, заволновался.

— Ну как, доченька?

— Все чудесно, дедуля, все очень хорошо... не шевелитесь. Как мы договорились? Смотрите на ножки... Только на ножки...

Наконец ей удалось сбавить тон крови, сна щедро омыла глаз физраствором из шприца и повела дальше. Закончила операцию без осложнений, наложила швы, ввела пенициллин и уже хотела сказать сестрам насчет повязки: «Биноккулярную, девочки», — как вдруг старик рванулся, мотнул головой, через мгновение глаз залился снова кровью...

— Ах, дедуля... дедуля... — Ее сердце остановилось. — Лариса, помоги, выстрел! — Еле касаясь, раз-

вела веки. Страшась увидеть глубокое кровоизлияние, припнула к окулярам микроскопа. Что там, за широким черным зрачком?.. — Вот дедуля какой.. Куда вы кинулись?..

— Спа...
— Тш-ш... Тише, тише... потом скажете...
— Спасибо будет сказать, доченька.
— Да, да, пожалуйста... Шпрци! Не тот, большой да!... Диканчику капни ему еще... Больно, дедуля?

— Нет...
— Тш-ш, тш-ш... Тише... شما шити надо... Хорошо, еще на столе... Держи его веки, расширителем боюсь... держи верхнее... осторожно... прими палец...
— А вы сказали... уже кончили... жалобно пробормотал старик.

Хоть плачь с ними. «Вы сказали!»
И все же, кажется, обошлось. Карева пила кофе и знала, какие сны ей будут сниться сегодня ночью. Много раз за ночь повторится одно и то же: снова вскоптит старик, снова выкатится из обведенного зеленого глаза струйка крови и снова ее окатит страхом с головы до ног.

В дверь ординаторской постучали.
— Да-да,— крикнули они хором,— войдите!
— Добрый день, товарищи,— сказал, оставившись на пороге, молодой, красивый с мороза мужчина в черном официальном костюме, с кожаной папкой под мышкой.— Мне нужна доктор Карева.
— Слушаю вас,— обернулась к нему Наталья Владимировна.

— Мне б для личной беседы...— улыбнулся шедший.

— Ну хорошо, подождите в коридоре, я скоро выйду.

— Не могу!— еще шире улыбнулся гость.— Никак не могу ждать!— И для убедительности постучал по своим часам.

Это был явно не родственник. Родственники ждут, Карева вздохнула, с сожалением оставила чашку, поднялась с дивана— высокая, с властно откинутой головой, в белой крахмальной косинке, в белом облегающем халате, из-под которого виднелись зеленые операционные брюки.

Они вышли в коридор.
— Следователь прокуратуры Космынин,— представился гость.— Где бы мы могли поговорить?

Карева распахнула дверь «темной комнаты».
— Я тут по щекотливому делу,— сказал Космынин.— Вы ведь лечащий врач Маркова Владимира Петровича?

— Я палатный врач. А ведет этого больного сам профессор Михайлов, но он в Чехословакии. Прилетит на днях.

— Да нет,— усмехнулся следователь,— зачем нам профессор беспокоить? Я думаю, вы мне дадите исчерпывающие данные.

— Какие?
— Дело в том, что организация, где работает Марков, обратилась в следственные органы сразу же после происшествия. Мне необходимо допросить Маркова в качестве пострадавшего. Вы можете разрешить такую беседу?

— В принципе, конечно. Но волновать его нельзя. Он и так достаточно травмирован.

— Как мы должны квалифицировать его повреждение?

— Я думаю, вам точнее ответят во ВТЭКе.
— Ох, эти женщины...— усмехнулся Космынин.— Ну, а все-таки?

— Один глаз потерян. Второй может спасти только чудо. Профессор наш пытается найти пути. Об этом, если будет нужно, можете спросить самого

Сергея Сергеевича. Но вряд ли он что-нибудь сейчас скажет. Мы тоже народ суеверный.

— Ну, а как... моральное состояние?
— Интеллигентный мужественный человек. Это от вас для вас!

— Распльчатого, конечно...
— За некоторыми болями в его положении... ну, представьте... сегодня—здоровье не бывает, а завтра— следой... так вот, за некоторыми приходится устанавливать особый надзор. Мы знаем — с Марковым это не понадобится.

— А что, были случаи?
— Мы, как и вы, очень много дело с живыми людьми...
— Не всегда...— вздохнул следователь.

— Вам непременно надо говорить с ним?
— Вы думаете, мне очень хочется? Служба такая.

И правда, следователь прокуратуры по особо важным делам Космынин взялся за это дело без желания.

За тридцать лет работы в следственных органах каких только закрученных историй он не прояснял, из каких только тайных колодез не вытаскивал истины! К нему пришли опыт, знание людей, безошибочное понимание их поступков, в нем развилось цепкое чутье, отточенное в бесчисленных столкновениях с неповторимыми ситуациями. Сейчас они могли помочь ему очень мало. Космынин понимал, что обстоятельства взрыва совсем не простые, что они наверняка кроются в какой-то тонкой физической заставке, запрятанной для него, нефизика, за семью печатями. Нужны были эксперты-физики, разбиравшиеся в проблеме, а они работали только здесь, в этом институте. Пригласить их быть экспертами противоречило бы законам правил ведения следствия.

— Надеясь, вы понимаете, что он не должен знать всего, что я сказала вам о его положении!

— Да ну что вы!
Они пришли в сто четырнадцатый.

— Как наши делишки?— спросила Карева.— Мне донесли, что ты у нас повеселел.

— А, Наталья Владимировна,— улыбнулся Марков.— Здравствуйте!

— К тебе пришли, Володя. Вот... товарищ Космынин. Степан Павлович.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста,— приветливо кивнул он в пустой угол.

Карева вышла.
Бывали минуты, когда Космынин ненавидел свою работу.

В поисках правды порой приходилось расспрашивать матерей убитых о том, с кем дружили сыновья, расспрашивать оглушенных, смятых случившимися девушек о том, как это случилось, добиваться правды от тех, кто и без того хватил с избытком боли, страха и тоски,— в общем, делать по долгу службы то, что в обычной расстановке человеческих отношений могло бы быть названо и кощунственным и безнравственным.

Но это была его работа, и за тридцать лет он научился многому— только не этим расспросам пострадавших и их родных, не этим сухим выяснениям, когда приходилось прятать глаза под строго насупленными мохнатыми бровями невозмутимого законника.

Космынин знал, что наедине с этим слепым инженером-физиком глаза прятать будет ни к чему, но начать разговор все равно было нелегко.

— Я следователь прокуратуры,— сказал Степан Павлович,— мне необходимо поговорить с вами.

— Со мной-от?— удивился Марков.— Интересно...

— Подождите-ка...— ошелеп Космынин.— Вы что, ничего не знаете? Что уже, слава богу, два месяца следствие идет?

— Каков следствие? Ничего не понимаю... Объясните.

— Странно,— сказал следователь.— Неужели вам никто ничего не говорил? Люди же выедают у вас? — Никто не говорил. Хотя вы скажите.

— Этим вашим взрывом мы занялись в первый же день... Работали параллельно с вашей институтской комиссией... Выясняли причины...

«Так вот оно что! — Марков поблдедл.— Вот в чем дело!»

Следствие, прокуратура, материалы, доказательств... Только сейчас, только в эту минуту до него дошло, что означал приход Чижова и его молчание о следствии и что означали приход и молчание того, другого человека.

— ...мнения членов вашей институтской комиссии и наших экспертов, специалистов по механике взрывных процессов, разошлись,— говорил Степан Павлович.— Наши утверждают, что по обломкам установки определить, отчего произошло несчастье, невозможно. Они также считают невозможным установить, где возник первичный взрыв, а где взорвалось от детонации. Но наши эксперты не специалисты в вашей узкой сфере. Ваши же заявляют, что взрыв произошел от неисправности вентиляционной вытяжной системы. Если говорить откровенно, я очень надеюсь на ваши показания.

— Что я должен вам сказать?

— Постарайтесь вспомнить, если сможете, что там было с этой вентиляцией.

Марков наярив память. Он старался как можно ярче представить того угрюмого, вечно озабоченного человека, что всегда ходил по институту встревоженным и суровым, который не так уж складно изъяснялся, не знал и сотой доли того, что носил в своей блестящей голове их профессор; того человека, который, зная обо всем, что надвигалось на него, пришел сюда в больницу, невинный — к единственному своему возможному заступнику, увидел его и предпочел уйти виноватым, взять на себя чужую вину. Прошло уже больше месяца, как здесь побывал Чижов. Значит... значит, все осталось на своих местах.

— Я вас не тороплю,— сказал следователь.— Подумайте, вспомните. От ваших показаний очень многое зависит.

— Я понимаю.

Еще ни разу в жизни Маркову не приходилось

решать таких трудных, «комплексных» проблем.

— Возможно, Владимир Петрович, у вас есть какие-то свои соображения... говорите все, как есть.

— Все, как есть? — переспросил Марков. — Конечно. Вы записываете? Пишите. Взрыв экспериментальной установки «ЭР-7» явился следствием грубой ошибки оператора, проводившего опыт, то есть меня, Маркова В. П. Перед началом опыта не были приняты необходимые меры по соблюдению техники безопасности, не была отлажена измерительная аппаратура, в результате чего режим работы установки не контролировался с достаточной точностью, превысил заданные критические параметры и стал неуправляемым. Все вышеуказанное привело к разрушению конструкции. Единственным виновником аварии является Марков. Все.

— Так,— сказал Космынин,— понятно.

— Ну и хорошо. Вы все записали!

— Записать-то я записал... Слушайте, Марков... я тут поддекатничал с вами... Нарушил закон... не предупредил об ответственности за дачу ложных показаний... Я же вижу, что вы говорите неправду. Вы совершенно не умеете врать. Ну, ни на грош.

— Чем вас не устраивают мои показания? Я сказал все, как было.

— Да? Спасибо. Я очень тронут. А в институте мне, между прочим, все в один голос говорили, что вы самый лучший, самый вдумчивый, серьезный инженер.

— Мало ли что они теперь скажут! И на старуху...

— Бросьте. Я вам не мальчик, Марков. Все шито большими нитками. Кого вы только покрываете этим своим, простите, дурацким благородством, не понимаю.

Марков усмехнулся.

Он не собирался ни покрывать, ни выгораживать кого-то, ни кого-то топить. Если бы он стал рассказывать следователю о том, что случилось, тот бы ровным счетом ничего не понял. Марков твердо верил: его лаборатории предстоят невиданные еще, огромные дела. И оттого, что он считал — у ученых свой свод законов, лишь по нему они судимы,— чувствовал себя теперь спокойным, хладнокровным и зрелым.

— Значит, все было так, как вы показываете?

— Значит, так.

— Подумайте... убыток составляет триста пятнадцать тысяч.

— Да,— засмеялся Марков,— не расплатишься.

— Чего вы радуетесь?

— А так,— сказал Марков.— Просто так. Вы даже не представляете, как я рад, что вы пришли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Каникулы, каникулы, веселые деньки... Когда сегодня утром прозвенел звонок, Вера встала из-за стола, улыбнувшись своим десятиклассникам:

— К обедуному удовольствию — до встречи в будущем году. Одинадцатого января мы займемся Маяковским. Все свободны.

Они вскочили, застучали крышками парт, обступили ее, неловко протянули цветы, веселенькую открыточку: «Десятый «А» поздравляет дорогую Веру Александровну с наступающим...»

— Вера Александровна... все будет хорошо... Вот увидите.

«Знают,— удивилась Вера,— языки, языки...»

Три часа на морозе. И вот, после трех часов волнений «достанется — не достанется», с крепко перевязанной проволокой торпачающейся ветками елкой она ехала на Сретенку. В просветах замерших автобусных окон сверкал, искрился под вечерним солнцем снег. Третий месяц каждое яркое пятно, облака, закаты отдавались в душе Веры стоном. Автобус, завывая, нес ее через Большой Каменный. За рекой, в глубокой пронзительной сини полыхали желтым золотом купола кремлевских соборов, слепящая лувка колокольни Ивана Великого... Вот старое, родное парадное старого родного дома. И этот знакомый с детства запах на лестнице, еще дореволюционный, наверное, запах древней штукатурки...

Сергея спал.

— Разденься хотя бы,— сказала мама.— Может быть, у нас заночуешь?

— Нет, нет,— покачал головой Вера,— надо ехать убраться.

— Отдохнуть тебе надо. На кого ты стала похожа за эти месяцы...

— Какое это теперь имеет значение?

— Конечно, ему-то теперь это все равно.

— Ты опять начинаешь о том же. Я ведь просила тебя...

— Когда ты была у него?
— Позавчера. Все то же. Прошу только ни о чем не спрашивать. Умоляю.
— Возьми хоть такси...
— На каком ты свете, мама? Где сейчас возьмешь такси?!

Те предновогодние ночи долго помнились потом. Переговариваясь шепотом, чтоб не разбудить сына, они весело убрали вдвоем с Вовкой, надраивали до блеска пол, возились до утра и к рассвету валились, сморенные, в сверкающей чистотой маленькой квартирке. Эти генеральные уборки перед каждым Новым годом имели для них какой-то ритуальный смысл. Все отжившее, принадлежавшее прошлому, выбрасывалось вместе с пылью. К Новому году полагалось приходиться во всем чистом, смыть с себя под струями душа то, что нельзя было нести за черту во времени, расщепленном звонким ударом курантов,—так и дом их должен был сиять чистотой в первый день этой, будто начавшейся заново жизни.

Сегодня Вере предстояло убрать одной. Приехав из центра в свои Черемушки, она медленно побрела от троллейбусной остановки к белому кварталу одинаковых пятиэтажных домов. Давно стемнело. Мимо нее прогромыхали гитарой чуба-тые, раскрященные мальчишки. Она шла в падающем мягком снегу, будто не чувствуя ничего. Лучились в снежных ореолах голубые фонари. Шуршали колеса машин. Вера ничего не видела, не слышала.
— Что скучная такая? — раздался рядом чей-то добродушный пьяный голос.

Она остановилась, откинула заснеженную прядь волос, не понимая, посмотрела на веселого всклокоченного человека, загорюдившего дорогу. Их взгляды встретились, и он сразу пропустил ее, отступив с протоптанной дорожки в сугроб.

Вот он, их белый дом — в желтых квадратах окон, в соцветиях мигающих лампочек на елках... Она вошла в парадное, машинально вставила ключ в дверку почтового ящика. На затоптанные кафельные шашечки посыпались открытки. Пишут... Поздравляют... Желают... Она собрала их и бросила, не читая, обратно в ящик. Поднялась на свой этаж.

Звонил телефон. Без конца звонил телефон. Пусть звонят. Она не снимет трубку. Их нет дома. Не сбросив мокрой шубы, Вера опустилась в кресло посреди комнаты, глядя не мигая в одну точку потемневшими глазами. Она не замечала, что сидит одетая, что тающий снег с сапожек растекается лужицами по паркету. Пора было приниматься за уборку, но она не двигалась, бессознательно припопавшая ногой в такт орвавшему за стеной соседскому магнитофону. Наконец, встала, как во сне, переоделась, прошла по комнатам. Куда делись все тряпки? Где векины?

Вспомнилась прошлогодняя встреча Нового года у Сандерса, Володькиного замдиректора, сумасшедший вечер, когда все были до чертиков пьяные и веселые. Ее розовое умопомрачительное платье... Конечное признание в любви и поцелуй Сандерса в коридоре, ее киношная пощечина в ответ. А потом — она влетела в столовую и объявила всем, что Сандерс ее поцеловал!.. Неожиданно растерянное, створженное лицо мужа. Она, вероятно, слишком много выпила — ей вдруг стало невыразимо жаль его за этот взгляд, за эту дуррацую тревогу, и она стала целовать Володьку. И целовала долго, без конца... Вокруг начался радостный вой и аплодисменты... А Мишка сказал, что в племени мулбо-юмбо в таких случаях трутся носами, и открыл счет, как судья на ринге: «...семь, восемь, девять, десять...

Аул!» Вовка не успокоился, продолжал казаться обиженным, и ей вдруг страшно захотелось домой. И опять начались шуточки и хохот... Они с Володькой тоже смеялись и все-таки ушли раньше всех и целовались потом на лестнице, на улице. На Ленинградском проспекте уже появлялись люди, и она радостно, пьяно кричала встречным: «С Новым годом! С новым счастьем!».

...С чего же начать? Пыль, всюду пыль... Надо книжки протереть... Вера подошла к стеллажам. Вот они, его бесконечные «плазмы», «полая», «кванты», «газодинамики»... Особая полочка — с печатными трудами профессора Чижова... И чуть ли не в каждой книге выглядывают аккуратные беленькие закладочки...

Она застыла с тряпкой в руке. Не было сил кончить этих книг, этих закладок.

Хоть немножко стал бы видеть, хоть чуть-чуть!..

Убирать надо, наводить красоту в квартире... За чем? Ах да! Новый год в чистом доме! Она по-детски верила, будто это что-то значит.

Сжав голову руками, она заметалась по квартире.
— Родной мой, родной!..

Вера звала слезы, она просила их вырваться из глаз, но это было невозможно, как невозможно было что-то изменить этой дуррацкой уборкой, как невозможно было оставить в старом году это их горе. Надвагивший отрезок времени от января до января обещал лишь новые муки. Впереди была только отчаянная борьба хотя бы за ничтожные проблески света. Она приказывала себе верить в какие-то смутные миражи, но коли все окажется напрасным — тогда как? Уже несколько раз Вовка порывался, когда она приходила в больницу, что-то ей сказать. Бедный, глупый мой, неужели он думает, будто я не понимаю, что он задумал? Завтра. Завтра он наверняка решится. Он не потаит это в новый год.

Господи! Скорей бы перевалил этот праздник!

Вера отшвырнула тряпку в угол. Скорей бы прожить эту ночь! Ее собственная жизнь обрела для нее вдруг особое значение и ценность. Она обязана беречь себя. Она обязана верить каждый шаг. Ей надо учиться быть умной и расчетливой, чтоб не потратить зря ни капли сил...

Она упала на тахту и тут же, не раздеваясь, не погасив света, уснула. Протусулась на рассвете. За комом дымилось утро, обещавшее белый морозный день.

В больничном холле красовалась наряженная елка. Здесь тоже готовились встречать Новый год. «Всюду жизнь», — подумала, быстро идя по коридору, Вера. Кто-то увидит блестящую елочную мишуру. Ее мужа это не касалось.

Она несла Вовке большую еловую ветку.
«Неужели... — усмехнулась грустно, — неужели я понесу ему сюда и вербу?.. И черемуху?..»

Вовка прогуливался в дальнем конце коридора. Она дотронулась до его руки. Он сжал ее кисть, его дрожащие пальцы ощупали ткань платья под белым рукавом халата, обручальное кольцо.

— Верка?
— С наступающим! — Она поцеловала мужа и... замерла.

Вместо ставшей уже привычной пустой глазницы на нее смотрел глаз.

Она негромко вскрикнула и зажала себе рот рукой.

В первое мгновение Вера даже не поняла, что это протез... Вовка стоял перед ней, чистая моргая. Блестящий серо-синий... совершенно живой глаз вни-

мательно вглядывался в ее лицо. Вере стало жутко... казалось неправдоподобным... издевательским, что это, такой зрячий, такой здоровый глаз — только искусная бутафория, за которой — темнота.

— Чего ты испугалась?.. Это Мишка мне вчера подарил... Сам сделал... вместе с нашими ребятами. Целой шатией ко мне завалились... Это, я тебе скажу, не стекляшка какая-нибудь... глаз на бюстоках... Мишкина идея. Сергей Сергеевич сам поставил.

Ей было страшно опять встретиться взглядом с этим, будто улыбающимся взглядом... И вдруг... вдруг она увидела, что лицо ее мужа утратило пугающее, неприятное выражение, которого она старалась не замечать, с которым старалась примириться. Даже пятна ожогов казались незаметными, теряясь во взгляде этого глаза... Лицо стало снова живым... Перед ней снова был ее Вовка...

«Мишка...» — подумала Вера. — Дорогой Мишка...»
— Ты стал с ним просто красивым, с этим глазом. Он засмеялся.

— Эх ты, утешитель... Как Серега?

— У мамы, С дедом воюют.

— спрашивает?

— Без конца: где папа, когда придет?

Марков вздохнул.

— Позовно ему завтра. Будто издалека...

— Конечно, дорогой, конечно... Пойдем к тебе. Они медленно дошли до бокса.

Стол, тумбочка, подоконник: были завалены коробками конфет, какими-то свертками, фруктами.

— Вовка! Откуда всего столько? С ума сойти!.. Тут на целый батальон.

— Я ж говорю — вчера ко мне двенадцать человек завалились...

— Как вы тут поместились?

— Поместились...

Вера поднесла к лицу мужа хвойную зеленую ветку.

— Чем пахнет?

— Елка...

— Держи. — Она дала ему в руки бумажный сверток. — Здесь рубашки свежие. Из праичной.

— Подожди... Вөрочка, — сказал он глухо, и она сразу застыла на месте, уловив решимость и страдание в его голосе. — Не возись. Присядь.

Она покорино села рядом с ним. Он взял ее руку. За окном плыли большие снежинки.

— Я не хочу, чтобы ты мучилась всю жизнь. Нам нужно разойтись. — Он отвернулся.

— Ты все сказал? Может быть, ты для себя так хочешь? Может быть... тебе так будет легче?

Он ничего не ответил.

— Нет! — Вера встала. — Тогда ты просто бесконечно глуп и совершенно ничего не понимаешь. Я есть я, когда я с тобой. Мне не важно... болел ты или здоров, красивый ты или нет, — мне нужно быть с тобой. Не ради тебя. Это мне нужно, пойми.

Я знала — ты непременно это скажешь. Я ждала... и, как видишь, не удивлена... Неужели ты так мало веришь в мою любовь, Вовка? Да, ты не видишь. И может быть, не будешь видеть... Но это — ты! Я все это говорю, потому что знаю — мы на равных. И поэтому я люблю тебя. Если бы я увидела — говорю прямо — если бы в один прекрасный день я поняла, что быть на равных с тобой не могу, я не смогла бы любить... и сама не стала бы с тобой жить.

Он поднял голову.

— Да, да! — резко и страстно повторила Вера. — Не стала бы! А если бы это все случилось со мной?!

— Ну, это совсем другое дело.

— Да нет же, не другое. Слушай, Вовка... Вместе будем жить дальше... вместе говорить будем, Сереж-

ку растить... Как протопону Авакуму жена его говорила, Марковна: «Ино еще побредем...»

— Значит...

— Значит, ты кретин, каких еще не рождала земля.

— Но я ничего тебе не могу дать...

— Правильно. Ничего. Только одно — желание жить. А так, конечно... Где тебе... — Она кинулась к нему и прижала к себе его голову.

В дверь заглянула Карева.

— Простите... Володя! Сергей Сергеевич тебя к себе зовет. Идем скорее. — Посмотрела на Вера. — Как хорошо, что и вы здесь, профессор как раз хочет с вами обоими поговорить.

— Быстро, быстро, — заволновалась Вера. — Переодевайся, вот чистая рубашка... А ну тебя, пусти помогу.

Она продела его голову в ворот хрустящей сорочки.

Он никак не мог попасть рукой в рукав, наконец, срывающихся пальцами застегнула. Она приглядела его волосы.

От бокса до кабинета Михайлова — полсотни шагов. Если могут минуты вбирать в себя годы, то много лет вобрал те две минуты, что Вера вела мужа под руку по коридору.

Из кабинета Михайлова вышла Карева.

— Вы пока подождите здесь, — сказала она Вере и взяла Маркова за руку. — Заходи...

Вера оцепенело смотрела на закрывшуюся дверь.

— Резьется ты на больничных хлебах, — приветствовал Маркова знакомый голос. — Не спишь из-за этих больных, лысеешь поменьше, а они тут себе жирок нагоняют... С наступающим! Что око новое? Не давит? М-да. Всем хорошо, кабы еще и видело.

— Уже привык. Спасибо.

Иногда это слово казалось профессору Михайлову беспощадной насмешкой.

— Садись, — сказал он, — Мише спасибо говори... Что-нибудь мелькает? — Острый луч офтальмоскопа — вспыхивал и гас на кроваво-белесом глазу.

— Чуть-чуть.

— Пересаживайся-ка вот сюда. — Профессор повел его куда-то и усадил на круглый вращающийся табурет. — Тут у нас агрегатик один...

Капнули что-то в глаза, и он сразу начал дубеть. Легкие пальцы раздвинули веко.

— Вот... тоже еще, упрямец... — бормотал Михайлов, приложивая что-то на глазу Маркова, — все средства перебрали... а он уперся... не рассасывается... Скуный ты перень, Володя... Эх, Маркова бы да к этой аппаратурке!.. Чувствуешь что-нибудь? — спросил Михайлов.

— Ничего.

— Правильно... ничего чувствовать и не должен. Они молчали. Темнота и низкое, басовитое гудение трансформатора.

— Развертку будете менять? — спросила Карева.

— А как же... Мы его на всех режимах...

Защелкали тумблеры. Неожиданно Марков ощутил ритмичные вспышки света.

— Ну, а я что говорил? Шикарная кривая... Ты только посмотри, амплитудка какая! Марков! Ты живой? Не вдумай помирать. Есть неплохие новости...

— Значит, целая... — облегченно вздохнула Карева. — Гора с плеч...

— Все, — сказал Михайлов, и гудение трансформаторов смолкло. — Зови жену. Устроим семейный совет.

Вошла Вера.

— Ты что жену в черном теле держишь? Какая-то она у тебя запуганная,— улыбнулся профессор.

Вера, затаив дыхание, смотрела на этого стройного человека в белом, на его длинное умное лицо под высокими крахмальными коллаком, на его глаза за дымящимися стеклами больших очков...

— Будем считать это новогодним подарком,— сказал Михайлов.— Сегодня у нас радость... Плясать еще рано, но там не менее... Слышал ты о такой машине — осциллограф?

Марков хмыкнул.

— Культурный больной пошел! Можно ей доверять, как считаешь?

— Если настроен хорошо...— сказал Марков.— Тогда — отчего же...

— Сам я его настраивал... люблю железяки... В общем, если прибор не врет, а врать ему вроде бы не резон, я могу тебя поздравить... самое главное в порядке. Неврежда сетчатка с глазным нервом. Есть смысл сражаться. Левый мы удалили вовремя. Теперь, собственно, и начинается работа. Будем пытаться сделать зрение. Придется потратить... Пять-шесть операций как минимум. Сдюжишь? — Профессор Михайлов посмотрел почему-то не на Маркова, а на Веру. Он полез к себе в стол и достал небольшую прозрачную ампулу-шар.— Вот... наша надежда...

Вера всмотрелась и увидела внутри ампулы подвешенный на золотых нитях крохотный, сверкающий, как алмаз, предмет.

— Без этой фитоюлки,— задумчиво сказал Сергей Сергеевич,— ничего не получится... Дело совершенно новое... Ну как, будем огород городить?

Вера не могла оторвать глаз от этой сверкающей капли в руках хирурга...

— Будем,— сказал Марков.

— Я обязан быть откровенным до конца. То, что я собираюсь тебе делать,— чистый эксперимент.

— Мне не привыкать.

— Я не могу дать тебе никаких гарантий. То, что я сейчас предлагаю, не делало еще никому. Есть риск. Все может кончиться и неудачей...— Профессор снова посмотрел на Веру.— Методы уже отработаны, все обдуманно до мельчайших деталей — и все же... В сущности, первый опыт надо производить с больным, у которого есть запасной глаз. Того требует этика медицины... У меня сложное положение. Этика этикой, а есть еще ты. Случай особый, каверзный, я бы сказал... Пока я буду экспериментировать с другими, с теми, у кого нет такого виангерета,— глаз твой станет совершенно безнадежным... Это, увы, я могу почти гарантировать. Самым милым делом было бы подождать годика три... но это невозможно: произойдут необратимые изменения. Я твердо верю, что все кончится удачно, но предупредить обязан. Мы оба ученые. Ты должен меня понять.

— Я решил.

— У тебя будет еще много дней, чтобы отказаться. Я верю вам. Если есть шанс, отказывайся грех.

— Будет тяжело.

— Так тяжелее.

— Что ж... пожелаем тогда друг другу одного и того же. Ну... Михайлов встал из-за стола.

Они распрощались.

Вера вывела мужа в коридор.

— Подожди,— сказала она.— Ноги не идут...

Михайлов сидел в кабинете один. Еще год пролетит... Он посмотрел в окно. Падал снег. Пора ехать, готовиться к вечеру... Но он все сидел, смотрел на книги в шкафу, на щелевые лампы, на контейнеры

с деталями специальной лазерной установки, которую взялись собрать и настроить физики — друзья его самого трудного больного.

Год. Еще год. Десятки лекций в институте. Сотни проконсультированных больных. Показательные операции за границей. А всего за год... триста восемнадцать операций. И почти ни одного обычного, хрестоматийного случая. Осложненные и такие коварные — на столе врожденные катаракты... глаукомы... отслойки... И две катастрофы... два глаза, потерянные на столе. Не важно, что они и так считались безнадежными. Это его не оправдывает. По крайней мере — перед самим собой.

Полтора часа назад, увидев Маркова к приборам, профессор Сергей Сергеевич Михайлов, известный в свои тридцать пять лет уже всей стране хирург, автор удивительных, тончайших приспособлений, помогавших открывать незрячим людям свет, сам волновался не меньше пациента, ждвшего решения участи. Много дней Михайлов все оттягивал это обследование сетчатки и глазного нерва. Страшно было увидеть на круглом экране слабые хаотичные зеленые всплески — безнадежные крики, посылаемые гибнущей сетчаткой... или ровный промерч электронного луча — знак конца... Он все оттягивал, но сегодня шел последний день года... Надо было что-то сказать этому парню... И себе...

Согласился! Если все пройдет более или менее гладко и он увидит хотя бы одну строчку таблицы — это будет целым событием в глазной хирургии. Еще год назад он сказал бы Маркову: «Никаких надежд». Он слишком много думал, прежде чем нащупал подступы к этой проблеме травмированных глаз. Слышком многим говорил: «Нет никаких шансов», — чтобы не попытаться разорвать этот замкнутый круг.

Маркову суждено стать этапным больным.

Сначала? Сначала извлечение попутневшего хрусталика. Потом, если все пойдет хорошо, — удаление осколков. И это только начало... только подготовка. Наступит очередь роговицы, и он примется за нее... Трудная это штука — обожженная роговица... Нескоро будет извлечена из своей золотой колыбели та «фитоюлка», что он им показывал.

На его больном столе лежали кипы поздравительных новогодних открыток и телеграмм. Из Харькова, Владивостока, Смоленска, из Москвы, из-за границы... Триста восемнадцать операций. Десятки катаракт... Почти у всех теперь стопроцентное зрение. Десятки антиглаукоматозны. На второе января у него назначено двое на стол. Начнется год, и все завертится снова... Профессор Михайлов снял белый халат. Вытащил из горы открыток одну наугад.

«Дорогого Сергея Сергеевича поздравляю с Новым годом! Вижу с каждым днем все лучше. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Желю Вам огромного счастья в Новом году. Саша Рожков». Тяжелейшая была отслойка. Пять часов над столом...

Профессор запер кабинет. Легко сбегал вниз по лестнице. Сел в машину. Мотор завелся сразу. Пока он прогрелся, Сергей Сергеевич смахивал снег с ветрового стекла. Его взгляд скользил по рядам окон больничного корпуса. Задержался на четвертом этаже. В одном из окон заметил жену Маркова. Он помчал рукой, хлопнул дверцей и уехал.

Они сидели молча, тесно прижавшись друг к другу. Перечеркнув свои старые мечты, планы, они в смятении и робости соразмеряли все с тем, что обрушила на них жизнь. И вдруг... Надежда... Надежда, где-то там, в ящике полированного стола профессора Михайлова.

Они сидели онемевшие, испуганные этой надеждой. Сидели молча, как в те далекие месяцы, когда ждали Сережку.

В боксе давно стемнело. За стеной, в маленьком холле, часы пробили шесть раз.

«Шесть часов,— подумал Марков.— Она скоро уедет. Как же я останусь тут без нее?»

— Поезжай,— сказал он тихо.— Сережка ждет. Устала ты сегодня. Столько всякого было. А я сейчас спать завалюсь...

Вера осторожно поднялась с краешка кровати. — Да, да... Сейчас бутербродов тебе наделаю и поеду...

Она зажгла свет и посмотрела на мужа. Его крашивый новый глаз смотрел так ясно, так беззаботно.

Вера знала, что сегодня, в новогоднюю ночь, дежурит доктор Карева, перед которой она робела. Властная и неприступная, носила всегда Наталья Владимировна по отделению, и воздух за ней долго кружился нежными, тревожащими духами.

Вера приоткрыла дверь ординаторской. Карева сидела в глубоком низком кресле и... вязала.

— Можно?..

— Входите, входите,— Карева отбросила в сторону свое вязание.— Милости просим.

— Наталья Владимировна...

— Слушаю.

— Простите меня... я все понимаю... что нельзя, но...

— Ну, ну... говорите.

— У меня нет сил оставить его сегодня одного...

Вы могли бы разрешить... только сегодня...

— Могу.

— Я так вам...

— Только при одном условии: вы должны уйти совсем рано. Утром. Нам с вами ни к чему неприятности.— Карева чуть улыбнулась.— У вас такое лицо, что поневоле пойдешь на должностное преступление.

Вера наклонилась и поцеловала ее. И тут все горькое, что накопилось, вырвалось наружу безудержно хлынувшими слезами. Она плакала от любви к Вовке, к сыну, к Каревой, к Михайлову, к Мишке. Она плакала от обиды на жизнь и от чувства слитности с этой жизнью. Она плакала оттого, что сегодня, в новогодний вечер, пришла эта минута полноты, и оттого, что ей не дано было эту минуту остановить.

— Ну, ну вот...— засуетилась Карева,— ну, что вы, право...

— Простите меня,— шептала Вера,— простите...

Приходите к нам в Новый год. Вместе встретим.

— Спасибо, девочка. А кто у телефона будет?

Позвонят из приемного... Скоро поведут экстренных... Может быть, и оперировать придется. Вот такая петрушка...

Вера подошла к ней и обняла.

— Вы очень хороша.

Карева засмеялась.

— Идите к нему.— Она выдвинула ящик и протянула Вере ключ.

— Будьте счастливы! С Новым годом...

— Буду,— улыбнулась Карева.— Буду счастлива...

Вера вытерла глаза и вышла в коридор.

На елке в холле горели лампочки.

Какой-то сухой высокий человек шел ей навстречу с чмодачником в руке. Вот он все ближе... Да это Чижов! Профессор Чижов!

— Вера Александровна...— Чижов сдержанно по-

клонился,— с наступающим Новым годом! Я к Володе...

Только сейчас она увидела, что в его руке — большой транзисторный приемник, искрящийся десятками ручек, кнопок, шкалой.

— К Володе? — переспросила Вера и почувствовала, как часто закололо сердце.— Подождите, пожалуйста.

Чижов пожал плечами.

Если бы кто-нибудь сказал профессору, что он рискует авторитетом, приехав к Маркову виниться,— Борис Александрович рассмеялся бы в глаза тому человеку. Сейчас они стояли с Марковым на одной доске и оба были равны перед стеной невеждоуго. Все мелкое и преходящее — было смешно и ничтожно перед этой стеной. Но работать, будучи подлецом в глазах Маркова, было немислимо. Чижов впервые задумался не об абстрактной «смене», а о конкретном продолжателе своей работы. Им мог стать только Марков. И Борис Александрович приехал, чтоб все объяснить — предельно честно, просто, без пощадки к себе. Он на подлец. Он слишком круто повернул.

Вера вошла в палату и молча принялась возиться в тумбочке. Пусть думает Чижов, что она говорит сейчас с мужем о нем. В такой день — Чижов! То, что стало главным в их жизни, сразу будет омрачено его приходом! Чобы зазвучали в их маленьком боксе такие неприятные, иронические интонации его глуховатого голоса? Разрешить ему войти сюда, после всего, что случилось, и снова, как тогда, увидеть умудренно-холодное лицо Вовки?

— Ты что, Вера?

— Порядок навожу...

Она вышла в коридор.

— Простите, Борис Александрович,— Вера отвела глаза и, глядя в синее вечернее окно, быстро договорила: — Простите... мой муж не сможет вас принять.

Чижов не двинулся.

— То есть как? — спросил он тихо.

Вера не ответила.

Но он понял. Он сразу все понял. Он не был нужен здесь. Он вообще не был нужен.

Ах да... Приемник!

— Вы могли бы...

Она твердо посмотрела в его светлые глаза. В них сыло горе.

— Нет, не смогу.

Он не двинулся. Они стояли молча.

— Да, да,— вдруг поспешно сказал профессор.— Конечно. Ну, что же...— Вера стало страшно. Она никогда не видела такого лица.— С Новым годом и... желаю здравствовать.— Он странно улыбнулся.

Резко повернувшись на каблучках, Чижов пошел от нее по коридору. Он шел, все ускоряя шаг, бесознательно повторяя про себя номера палат, безжавших, подпрыгивая навстречу. Сегодняшнего разговора не могло быть. Марков мог понять и простить все, но не это.

Подлость. Она не могла исчезнуть просто так. Ей некуда было деваться. Он всегда учил их — в науке можно жить только с чистыми руками. Марков усвоил этот урок.

Лишь один Чижов знал и понимал до конца, что означали слова Маркова, занесенные в протокол следствия и закрывшие дело.— Это была беспощадная, наотмашь пощечина ему, профессору Чижову. То, о чем он думал десять минут назад, то, на что надеялся, уже было невозможно.

Ничего хуже Марков не мог бы придумать, даже если бы захотел.

Всю жизнь, до того разговора с Марковым полтора месяца назад, он думал, что его судьба все идет на подъем, то более круто, то более полого, но вверх. Теперь это уже был только излет пули, инерция.

Он вновь и вновь спрашивал себя: «Как я, честный человек, мог в тот момент отдать на заклание невиновного? Как смел убедить себя, что чья-то кровь, пусть даже кровь примитивного, невежественного Митрофанова, может стать «малой кровью?»»

Не скажи он тогда тех слов... Но он сказал. И не шевельнул пальцем, чтоб что-то исправить, удалялся на волю потока. Теперь, после марковского заявления, уже ничего нельзя было изменить. Ничего.

«А Марков? Для него наша маленькая делянка Большой Физики так же священна, как и для меня,— думал профессор.— Но даже во имя нее он не пойдя на подлость.»

Даже во имя самого высшего — жертвовать можно только собой.

Марков научил его этому.

В последнее время он часто думал о своей смерти. Не верилось, что она застигнет на полуслове или в беспомощности. Он хотел принять ее осмысленно, как подобало естествоиспытателю. Он всегда мечтал прийти к ней без стыда за прожитое, бесстрастно, честно взвешенное наедине с собой. Теперь это исключалось.

Ведь он мог, мог все исправить! Марков отпустил ему «испытательный срок» — до прихода следователя.

А он трубил перед собой, как евангельский лицемер, кричал себе: «Это для науки, во имя науки!» Но выходило так, что если кто и был для науки, так это Марков.

— Что было так? — удивился шофер. — Говорили — полчаса.

— В центр, — сказал Чиков.

Так неужели теперь все для него со знаком минус? Неужели отныне — самый обычный, стариковский отсчет: «сколько осталось»? Дожить спокойно, преподавать, от кафедры отказаться...

— Подождите... — вдруг сказал он, подавшись вперед.

Таксист поспешно съехал к тротуару, притормозил, удивленно глядя на пассажира.

«Да нет же, нет. Этого не может быть. Я не смогу так!» — очень ясно понял Борис Александрович.

Ему казалось, что вот сейчас, в этой стучащей мотором, подрагивающей машине, в писке работающих «дворников», он вернулся откуда-то к самому себе.

Марков. Они будут вместе. И он, профессор Чиков, снова поедет этой дорогой з больницу. И снова будет стоять у двери его бокса. И если понадобится, поедет еще раз. И еще.

Но прежде... Да, только так!

Он должен все сказать. Всем.

И он скажет.

Послезавтра.

Второго января.

Как много нужно сил, чтобы сказать несколько фраз.

«Есть ли они во мне, эти силы?» — спросил себя Чиков и вдруг, ощутив внезапно, давно забытую легкость молодости, засмеялся, чувствуя, что на него с тревогой смотрит молодой паренек-шофер. — Простите... — сказал, повернувшись к нему, Борис Александрович и улыбнулся. — Я... ошибся. Машина мчалась по заснеженной Москве.

...В боксе пахло елкой. Вера хлопотала, раскладывая на столе праздничные угощения.

— Вовка!

— Что? — откликнулся он. — Уже едешь?

— Поеду.

— Передавай всем приветы...

— Передам, — улыбнулась Вера. Она подошла к нему, положила руку на его русую голову. — Завтра.

— Как? — Он поднял к ней лицо. — Что ты говоришь?

— Я остаюсь.

— Верада... Что ты выдумала... Разве можно?..

— Мне Наталья Владимировна разрешила.

Марков встал и молча обнял жену.

...Из наушников звучало новогоднее поздравление. Вера тропливо открыла бутылку виноградного сока.

Марков стоял с наполненным стаканом. Лицо его было спокойно и строго.

Голос в наушниках смолк, и в гулкой тишине раздался перезвон кремлевских курантов.

— С Новым годом, мой дорогой!

Могучие нежные руки обняли ее.

— А Сережка спит... — прошептала Вера.

Он молчал.

«Наверное, то же, что испытываю сейчас я, — думала Вера, — испытывали жены во время войны, когда их мужья приезжали на сутки с фронта, чтобы завтра утром снова уйти туда... в огонь. Наверное... то же чувствовала Вовкина мать, когда рядом с ней дышал и хотел жить человек по имени Петр Марков...»

Марков сидел неподвижно, боясь шевельнуться. Она поняла его робость.

— Глупый мой... — прошептала Вера. — Я люблю тебя. Я так истосковалась по тебе.

— Вера... и я устал без тебя.

— Не бойся ничего. Ты самый красивый, самый сильный...

— Могут войти...

— Нет... у меня ключ... — Она склала его лицо, с пронзительно любовью ощутив под пальцами рубцы.

Они лежали обнявшись.

За окном свистел ветер. Вера смотрела в окно и улыбалась в темноте.

— Ты не спишь? — спросила она шепотом.

— Нет! — отозвался он тотчас, тоже шепотом. — Что ты! Разве можно сейчас спать?!

— Хочешь, я тебе скажу одну старую-престарую вещь? —

— Скажи... — Он провел рукой по ее щеке.

— Если люди любят... вот так, как мы... им в самом деле ничего не страшно.

— Да, — прошептала Вера. — Правда.

— Я глубоко счастлива. Несмотря ни на что. Понимаешь?

— Понимаю... Я в больнице, не вижу, еще неизвестно, что и как обернется, и так счастлив, как, может быть, никогда не был.

— Вовка...

— Я никогда столько не думал о людях, я многое понял о них.

— Что?

— Люди есть люди, только когда они живут для других. Вот как врачи... Работать хочется. Ты не представляешь, как я хочу работать. Я буду видеть — я чувствую. Я знаю.

— Будешь,— прошептала Вера и подумала: «Ну а если и не будешь, я стану твоими глазами».

— Что сейчас Сережке снится? — спросил он.

— Что-нибудь хорошее. Ты.

— Он меня уже подзабыл, наверное.

— Глупый... Вовка, ты чувствуешь? Мы плывем куда-то... Новый год...

— Да,— сказал он.— Плыдем. Что бы я делал без тебя?

— А я?

— Знаешь, Вера, я чувствую в себе такие силы... ну, как физик, понимаешь? Как будто что-то провалось во мне... такие мысли приходят... дух захватывает.

— Я знаю, почему ты еще не кандидат какой-нибудь. Ты просто ученый...

— А Мишка — что, не ученый? А Вахтанг? А Коля Васин? А Мухин?

— Нет, я не о том.— Вера, прикрыв глаза, медленно поцеловала мужа.— Ты не понял, ну и ладно.

Новый год уже летел через Атлантику, неслышно пробегали через их маленький бокс радиоволны, кричавшие на все голоса сводками первых новостей года, звучавшие вальсами Штрауса, негритянскими дисклендами, однообразными «биг-битами».

...Вера проснулась от смявшей ее тревоги. Муж ровно дышал во сне, лицо его было светло, брови не были сведены болезненным изломом, как все эти месяцы в больнице. Так откуда же эта мучительная тревога? Есть надежда... Они все перетерпят, длинную череду операций, боль — все вынесут и, что бы ни случилось, не предадутся отчаянию: они вместе.

Откуда же пришла эта тревога?

Вера осторожно поднялась и подошла к окну. За черными ветвями деревьев тускло и мертво зеленело рассветное зимнее небо. Во дворе, у приемного покоя намело высокие сугробы. Сугробы там, где еще вчера стояли машины.

Вчера! Это было вчера!

Серая «Волга»! Серая «Волга» Михайлова!

Ее резкий поворот, скрежет тормозов. С места — азартная, пугающая скорость.

Она видела, как машина Сергея Сергеевича выехала из переулка. Вильнув перед капотом самосвала, влетела на широкий проспект и помчалась вперед, обгоняя другие машины. Лавируя между автобусами, самосвалами, тягачами, лихо начала обходить легковые.

Как... как мог он так?.. Вере хотелось крикнуть водителям тех машин, чтоб они были поосторожней, чтоб сторонились, чтоб давали дорогу серой «Волге».

Тревога... Нет, она не улеглась, не ушла. Чем точнее воссоздавала память то, что Вера видела вчера из окна больницы, тем недопустимее, тем преступнее казалась ей эта гонка. Почему ему разрешено садиться за руль?.. Таким, как он, не надо разрешать...

Вера поняла, что тревога о Сергее Сергеевиче вошла в нее, как неизбежная, каждосекундная ее тревога о сыне и муже.

— С Новым годом! — сразу вдруг проснувшись, проговорил с улыбкой Марков.— Где ты?

Ее маленькая рука легла на его руку, крепко, надежно сжала ее.

— Я с тобой. С Новым годом, хороший мой! С Новым годом!

Алексей Цветков



Дремал на крышах облачный колосс.
Текли машины, не переставая.
Под тяжестью приплюснутых колес
Натруженно гудела мостовая.
Желтели вишни, засухой больно,
Пылали кроны в зареве карминном,
А исподволь из влажной глубины
Накатывало мятой и жасмином.
Пора была и вправду нелегка,
Жила жара в бетоне и железе;
Но все цвело, и пчелы тяжелели,
На ощупь добираясь до летка.
Дышали вербы гарью заводской,
Томила пустота предгрозовая.
А мы с утра сидели над рекой,
Заботы городские забывая.
Товарищи тогдашние мои!
Их имена поди теперь, упомяни.
И запахи заржавленной хвои,
И солдцек, до тления упорный;
Тяжелый, ослепительный песок,
И тополя, осыпанные ватой.
Мостики из покосившихся досок...
И прямо над водой зеленоватой
Осенним днем приисдешь на кровать,
Скользясь глазами по намощенным крышам,
О невозвратном хочется, о бышем,
О настоящем вслух повествовать...



Выйди с вечера к ручью

В неутраченном таме.

Землю теплую, свою,

Выстели шагами.

Песню тихую шепча,

Прислонись к осине,

Подсмотри полет грача

В предзакатной сини.

Светят в сетке камыша

Городские зданья!

Как щемяще хороша

Свежесть увяданья!

Тонких рек живая ртуть.

Листьев тон звучащий.

Скоро птицам в дальний путь,

За моря и чащи.



Мох спит на камне,
Луна уснула на дереве...
Листья осины дрожат и остывают,
Трамвайные рельсы дрожат и остывают,
Над ними уснул трамвай...
Ветер, как ночной сторож, осматривает
город

И кружит, кружит старое Тоомаса.
Облако спит на крыше,
Неоновая реклама уснула на улице...
Ночь черная и необыкновенная,
Твои волосы черные и необыкновенные.
Это они сделали мою ночь бессонной...

Виктор Есипов



В День Победы

Приметой хорошей погоды
Звенят комары за окном.
И снова, как в лучшие годы,
Стоит на столе патефон.
Над участью вдовьей цемзящей,
Над ворохом трудных забот
Пост дерматинный ящик,
Пока не иссякнет завод.
Забытого танца фигуры,
Забывтый пронзительный взгляд —
Под красным, как мак, абажуром
Размотаны годы назад!
Диванчик с засаленной спинкой,
Герань не устала цвести.
Вражайся, вражайся, пластинка!
Вражайся! И, сердце, грусти!

Старики

В дремучих закоулочках Арбата,
Где время так томительно текло,
Стыл свет неяркий и зеленоватый,
И кактусы стояли на окне.

Смешной чехол на стареньком диване,
Где время так томительно текло,
Дореволюционные издания
Чернели корешками сквозь стекло.

Шла речь о марках стали и цемента,
О не понятых школьнику вещах —
В пристанище «гнилых интеллигентов»,
Как выразилось время второпях.

А на стене из тоненькой фанеры,
Отгородившей угол их жилищ,—
Желтеющее фото офицера,
Погибшего под Курскою дугой.



Шумя, встрепенутся деревья,
Качнутся в ночном сквозняке.
А свет из распахнутой двери
Дорожкой лежит на песке.

Пустует скамейка у клуба —
Окончилось в клубе кино.
Во тьме, обгоняя друг друга,
Шаги отзывали давно.

Заслышатся звуки мотора,
Осветят огни тротуар —
И тени бегут по заборам
В лучах вырастающих фар.

Юрий Дудин



Осенняя луна
Плыла над полем сонно,
Качалась, чуть видна,
У края небосклона.
А в шорохе ветвей
И перетоках света
Таился облик дней
Умолкнувшего лета,
Благословенных дней,
Ночей нетерпеливых,
Когда среди полси
В пшеничных переливах
Поют перепела
И сердце сильно бьется...
И жизнь твоя светла,
Пока им так поется.

Дорога

Там молчаливые кусты
Угрюмо прячутся
Во мраке
И подают друг другу
Знаки,
Колесит в тишине
Листы.
Хотя бы с небя
Свет звезды
Или луна
Взошла из тучи,
Тогда бы стало
Много лучше —
Уже
Не одному идти.
Но слышен
Петушинный крик,
Потом
Запаяли собаки.
И я иду,
Спешу во мраке,
Пока тот звук
Живой не стих.
И появляется
Луна,
И мрак редет,
Исчезая,
И вся дорога
Мне видна,
Такая светлая,
Прямая..

Валерий Майнашев



Перевел
с ханасского
Л. ТАРАН.

Народная песня

Сквозь годы,
Под звон чатхана,
Мимо каменных глыб
Едет в степи туманной
Древний воин — Алып.

Гулко стучат копыта.
Искры из-под копыт.
Едет свободно, открыто,
Не подымая щит.

Недалеке от кургана
Враги притаились в тиши.
...Все яростней струны чатхана,
Все глуше голос хайджи.

Клонятся травы низко.
Ползет, стучается мгла.
Еще мгновение —
И с визгом
В грудь вонзится стрела.

Но напролом сквозя столетья,
Держа на весу копые,
Алып все едет и едет,
Едет в бессмертье свое.

Наталья Филимонова



Рыжая кобылица
Со своим золотым жеребенком
Тихо пасутся у сосен,
Рыжих и золотых.

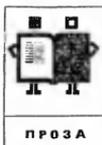
И маленький жеребенок
Хочет травы попить,
Травы с золотыми кашками,
В которой кузнечик притих.

Он еще очень маленький,
Он ничего не знает,
А мама прядет ушами
Тонкую солнца нить.

И рыженый жеребенок —
Застенчивый несмышлениш —
Бонится признаться маме,
Что страшно хочется пить.

А ниже в корявые корни
Студеный родник стучится,
Стрекочут над ним стрекозы,
И мама спешит туда.

На трех ногах она скачет,
Чтоб сын смотрел к училе,
Как надо в жару пить воду
И — что такое вода.



**ВЛАДИМИР
КОЧЕТОВ**

Владимиру Кочетову 22 года. Он студент V курса филологического факультета Дагестанского государственного университета. Живет в Махачкале. Печатаем его первую повесть.



ПОВЕСТЬ

«КАК У ДУНЮШКИ НА ТРИ ДУМУШКИ..»

I

Митя несколько раз уходил к Тереку один. Он шел через лес тенистой наезженной дорогой, из чащи веяло сыростью и прохладой; стайка комаров мутным пятном рябила перед глазами и горячо жалила лицо, шею, руки; справа, на зеленой, залитой солнцем поляне трепетали в мареве толпы белых ромашек, цвели кусты сухого розового вереска, летали пышные синие стрекозы. Голубое небо мелькало в зеленой древесной листве, а на дороге от легкого ветерка узорной занавеской шевелились тени. И Мите казалось, что вот сейчас, стоит только ступить еще несколько шагов, — раздвинутся кусты и на дорогу выйдет Лев Толстой, но не тот, которого привыкли видеть — с окладистой бородой, великий и могучий, а другой — в сером армейском мундире, в фуражке с красным околышем, юный и некрасивый, улыбнется застенчивой улыбкой и скажет:

— А я вот гуляю...

И у Мити вздрагивало сердце, он замедлял шаги, прислушивался, не треснет ли где в лесу сухая ветка. Но в лесу было тихо и спокойно, а сердце билось гулко, тревожно. Митя понимал: то, чего он хочет, глупо и невозможно, но все равно ждал...

Студент третьего курса университета Дмитрий Косолапов был руководителем студенческой фольклорной экспедиции, приехавшей этим летом в Щедрин — одну из станиц бывшего гребенского казачества. Темноглазый, высокий, атлетического сложения, он руководил маленьким отрядом в три человека.

Рисунки
А. ЗАПЦЕВА
и И. ЛЕБЕДЕВОЙ.

Это были девушки: Наташа Лукьяненко, Варя Трофимова и Птичкина.

Не ко сроку попали они в Щадрин: началась уборочная страда, все трудоспособное население колхоза с раннего утра до глубокого вечера пропадало в поле, и песельники тоже были там. Петь в поле они не соглашались: слишком тяжелая была работа, слишком сильно пекло июльское солнце; вечером усталость гнала людей ко сну — новое утро требовало новых сил.

Квартиру сняли у одинокой молчаливой старухи Авдотьи Михайловны. Она отдала девушкам одну из двух комнат, низкую, темную, с покатыми полами. Иногда девушки спали на террасе, Митя же на ночь ставил свою раскладушку в саду, под абрикосовым деревом. Если ночью его одолевали комары, которые кусали и сквозь простыню и сквозь тонкое байковое одеяло, он перетаскивал свою постель в маленький, тесный коридор и плотно закрывал дверь. Правда, это помогало мало: на коридорной стене, у которой стояла раскладушка, темнело огромное рябое пятно: высохшие тельца комаров с запекшейся кровью — следы ночных Митиных бдений.

В углу, над изголовьем, на старом коричневом комоде, стояли две забытые, потускневшие от времени иконы: одна — большая, тяжелая, в черной деревянной оправе и с темной, стершейся позолотой — изображала Иисуса Христа, от которого лучами исходил божественный свет, другая, поменьше, помещалась сверху, и на ней была божья мать с нимбом над головой. Митя подолгу разглядывал иконы, ему было любопытно: древние ли они на самом деле? Он спросил об этом хозяйку.

— А кто его знает? — сказала она. — Должно быть, старые, вишь, потемнели как.

Митя рассматривал иконы, но опасался, как бы они не свалились ночью ему на голову, и поэтому предпочитал спать в саду.

Иногда вечером Митя заходил в комнату хозяйки, присаживался на стул у двери и начинал расспрашивать старуху. Та, нацепив на высокий, сморщенный нос очки в металлической оправе, занималась шитьем, штопаньем или, устав после работы, просто зевала.

— А правда, что в этой станице бывал Лев Толстой? — спрашивал Митя.

— Лев Николаевич-то? А то как же! Бывал, бывал...

— А с тех пор станица сильно изменилась?

— А и кто его знает? — отвечала старуха. — Раньше, говорят, она была ближе к Терку. Видал на краю станицы развалившийся дом? — Авдотья Михайловна вытягивала нитку и, шуря подслеповатыми глазами, смотрела на Митю поверх очков. — Это один из старых домов, с тех пор, говорят, стоит. А как Терек затоплять стал — уж больно сильно разливался весной, — так и перебрались повыше. А что, тебе интересно, что ли?

— Да, очень. Знаете, когда идешь по улице и думаешь, что по этой земле Толстой ступал, как-то странно становится...

— Ступал, ступал, — говорила старуха. — А и хорошою он книжку про нас, казаков, написал: очень забавно. Я ее уж какой раз читаю.

Она брала со стола небольшую, потрепанную, разбухшую от времени до солидной толщины книжку и лихорадочно перелистывала страницы, ласково улыбаясь.

— Тут и картинки есть...

И Митя замечал, что обгоревшая спичка, использованная Авдотьей Михайловной для закладки, переминулась с прошлого раза ровно на три страницы.

С хозяйкой им повезло. Жили неплохо, весело.

Купались в Терке, наведывались в колхозный сад и каждый раз уносили оттуда полную сетку яблок и груш; гуляли по пустынным щадринским улицам и узнали в сельсоветы, что летняя киноплощадка не работает: комары заедают зрителя.

2

Митя сидел на полу террасы, облокотившись на Наташину раскладушку, и глядел на звезды. Они сияли в узорных проrezax виноградной лозы, маленькие и яркие. Стеклоянный жидкий свет переливался высоко в небе, казалось, он вот-вот прольется и затопит землю, проникнув даже под этот тяжелый лиственный шатер.

— Наташ, ты спишь? — позвал Митя.

— Да.

— Посмотри на небо.

— Да ну...

— Посмотри!

Наташа свесила голову с раскладушки. Блестящие золотистые волосы живым потоком хлынули на пол, и Митя показалось, что это и есть звездный свет, который должен пролиться. Он подхватил в горсти мягкие Наташины волосы, провел ими по лицу.

— Мне больно, пусти. Какой противный! — Наташа оттолкнула его кулачком и шлепнула по руке.

Митя покорно выпустил волосы и лег, вытянувшись во весь рост на полу террасы, ощутил затылком прохладу досок, закрыл глаза и вдруг задохнулся от нахлынувшей волны волос. Наташа, заглядывая сверху, улыбалась.

— Ты не обиделся?

По его лицу бежали прекрасные Наташины волосы, по его лицу бежал лунный свет. Он был осязаемым, сухим, блестящим, с запахом гвоздики.

— Лежи и не шевелись, — прошептал Митя. — Слушай!

Звезда дрожит среди вселенной...

Чьи руки дивные иссусут

Какой-то влажной проточенной

Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром

Земных скорбей, небесных слез,

Зачем, о господи, над миром

Ты бытие мое вознес?

— Ну как?

— Ничего. Только непонятно: что значит «потиром»?

— Глупая ты!.. «Ничего...» — передразнил ее Митя. — А потир — это чаша, старое церковное слово. «Чашей земных скорбей, небесных слез, Понимаешь?»

— Понимаю, но маленькая. И вообще я на тебя обиделся, потому что ты груб, — сказала Наташа и отвернулась к стене.

Митя хотел обнять ее и попросить прощения, но в это время в черном проеме двери, как привидение, появилась маленькая, болшеротая Птичкина, закутанная в белую простыню.

— Я вам не помешаю, голубочки!

Птичкина села возле Мити.

— Читай, Митька, читай, — сказала она.

Митя улыбнулся, набрал полную грудь прохладного вечернего воздуха — от этого слегка закружилась голова — и, медленно выдыхая, начал читать:

Мечты любви моей весенней.

Мечты на утро дней моих.

Толпились, как стада оленей

У заповедных вод речных:

Малейший звук в зеленой чаще —

И вся их чуткая краса.

Весь сонм, блаженный и дрожащий,

Уж мчался молнией в лесал

Читая стихи, Митя отыскал в темноте Наташину руку, схватил ее, и она ответила легким пожатием. Митя облегченно вздохнул: помирились, и ему показалось, что летят они высоко над землей в чистом, звенящем воздухе, а земля, голубая и зеленая, подернута мягкой дымкой расстояния, но все же голубые озера, как зеркала, слепят глаза, и вдоль их берегов мелькают в зеленом массиве леса быстрые тени.

За Митиной спиной повислось еще одно привидение и бесшумно опустилось на порог у входа на террасу. Это была Варя. Круглый лоб, днем переващенный белой сатиновой косинкой, яркий румянец на полных щеках делали ее похожей на колхозницу с агитплаката.

Митя читал своего любимого Бунина, а потом на заказ: Пушкина, Блока, Есенина, Пастернака, Цветаеву. Он зашелся стихами, как заходится трелями соловья в майскую ночь. Ему даже казалось, что у него, как у соловья может разорваться сейчас сердце от упорной боли: мир так прекрасен и нежен!

В один из просветов виноградной листья выглянула луна и, облокотившись о ветви, тоже стала слушать. А Митя читал:

Я ехал к вам: живые сны
За мной вилась толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.
Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было;
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло...

И выражение луны менялось, как будто она понимала то, что слушала.

Где-то на краю станицы залиvisto лаяли собаки, но это нисколько не раздражало Митю, а, напротив, радовало. Про себя он думал даже, что собаки тоже, может быть, читают друг другу стихи... Тихий, приглушенный голос его гипнотизировал слушателей. Они сидели недвижимо, и Мите порой казалось, что он ублачивает девушек своим чтением, но стоило замолчать и выждать минуту, как кто-нибудь говорил: «Прочти того-то...»

Набегал легкий ветерок, и виноградные листья, повторяя за Митей, зашептали стихами... Мигая красным и зеленым огоньками, в черном небе прогудел самолет — он тоже пел свою песню... И петиухи кричали по станице от одного двора к другому: «Ах, какая чудесная ночь! Как прекрасна жизнь!»

В эту минуту Митя так любил звезды и небо, Наташу, Варю, Птичнику и вообще всех людей на земле, и собак, и самолет, гудящий в небе, и ветер, шелестящий в листьях, что сладкие, неудержимо счастливые слезы невольно запершились в горле и голос задрожал, готовый вот-вот сорваться... Но тут Варя сказала:

— Ах, как поздно! — и, оберегая свое крестьянское здоровье, ушла спать.

Митя замолчал, ему стало неловко. Он понял, что увлекся. Не все способны безоглядно уходить в тот мир, который дарят стихи, жертвовать для него своим или петь, к примеру. Это он такой блаженный дурак: читал бы и читал до утра, до полдня, до вечера.

Птичкина тронула его за плечо:

— Хороший ты человек, Митька, только худенький.

— Не такой уж худенький, — грустно отозвался Митя. — Девушкойвной не ищешься, но жму правой двадцать раз.

— Что за хвастовство?

— Дилетантка ты, Птичка.

Птичкина гордо выгнула худую лебединую шею.

— А что? Если хочешь, быть дилетанткой — мое призвание!

Наташа томно вздохнула и повернулась на другой бок.

— Ладно, ладно, уйду. Только не наделайте без меня глупостей.

Когда Птичкина ушла, Наташа села на раскладушку и сказала:

— Я хочу есть.

— Бедняжка! Пойдем на кухню.

Дверь в летнюю кухню отворилась с ужасоюще громким скрипом, так что Митя и Наташа присели от неожиданности, а потом беззвучно рассмеялись. В темноте они нашарили несколько помидоров, огурцов, буханку хлеба и банку баклажанной икры.

— Хочешь кофе?

— А откуда?

— Я сварю.

Митя взял Наташу за плечи, увидел блеснувшие в темноте глаза.

— Мы с тобой как супружеская чета. А это вроде бы наше свадебное путешествие.

— Так хочешь кофе?

— Очень!

Через четверть часа у них был прекрасный обед, а самое главное — кофе, горячий, душистый.

— Светает, — сказала Наташа. — Надо ложиться спать.

— Наташ, пойдем солнце встречать!

И вскоре они шли, обнявшись, через низинный луг с высокой росной травой. Низкий густой туман стоял над нелю и морозил ноги.

— Вернемся, мне холодно, — сказала Наташа.

Они остановились. Митя крепко прижал Наташу к себе.

— Нет. Мы дойдем до Терека и посмотрим, как восходит солнце.

Он подхватил Наташу на руки и понес к низкому кустарниковому лесу, за которым был Терек. Сначала она пугливо косила глазом на Митин подбородок, но, согрившись, прижалась к Мите тесно.

Ранние птицы перекликались в густых зарослях хриплыми, заспанными голосами; через дорогу важно прощелкала большая серая жаба; над ухом неотступно пел свой утренний гимн торжествующий коком. Впереди мелькнула поляна, а за ней гладким металлическим листом — Терек.

Но, по степи разбегался.

Он лукавый принял вид...

— вспомнил Митя и улыбнулся. За Тереком, за колхозным полем пшеницы, разливались на горизонте два зарева — это у Грозного похихивали факелы природного газа. Ночью по заревам их можно было насчитать до пяти, при дневном же свете видны были только наиболее близкие. «Будто два солнца восходят», — подумал Митя. В это время левее медленно, как на фотобумаге, проявилось еще одно зарево, и по всему небу над Тереком бледной полосой выступила розовая заря. Наташа же видела это, и неожиданно Митя решил про себя: «Если она отгадает, какое из этих трех зарев настоящее, она станет моей женой!» Он поставил Наташу на землю, почувствовал, какими вдруг легкими стали руки.

— Угадай, которое из этих трех зарев настоящее, за которым из них взойдет солнце.

— Вот за этим. — Наташа показала на среднее.

«Она не будет моей женой...»

Крайнее зарево разрасталось. Неожиданно вынырнул краешек солнца, а затем и весь его ртутный овал.

Девочки! — ворвалась во двор Варя, с треском захлопнув калитку. — Договорилась! Договорилась! В семь часов вечера идем к Матрене Ивановне Павловой. Она сказала, что угорит нескольких старушек и они нам все вместе немного попоют. Вот! — На Варином лице было выражение величайшего торжества, глаза хитро блестели.

— Ура! — закричали из кухни Наташа и Птичкина.
— Как тебе удалось? — спросил Митя.

— Да вот так уж, — сказала Варя, поджав губы, как будто решила ни за что на свете не выдавать Мите свою великую тайну. Но тут же не вытерпела и, подвинувшись к нему, горячо зашептала: — Я к ней подлизалась, вот! Насчет сына, дочки расспрашивала. Она и завелась на целый час, вот! А потом я ей говорю, какие мы несчастные: приехали, мол, за песнями, а сельников нет! Пожалейте нас, говорю, ведь нам во что бы то ни стало надо материал собрать. Она посмеялась, посмеялась, ладно, говорит, я пойду баб покличу, только вы уж нам чихирю поставьте. Вот!

— Э-э!.. Вы там не секретничайте! — крикнула Птичкина. — Зачем же манкировать нами! Идите сюда, а то мы картошку чистим, не слышно ничего!

Варя вошла в кухню и громко повторила все, что рассказала Мите.

— А ты молодец. Шедевральная старуха! — ласково пропела Птичкина.

— Гм!.. — гордо сказала Варя. — Я така! Придется тебе, Митя, на «телевизор» сходить.

«Телевизор» был едва ли не главной достопримечательностью Щедрина. Когда в первый же день приезда Митя спросил у Авдотьи Михайловны, где тут можно купить продукты, она неопределенно махнула рукой: «А-а, на «телевизоре». «Что за «телевизор?» — удивился Митя. «Ладно, пойдем покажу», — сказала Авдотья Михайловна. — Мне как раз капуста надо». «Телевизором» оказался колхозный склад — длинное призмистое строение из красных кирпичей под ребристой шиферной крышей. Кроме землистой картошки, вялой капусты, желтых огурцов и мятых помидоров, здесь продавали колхозное вино — темно-рубиновый мутный чихирь. «А «телевизор» потому, — объяснила Авдотья Михайловна, — что каждый вечер собирается здесь мужиков полстаницы. Напьются некоторые и давай, бесстыжие, выступать на виду у всех: и про политику, и про космос, да матерчатся, да песни поют, не казачьи только...»

4

В большой, просторной комнате собралось около десятка старух. Они неторопливо, без суеты расселись на лавках и скрипучих стульях так, как этого требовало пение. Первые голоса — на лавку справа, вторые голоса — на лавку слева, а высокая старуха с плоской, как доска, грудью и хозяйка, низенькая, оплывшая, с моложавым лицом, — у стола в середине комнаты. На столе стояло зеленое эмалированное ведро и десятка полтора граненых стаканов.

— Что петь будем? — спросила старуха с плоской грудью.

— Нам что-нибудь из старинных казачьих песен, — поспешил Митя и смешался, потому что старуха, строго и презрительно взглянув на него, поджала губы.



— Знаю, милай, знаю...

Митя покраснел: «Вот еще, надо же мне, дураку, лезть...»

— Ну, девоньки,— сказала старуха с плоской грудью,— «Дунно».

— Заводи, Карповна,— вздохнула из угла неприметная старушка.

И Карповна, та самая старуха, что так презрительно глянула на Митю, с придыханием затынула грудным голосом тихо, чуть слышно:

Как у Дунюшки
На три думушки,
Как первая дума
Из-под бережка...

Хозяйка подхватила песню высоким, напряженным, бьющимся, словно птица в клетке, голосом:

Как вторая дума
Из-под камушки...

И тут из своего угла подтянула жалобным голосом неприметная старушка с белым платком на голове:

Как третья дума
Из-под реченьки...

Голоса эти слились в один мощный аккорд, он задрожал, повис на мгновение и постепенно стал опадать, как опадает волна, накатываясь на неровную кромку берега. Голоса замерли... и вдруг грянул хор:

Как на етой на реке
Дуня мылася,
Дуня мылася...

И будто издалека подхватили вторые голоса:

Мылася, умывалася...

И опять стало тихо, так тихо, что Митя услышал, как где-то высоко прозудел комар.

Намывавшись, набелелася...

— опять грянул хор.

И откуда такая сила в этих немощных, слабых телах! Откуда этот размах, эта удаля! Голоса звенят, переливаются, отдаются гулким эхом полупустой комнаты.

«Боже, как чудесно! — подумал Митя. Слезы радости и восторга против воли навернулись на глаза.— Как просто и хорошо: «Как у Дунюшки на три думушки...» В словах ничего особенного, но как они это поют! Получается что-то небывалое, неповторимое по красоте. И не забывается, такое не забывается... Наверно, всю жизнь буду помнить: «Как у Дунюшки на три думушки...»

Он не помнил, что у него на коленях лежит раскрытая чистая тетрадь, что в нее надо что-то записывать. Он не чувствовал, что Варя несколько раз толкнула его локтем в бок и что потом девушки, низко опустив головы и перешепываясь, стали записывать песню вторым.

Звуки льются плавно, широко, свободно, все громче и громче и достигают такой силы, что, кажется, голая электрическая лампочка, свисающая с потолка, начинает дрожать и едва заметно раскачиваться на длинном крученом шнуре. А потом голоса опадают, медленно, плавно, или обрываются разом, будто лопаются струна, и тогда в комнате воцаряется жуткая тишина.



У Митя защемило на сердце. Жалостливая песня, грустная песня: увидел Дуно казак на реке, пленил ее красотой, не мил ему топорь белый свет, наточил он кинжал, пошел домой, стал жену губить.

Малы детушки
Все вскричались,
А ближние соседюшки
Все сбегались...

Песня затихла, только неприметная старушка из угла тихо и жалобно вывела в последний раз:

Все сбегались...

От напряжения лицо Карповны стало кирпичного цвета. Хозяйка Матрена Ивановна промокнула глаза цветастым фаруком и высморкалась в него. Старухи откашливались и заерзали на лавках, усаживаясь поудобнее и давая понять, что это была всего лишь распевка, что главное впереди.

— Что теперь петь будем, Карповна? — спросила полная, дородная старуха из хора, у которой на тройном подбородке росли редкие седые волосы.

— Погоди, Никитична, — величаво сказала Карповна. — Сначала надо укрепить себя на остальное пение. Мотя, налей всем по стаканчику.

Матрена Ивановна сняла крышку с эмальированного ведра и, черпая большой алюминиевой кружкой густое искрящееся вино, разлила его по стаканам.

— Ну, молодые, давайте выпьем! — сказала Карповна, повернувшись прямой ислухой фигурой к лавке, на которой сидели Митя и девушки.

— Нам нельзя, — гуло улыбаясь, сказал Митя, — мы ведь на работе.

— Ну и работничек! — вставила Птичкина. — Ни строчки не записал.

— Что там работать! — замахала руками старуха. — Успеется. Нароботаетесь еще, заучитесь в вашей ниверситете. Поднимай стакан. — И, помрачнев вдруг, добавила: — Иначе петь не будем.

Митя оглянулся на девушек, они давно уже подняли свои стаканы и, улыбаясь, чокались со старухами. Он засмеялся, чокнулся с Карповной. Карповна улыбкунула, но так, что ее лицо при этом не потеряло строгого выражения, залпом выпила свой стакан и, молодецки оглядев всех, уперла руки в боки.

— Ну вот, теперь можно и еще песенку. — И, приоткнув ногой, лихо затянула:

Тут шли, прошли казаки молодые...

Первые голоса дружно подхватили:

А за ними идут матушки родные...

Эхом отозвались вторые голоса:

А за ними идут матушки родные,
Во слезах пути-дороженьки не выжгут...

Митя глядел в черный квадрат окна, различал в нем отражения Карповны и двух других старух. Он пересел в сторону и глубже на лавку, прислонился к стене, закрыл глаза. Открыл их — перед ним все тот же черный квадрат окна, в нем не было света, не было и старух — сдвинутая гармошкой ставня загоразивала окно, — вместо них он увидел вдруг белую пыльную дорогу, кавальяду всадников, женщин в белых полотняных кофтах и белых платках — каждая из них идет рядом с лошадыо любимого сына, мужа, жениха, держится рукой за стремя, вытирает концом платка слезы; лошади идут все быстрее,

женщины уже не поспевают за ними, лошади вырываются вперед, рысью уходят все дальше и дальше. Белым косым столбом поднимается пыль. Отстают невесты, отстают жены, и только матери все идут во след. Поднятая лошадьми пыль закрыла собою солнце, но вот она оседает в придорожный бурьян, солнце блещет вновь, но матери его не замечают, они «во слезах пути-дороженьки не выжгут...». Что для матери солнце, когда чадо, самое ненаглядное солнце, покинуло родимую сторонушку, чтобы во чужих землях показать удалю молодецкую!

И вот уже песня замирает, трепещет где-то под потолком, у деревянной, с облупившейся известкой балки, а Карповна заводит новую, и старухи подхватывают:

Ой да нету, нету такой во поле травушки,
Чтобы травка без цветов-а-а-а-а-а,
Без цветов цвела.
Ай, нету, нету такой родимой мамушки,
Чтоб по сыну мать не пла-а-а-а-а-а,
Все не плакала...

Карповна прикрыла глаза, из-под плотно сомкнутых век выкатилась сверкнувшая, как алмаз, в электрическом свете слеза и растворилась в сетке морщин на ее лице. И другая слеза растворилась в морщинах. И Митя вдруг с дрожью подумал, что ее морщины полны слез, как полны водой русла малых и великих рек.

Старухи пели долго и наконец устали, притихли, нахохлились. Наступил томительный перерыв.

— Бабули, может, вы нам просто скажете слова песни, а мы их запишем? — жалея их, спросила Птичкина.

Матрена Ивановна всплеснула руками.

— Что ты, что ты! Как же можно!.. Песню-то? Да мы и слов-то не вспомним, если будем кудахтать, а не петь. Когда поешь, о словах не думаешь — они сами из души льются. Ну, девчата, — обратилась она к старухам, — молодежь заждались!

И новая песня заставила вздрогнуть настроенно-ночуткую ночную тишину.

5

Они лежали на берегу Терека в сухой горячей траве и загорали.

— Memento mori, — изрекла Птичкина. —

Помни о смерти...

Наташа засмеялась:

— С чего бы это?

Птичкина пожалла плечами.

— Так...

— Мне бывает ужасно противно думать об этом.

— А мне грустно...

— Ну вот, завели на похоронные темы, — недовольно сказала Варя.

Птичкина согласно кивнула:

— Виновата, Варька, виновата... И все-таки думай!

Варя пожалла плечами.

— Я пережила эти настроения в тринадцать лет.

А тебе, слава богу, девятнадцать.

— Что правда, то правда, — согласилась Птичкина. — Такая уж я недоразвитая! Наташки, а ты любишь его?

— Спросила она вдруг и жестом указала на Митю, подылавшего к берегу.

Наташа пожалла плечами.

— Наверно. Он меня любит.

— О чем разговор? — крикнул Митя, стоя по пояс в воде и против воли делая два шага в сторону: быстрее течение едва не опрокидывало его, а за спиной крутилась маленькая темная воронка.

— Да так, о жизни и смерти! — крикнула с берега Птичкина.

— Ну-ну, я поплыву дальше, вон до того поворота. А хотите, поплывем все вместе, а? — Митя ударил по воде выгнутой ладонью и обрызгал девушек. — Хахит жариться, а то мозги выпарятся. Наташа, пойдем!

Наташа поднялась с травы, оправила купальник, собрала пучком свои роскошные волосы и спрятала их под резиновую купальную шапочку.

— Пойдем, Митечка, — ласково отозвалась она и, победно взглянув на Птичкину и Варю, прыгнула с крутого бережка в воду.

— На середину, на середину выгребай! — крикнул Митя и бросился след за ней.

Выплыв на середину реки, они легли на спины, и течение понесло их вниз, к дальнему крутому повороту с низким кочковатым кустарником и склоненной над заводью ивой. В голубом небе в том же направлении плыло густое белое облако.

— Интересно, кто из нас скорей? — сказал Митя. — Конечно, я! — крикнула Наташа и начала подгребать руками.

— Да нет, я про облако, — смеясь, сказал Митя и показал пальцем на небо.

Черная набрякшая коряга обгоняла его слева. Он сделал два мощных гребка и уцепился за нее.

— Наташа! — Держась за корягу, он поплыл против течения наперерез ей. — Смотри! Я как чечен, которого подстрелил Лукашак!

— Какой из тебя чечен! — засмеялась Наташа и, потрогав корягу, брезгливо сказала: — Какая скользкая, фу!..

Борясь с течением, они подплыли к берегу и, выйдя из воды, повалились на жесткую сухую траву. Митя раскинул руки и зажмурил глаза.

— Хороша жизнь!..

Наташа томо улыбнулась, положила голову на Митино плечо и подставила для поцелуя губы...

Когда Митя и Наташа вернулись по берегу к девушкам, то обнаружили новое бородатое лицо. Какой-то тип в оранжевых плавах сидел у самой воды и издала заигрывал с девушками.

— Девочки, а девочки, кого утопить?

— Вы абориген? — поинтересовалась Птичкина.

— Тише, Птичка, подумаешь, кто ругаешься, — предостерегающе шепнула Варя.

— Как ты сказала? — крикнуло бородатое лицо.

— Ясно, абориген, — заключила Птичкина. — Пошли завтракать...

Вечером того же дня бородатое лицо возникло над их калиткой.

— Позавтракали?

— Поужинали, — сказал Митя.

— А-а... А девочки где?

— В комнате. Книжки читают.

— А-а...

— Что?

— Может, на «телевизор» сходим? По баночке, а? Я угощаю.

Митя вышел за калитку. Бородач протянул руку, добродушно улыбнулся:

— Николай!

Сейчас он был в белой тенниске и сразу понравился Мите, не то что утром. Под пышной, расчесанной бородой угадывалось совсем молодое лицо.

— Пошли, что ль?

Собственно говоря, так начиналось в Щедрине любое знакомство.

— Хлопцы, мне лавку надо закрывать, — уже в который раз напомнила моложавая продавщица Надя.

— Ты, Надька, нам не мешай, у нас разговор серьезный, — наставительно сказал Николай.

— Но домой-то мне надо идти иль нет?

— Иди.

— А баночки?

Николай вздохнул:

— Присталя с баночками! Завтра утром я их тебе принесу, ей-богу!

— Как же, принесешь!

— Банка пять копеек стоит. Вот тебе пятнадцать и утешься.

— Нужны мне твои копейки! Банок нынче днем с огнем не найдешь. Завтра люди придут, из чего пить будут?

Наконец Надя заперла складские двери переключиной с большим тяжелым замком и ушла домой.

Было тихо и свежо. Зажигались первые звезды. Быстро темнело.

От выпитого вина Митю охватила ноющая истома: в мышцах рук и ног бродило приятное тепло, слегка кружилась голова, так, что хотелось повернуть ее на шею, как шар на оси, и это было ужасно смешно.

Влажными глазами смотрел Митя на Николая, на сдвинутые пол-литровые банки с мерцающим в них темным вином и думал о том, как любит он этого парня за то, что он есть на свете, за то, что сидят они вместе тихим летним вечером на станичной окраине, еще вчера неведомой ему, а сегодня почти родной, пьют, разговаривают, смеются. «Ах, какой он славный, — думал Митя. — Как легко, как просто с ним! Даже думать не надо. И вечер тихий, прохладный, и комары за Терек улетели. Ах, как хорошо, как славно!»

— Митя, а Митя, бабка ваша говорила, ты стихихи хорошо рассказываешь. Заделай чего-нибудь, а? Под настроение.

Митя усмехнулся:

— Ну хорошо, слушай:

Всю землю тьмой заволокло,
Но и без солнца нам светло.
Пивная кружка нам — луна,
А солнце — чарочка вина.

Он приподнял свою пол-литровую банку, блеснувшую стеклянным ободком, и потярс ею. Чихирь звонко булькнул, Митя продолжал:

Готовь нам счет, хозяйка,
Хозяйка, хозяйка!
Стаканы сосчитай-ка
И дай еще вина!

— Ну, даешь! — сказал Николай, когда Митя кончил. — Законный стихок. Сам, что ли, сочинил?

Митя засмеялся, и доски под ним тоже заскрипели и засмеялись.

— О, не я, к сожалению. Еще двести лет назад Роберт Бернс, шотландец.

Николай почесал затылок и, упершись подбородком в колени, сказал озабоченно:

— Вот как... Мужик был ты еще знаешь?

Митя прочел еще несколько стихотворений Бернса, они имели такой успех, что Николай, подняв банку, заставил его чокнуться.

— Выльем за Берсал

— За Бернса, — поправил Митя.

Низкая луна светила ярче, чем тусклая электрическая лампочка у двери склада. Она мягко выхватывала из темноты пустынную улицу, дальние плетни колхозного огорода, извивающийся, как тело большой змеи, земляной вал, по которому бежала новая, но уже обкатанная проселочная дорога. Когда весной Терек разливался и затоплял лес, вода доходила до самого вала. Николай рассказывал, что нынешней весной разбухшая река едва не затопила станицу: поднимись уровень воды еще на полметра — захлестнуло бы вал, а в нескольких метрах за ним — жилые дома.

По станице разногolosо кричали петухи.
— На ночь укладываются, — сказал Николай ласковым охрипшим голосом. Глубоко вздохнул, закурил. — Как это ваша девчонка обозвала меня сегодня?

Митя вспомнил и рассмеялся:
— Абориген. Это слово иностранное, означает «местный, коренной», понимаешь? Коренной житель.
— А-а... — Николай усмехнулся. — Да по правде говоря, я уже и не коренной. Второй год живу наездами. Под Грозным газопровод кладем, сварщик я. Тоска: одни мужики. Пойти после работы куда-то, вот и режешь водку с ребятами. Во как надоело! — Он провел по горлу ребром ладони. — Я ведь и до этого несколько лет дома не жил: только год назад из тюрьмы вернулся.

— За что же тебя посадили? — спросил Митя.
— За что? — Николай закурил. Его крупное тело согнулось пополам, на спине вырос белый горб. — За убийство, — сказал он глухо, но спокойно. Вспыхнувший огонек сигареты осветил его молодое усталое лицо. — Вас тут никто не обижает?
— Н-нет, — сказал Митя, чувствуя, как в душу невольно закрадывается страх перед этим человеком.
— А то скажи, — угрюмо пробасил Николай, — меня тут все боится.

— Как же у тебя получилось? — Митя поймал себя на том, что с близким отвращением смотрит на темный профиль Николая.

— По пьянке. Поругались с отчимом, за что, уж не помню. Он — за топор, а я звезданул его промеж глаз, он упал и затылком о порог... Порог острый... Вот так вот!.. Да что об этом говорить! Лучше пошли ко мне яблоки есть! Девчатам своим отнесите. Яблоки в ночном саду — красотища! — Николай поставил пустые банки на дощатый козырек над дверями склада и потянулся, размяв затекущую спину. — Пошли, что ль?

Общество Николая стало вдруг неприятным; жуткого было идти рядом с ним по темным щедринским улицам, но Митю подстрекало острое любопытство. Он понял также, что, если откажется, Николай подумает, что он трусил.

Миновав две глухие темные улицы, они вышли на главную. Проезжая часть ее широкая, усыпанная галечником, днем поднимала вслед за машиной или трактором такое густое облако пыли, что оно оседало на окрестных улицах. Несколько дней назад дорогу начали асфальтировать, но пока только малая часть ее, у вьезда в Шедрин, была покрыта свежим, еще черным асфальтом. Громко шуршал под их ногами галечник, да впереди, увеличиваясь в размерах и постепенно теряя свои очертания, двигались две огромные тени, которые отбрасывали их тела под светом все удаляющиеся за спиной лампочки над магазином сельпо. Чуткая осторожность скрывала движения Мити. Он старался не оглядываться на Николая, но краем глаза, сам того не желая, невольно следил за ним. А Николай шел быстро, уверенно в конец улицы, и мелкий гравий взбрызгивал фонтанчиками из-под его туфель.

Неожиданно сквозь шум гравия они услышали, как в стороне от дороги, в тени деревянной постройки, кто-то жалобно скулил. Николай остановился. В наступившей тишине было отчетливо слышно сильное повизгивание. Николай свернул к сараю, тихо позвал:

— Кутя, кутя, кутя...
— Навстречу ему, извиваясь и беспомощно повизгивая, выползло странное существо — бесформенный шевелящийся комок. Митя вгляделся в него через плечо Николая и догадался, что это собака — маленькая дворняжка с отвислыми ушами. Правая задняя лапа ее была совсем обрублена, а левая вывихнута так, что, казалось, собака лежит на ней, подпернув ее под себя. Она передвигалась, судорожно виляя задом, подтягиваясь на передних лапах.

— Ах, бедняга! — Николай присел на корточки, погладил собаку за ушами. Пес глянул на него грустными, тускло блестящими в темноте глазами и перестал визгивать. — Кто же это тебя? — Николай перевернул пса на спину, тот коротко забил по воздуху передними лапами и дернул обрубленной культюшкой. Вывихнутая нога неподвижно лежала на животе. — Наверное, машина переехала, — сказал Николай нагнувшись над псом Мите.

— Да, бедолага, мучается. Может, пристрелить его?

Николай нахмурился, промолчал.
— Или утопить?
— Мало псе натерпелся!.. — хмуро сказал Николай, приподнимая дворнягу с земли и обхватывая его большими, сильными руками. — Пошли!

Николай жил на краю станицы в аккуратном белом доме с застекленной верандой. Они вошли во двор, хлопнув калиткой. В раскрытое настежь темное окно до них долетел женский голос:

— Колька, ты?
— Я, мамаша, я.
— Слава богу, теперь и заснуть можно.
Николай усмехнулся:
— Мать. Не спи, пока не приду. — Он протянул собаку Мите: — Держи, я подтолкну тебе какую-нибудь айду: роса, на траве холодно.

Митя замешкался, хотел было сказать, что на нем чистая рубашка, но, взглянув на белую, в пыльных пятнах тенниску Николая, застыдился и подставил руки. Пес теплой тяжестью провис на руках.

Николай вошел в дом, не зажегя света, долго возился в передней и вернулся с листом фанеры и большим лоскутом старого байкового одеяла. Он постелил одеяло под стеной дома, из листа фанеры приладил сверху навес.

Митя положил пса на одеяло, опустился перед ним на колени и устроил его поудобнее. Пес благодарно лизнул его руку и завил хвостом.

Николай вынес кусок колбасы и из своих рук покормил собаку. Она с жадностью, но как-то неуверенно глотала куски, и на ладонь Николая стекала тягучая клейкая слюна.

— Ешь, ешь, бедняга, поправляйся, — говорил Николай, и Мите казалось, что голос у него теплей до осязания. — Не могу видеть, когда животное мучается. А каждому жить охота, а Мить?.. Вот животное — от слова «живет», «жизнь» — я так понимаю. Как же и обидеть его можно? Эх, ты, горе горькое!.. Кушай, кушай, вот так... Поживешь пока у меня, а там видно будет. Я уеду — мать присмотрит, ты не бойся, я ей никак дам, она меня слушается. И камнем теперь тебя никто не побьет, и сыт будешь. Да... Что, наелся? На ешь! Не хочешь? Ну, ладно, ладно, лизаться, спи лучше!

Поев, пес и правда вскоре уснул, свернувшись калачиком, поспавшая простуженным носом. А Нико-

лай долго стоял над ним, вздыхал и качал головой. Митя, все еще чувствуя робость перед ним и против воли где-то в закоулке души испытывая к нему неприязнь, вдруг понял, что в чем-то Николай выше и лучше его.

— Ах да, мы ведь с тобой за яблоками пришли! — весело сказал Николай, ударяя себя ладонью по лбу. — Забыл совсем.

В саду у Николая росли три старые яблоны. Прижимаем к стволу, Николай стал молочно трясти по очереди каждую из них. Яблони лихорадочно шумели, кроны их волновались, раскачивались и темными массивными тенями то закрывали, то открывали бледно-черное звездное небо; большие спелые яблоки градом свалились с веток, глухо ударились о землю и прятались в мокрой, прохладной траве.

7

На другой день рано утром, когда солнечные лучи проникли под густую виноградную листву и обозначили на земле длинные слабые тени, Митя еще крепко спал. На полу террасы валялась его рубашка, которую он, стянув узлом, использовал вместо сетки для яблок; выглядывавшие из узелка яблоки, словно лакированные, блистали гладкими румяными боками.

В носу у Мити защебетало, он отмахнулся, но муха назойливо ползала по верхней губе. Митя открыл глаза и увидел Наташу: она сидела на краю раскладушки и, беззвучно посмеиваясь, водила под его носом кончиком своих длинных волос. Увидев, что Митя проснулся, Наташа звонко рассмеялась, а он лежал неподвижно и с восхищением глядел на нее. Никогда еще он не видел ее такой красивой. В ее карих глазах то вспыхивал, то опадал золотой огонек; ровный, аккуратный носик подрагивал от смеха, а нежные, розовые губы мило кривились; гладкая загорелая кожа матово светилась; расчесанные золотые волосы ниспадали на синий сарафан и мелькали у Митино лица.

— Ну, что так уставился? Мне даже страшно стало, — сказала Наташа, переставая смеяться. — Девочки спят. Пойдем на Терек! Такое чудесное утро!
— О Аврора, о Лорелей, все для тебя! — пропел Митя.

Наташа приложила к его губам розовые, просвечивающие на солнце пальчики. Он поцеловал их. По дороге они едва не разругались. Наташа спросила, где Митя пропадал вечером, он рассказал ей, а она стала донимать его упреками: как мог он на целый вечер оставить ее одну — ей было очень скучно. Наташа даже чуть не заплакала. Это вызвало у Мити раздражение, он ответил что-то резкое, но в конце концов стал уверять, что это в первый и последний раз, что отныне он все будет делать так, как она захочет. Это успокоило Наташу, и, когда между зелеными ветвями мелькнула плоская широкая лента реки, она улыбнулась счастливой улыбкой собственника.

Наташа побежала вперед и, скинув на ходу сарафан, остановилась у самой воды. Вся фигура ее, темная, почти черная, была окаймлена золотой воздушной полоской. Казалось, что Наташино тело излучает особый таинственный свет, и Митя вспомнил черную икону с изображением Иисуса Христа, от которого лучами — тусклая позолота — исходил божественный свет. «Разве может свет исходить от тела лучами? Свет исходит волнами, вот как от Наташи», — подумал Митя и зашел:

— И божество, и вдохновенность...

— Ну иди же сюда! — крикнула Наташа, оглядываясь. — Иди же!

Митя вышел на поляну. Вдургу у самой воды раздвинулись кусты, и между ними показалось морщинистое, почти черное от загара старческое лицо с серо-желтой спутанной бородой и в соломенном шляпе. Оно повело тусклыми, в красных прожилках глазами в сторону реки и злобно зашипело, представляя к бороде коричневый палец:

— Тс-с-с! Все рыбу распузаете!..

— Здорово, дед! — громко сказал Митя, подходя к старику. — Ключет?

— Какое там! — Старик покачал головой и сплюнул в воду. — Вот вчера с двух поймал, зна-а-тые были.

— А что за рыба?

— Да э тот, как его... э тот... ну... — Старик замахал рукой, словно обжегся. — Э тот... сом! Во, сом...

— А разве сомы здесь водятся? — недоверчиво спросил Митя.

— Во... — уверенно сказал старик. — А то как же! Что же здесь водиться должно-то? — помолчав, спросил он сердито.

— Не знаю, — сказал Митя. — Но сом, по-моему, тихую воду любит.

— А то как же, конечно, тихую, — согласился старик, оглядев корягу, быстро уносимую течением. — И охотится он ночью, а днем спит...

— А я их ночью ловил, — сказал старик, торжествующе улыбаясь: «Не поймаешь, брат!»

Сзади подошла Наташа.

— Здравствуйте, дедушка, — сказала она, взяв Митю под руку и опираясь на нее.

— Тс-с-с! Тише, окаянная!! Не видишь — рыбу ловлю?

— Извините, дедушка.

— Тс-с-с! Вот голосистая! — Старик покачал головой.

— Дед, — зашептал Митя, нарочно тараша глаз, — сомы-то все спят, все равно ничего уже не поймаешь.

Старик отрицательно покачал головой.

— Они еще не ложились.

— А зачем им ложиться? Они стоя в воде спят, — сказал Митя.

— Ну да? — удивился старик. — Как это стоя можно спать? — Он пожал плечами и задумался. — А ведь верно, можно, — сказал он и взмахнул рукой. — Я помню еще в первую мировую, как германцев били, я уже унтер-офицером был, — он сделал ударение на слове «офицер», — и шли мы однажды в наступление, а немец так драпанул, что и догнать его возможности нет. Идем день, ночь, идем другой день, другую ночь, а немца все нет и нет. Вот тут и стали люди на ходу спать. Идут и спят. Целый полк идет и спит. Да. Так и спали, пока не дошли до немца. А уж потом: «Гутен morgen!» — и намылили ему шкуру, потому как выспались, значит, хорошенько. — И неожиданно он засмеялся низким раскатистым смехом.

— Дед, а сколько лет тебе в ту войну было? — спросил Митя.

— Да много уж, много, и не помню, — сказал старик, переставая смеяться. — Годков тридцать.

Митя присвистнул.

— Так тебе, выходи, сейчас чуть не сто?

— Ну, сто не сто, — гордо сказал старик, — а туда подбирается. Да. Гм... — Он лукаво взглянул на Наташу. — Хороша у тебя девка! Жена!

Наташа крепче обхватила Митину руку.

— Нет, — сказала Митя и добавив полутьму-полутьму серьезно: — Невеста.

Наташа еще крепче обхватила его руку.

— Хорошее дело,— сказал одобрительно старик, сбивая рукой соломенную шляпу на затылок.— Я тоже, помню, молодой был, шустрый, огонь! Глаза его весело заблестели и заслезлились.— Девкам проходу не давал. В праздник они хоромов водюют— подскокчишь на коне, ухватишь любую— да за станицу, милуешься. Скачешь, ветер в ушах свищет, девка к тебе прижимается, боится, визжит, бога молит— не упасть бы только!.. И бабу свою так увез: увез и сынов назад. Вот как в наше время было. Пугерых сыновей народили, двое на войне погибли, на Отечественной, да других бог помиловал.— Он снял шляпу и мелко перекрестил ворот рубашки.— А вы что же, не здешние, что ли?— спросил он, по-малчас.— Не признаю никак.

— Да, приезжие,— сказал Митя.— Приехали фольклор собирать.

— Халкор? Это что же, растение такое или что?— поинтересовался старик.

Митя и Наташа рассмеялись.

— Да нет, дедушка,— сказала Наташа,— это старинные песни, сказки.

— Ну да! — Старик недоверчиво взглянул на нее.— Ну, в таком случае я их сколько хочешь вам набрешу. Антипом меня зовут,— сказал он, вылезая из кустов и подавая Мите большую косяляную руку.

Митя удивился громадности старика, когда тот встал перед ним во весь рост. Он был сутул, крижист, большие плоские ступни его с какой-то первобытной силой упирались в землю. «Ершюка! — ахнул Митя.— Вылитый Ершюка!»

— А чегой мне за это будет? Ась? Чихирику поднесете старому?

— Поднесем,— весело сказал Митя.

— Айн момент! — Старик поднял указательный палец, скрылся в кустах и через минуту вылез оттуда с удивленным из молодого, упругого тополя, пероматанным белой леской, и ведром. Он помнил Митю и Наташу на опушке, сел в тени мощного дуба, прислонившись спиной к жесткой, дубленой, как его руки, коре и вытянув босые белые ноги.

— Ну, садитесь поближе да слушайте. Жил в Мокше один барин. Вот и хочется ему на Кавказ поехать, бусурманов посмотреть. Пустился он в путь. День едет, другой едет, ан, глядь, приехал к казакам. А казаки о ту пору кордоном здесь стояли, ну и, понятно, война была, землю русскую охраняли. Да... Приехал барин, остановился на кордоне, в хате поселился. А у хозяйки дочь была, красивая — аж мороз по коже. Да... Ну, он сначала ничего: то на охоту пойдет, то еще чего, забавился, в общем. То птицу стрелит, то зверя. Его один казак с собой на охоту брал, старый был, но здоровый, черт, во.— Дед Антип показал, какой был казак в плечах.— Ершюкой звали, Ерофеем, значит. Барин-то поначалу ничего, а потом все приглядываться стал к дочке хозяйской: понравилась она ему. Марьянкой ее звали. Ну, а Марьянку-то эту любил один молодой казак Лукашка — Лука, значит. Ну, Лукашка, понятно, на кордоне, службу несет — казак, одним словом, а барин этот и стал тут шуры-муры с этой самой Марьянкой всякие крутить... Ну что смеетесь? — обиженно сказал старик, видя, как Митя, старавшийся поначалу сдерживать смех, катается по траве.

— Дед!.. Дед!.. — хохотал Митя.— Ведь это «Казакки!». Ой, не могу!.. Ой, мамочки!.. Дед!.. «Казакки!». Ой-ой-ой...

Наташа тоже смеялась, спрятав лицо в коленях.

— Чего смешного-то,— ворчал старик.— Казак-то на кордоне... А она девка молодая, неразумная...

— Дед, ведь это в книжке у Толстого написано — «Казакки», повесть,— снова начиная смеяться, сказал Митя.

— Ну да,— недоверчиво протянул старик, и глаза его лукаво стрельнули.— Смотри ты!.. В книжке? Гм... А откуда же Толстой эту историю придумал, чтобы в книжку-то написать, а? Как же бы он написал, ежели бы ничего не было! Может, ему батая моя расказал, как в ихние-то времена все было. Эх ты! Что я, шуто, что ли? — Он помолчал, вздохнул.— Ну, шут с ней, со сказкой-то, я вам лучше песни казачские петь буду.— И, несколько не смущаясь, зазвучал дребезжащим, но еще сильным голосом:

Между Теремом и Сулаком поля распахана

Не плугами, а конскими копытами,

Заволочена невехожими семенами,

Казачьими и татарскими головами,

Калачьи тела, как свечи, теплятся,

А татарские, как смола, черные.

— Дед! — воскликнул Митя, вскакивая и обнимая старика за шею.— Я никогда не слышал ничего лучшего!

Старик ошарашенно смотрел на разгоряченного, сияющего Митино лицо.

— Ну, что ты, что ты! — говорил он испуганно.

Но Митя вдруг опечалился.

— Наташа, а ведь нам нечем записывать,— сказал он, растерянно ошупывая свои пустые карманы.

Наташа пожалла плечами.

— У меня тоже ничего нет.

Вторая песня была длинная, протяжная, дед Антип долго тянул бодрым старческим голосом.

Дед Антип закончил песню и часто-часто заморгал красными, в прожилках глазами.

— Ай, славно, дед, соловьем заливаясь! — весело сказал Николай, неожиданно появившись на опушке.

Стягивая через голову белую тенниску, он стал подтрунивать над Антипом.

— И не стыдно тебе в твои-то годы!.. Ай-я-яй... Словно мальчишка... Хочешь себе всю славу присвоить, а того и не говоришь, что у тебя три сына со снохами — лучший хор на станице.

— Ну, ты мне не указ, молодой ишо,— хмуро сказал дед Антип.— А песен я знаю больше, чем они. Кто же их выучил, как не я, а? Сопля зеленая!

— Я пошутил, пошутил, дед,— примирительно сказал Николай, сладко потягиваясь и жмурясь от утреннего солнца.

— Ну то-то.— Дед Антип встал, взял в руки прислоненную к дереву удочку, ведро и сказал, обращаясь к Мите: — Сыновья у меня, правда, плот хорошо, и снохи не отстанут, да где же их сейчас докличешься: с утра до ночи в поле, бывает, что и заночуют там. Ты приходи, сынок, ко мне, я на самой окраине живу, кирпичный дом, второй слева, спросишь Антипа — всяк покажет. Я тебе песен и попою. Чихирию тока не забудь — любитель я до этого. Ну, прощай!

Он повернулся и пошел по дороге в лес тяжелой увережной походкой. Его пустое ведро поскрипывало на ходу.



Николай как-то робел в присутствии Наташи, больше молчал и поводил от удовольствия головой, когда по спине, между крупных лопаток, стекали мутные бисеринки пота. Наташа ловила на поляне большую синюю стрекозу, которая тяжело перелетала с куста на куст, и Николай невольно следил за ней пристальным взглядом. Он спросил у Мити, когда Наташа была далеко и не могла услышать:

— Твоя?
Митя кивнул.
— Развая.

Митя сделал мостик и смотрел, как над головой зеленеют стебли травы, движется темная масса Терека, тархитит и катится вверх колесами оранжевый трактор, взметая косяк стлб пыли на противоположном берегу, а небо было выно, его бездонная глубина захватывала дыхание, пугала. У Мити было такое впечатление, что он начнет сейчас погружаться в него все глубже, глубже и никогда не выплывет. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, он еще больше прогнулся в спине, переставил руки поближе к пяткам и, слегка оттолкнувшись, встал на ноги.

— Поймала! — вскрикнула Наташа. Радостная, раскрасневшаяся, она подходила к ним, держа в вытянутой руке за крыльшки гудящую, поджимавшую синий клеточный хвостик стрекозу. — Смотрите какая!

Стрекоза неподвижно глядела огромными испуганными глазами.

— Ну, что с тобой сделать? — сказала Наташа, дуя на стрекозу. Стрекоза недовольно поджимала мордочку.

— Отпусти, — сказал Митя.

— Нет, я засую ее и отвезу домой. Над письменным столом подвешу на ниточке. Такая огромная-огромная стрекоза... Что ты жужишь, глупенькая?

Николай глядел на Наташу, на стрекозу и, казалось, сравнил их между собою.

Наташа поднесла стрекозу к груди, и та, уцепившись лапками, перестала гудеть.

— Посмотрите, какая красивая была бы брошка: синяя на голубом купальнике!

— Да, красивая, — кивнул Николай, пристально разглядывая Наташину грудь, округлую линию живота, бедра. Наташа покраснела, опустила глаза.

— Вы женаты? — спросила она.

— Не успел. А пора бы... двадцать семь на днях стукнуло. Не до этого было... А теперь вот от девушек отвык... Вот... тебя побавывают... — Он подобрал слова с трудом, словно вызывая их из глубины памяти, и, прежде чем произнести, колебался: правильно или неправильно выразит он то, что хочет сказать. Эта борьба была заметна на его лице, и Мите стало как-то не по себе: ему было жаль Николая, и в то же время в глубине души он радовался тому, что Николай так неуклюж в обращении с Наташей и это забавляет и смешит ее. Карие глаза Николая смотрели болезненно, и казалось, он знает что-то такое, чего ни Мите, ни Наташе никогда не узнать.

Наконец Николай встал с травы, оделся, словно извиняясь, сказал:

— Надо идти мне... — Он подал Мите руку. — Вы долго еще пробудете в Щедрино?

— Недельку, а там посмотрим. Если не выгонят, может быть, еще на недельку останемся.

— Тогда увидимся. Через полчаса машина колхозная в город идет — общаки подкнутить... А в субботу, как приеду, обязательно в гости приходите. У меня сед хороший, — обратился он к Наташе, — Митя знает.

Наташа протянула ему руку. Он вздрогнул и, как-то посуровев лицом, серьезно и осторожно пожал кончики ее пальцев; круто повернувшись, словно боясь чего-то, быстрыми шагами вошел в лес.

— Николай, а собака как? — крикнул вдогонку Митя.

— Жива. Привет передавала, — раздалось в ответ за кустами.

— Пора и нам. Девчонки, наверно, уже готовили

завтрак и ругаются на чем свет стоит, — сказала Наташа, накидывая распашной сарафан и пряча в карман стрекозу.

По дороге она сказала Мите, что хочет поехать на два дня домой. Она не спросила, отпустит ли ее Митя (все-таки он был руководителем экспедиции), а как само собой разумеющееся сообщила: «Я, Митячка, съезжу домой, ты тут не скучай без меня».

Варя и Птичка встретили их нахмуренно.

— Наконец-то завылишь! Завтрак давно остыл.

— А мы на Тереке купались, — сказал Митя. — Что же на нас сердиться? — Он наколол на вилку ломтик помидора. — Я вам яблоки вчера принес...

— Мы уже ели, — сказала Варя. — И комлот съели.

После завтрака Наташа собралась и уехала домой.



Когда на другое утро Митя проснулся, он долго лежал с закрытыми глазами: ждал, когда Наташа подсядет на раскладушку и станет щекотать его кончиками волос. Но тут он вспомнил, что Наташа уехала, открыл глаза, увидел сквозь ветви на веранде задумчивое лицо Птичкиной, и ему стало грустно. На террасу вышла Варя. Митя поспешил прикрыть глаза.

— Что, спит еще? — спросила она.

Птичка кивнула, посмотрела на Митю и вздохнула.

— Ну, пусть спит, — сказала Варя.

«Варька здесь, Птичка здесь, а Наташи нет. И Николая даже нет... Скуча!» Митя потянулся.

— Варька! — крикнул он повелительно-капризным шутильвым тоном. — Я жарить хочу!

Варя, спускаясь с террасы, всплеснула руками.

— Господи, в постель тебе, что ли, подавать?

— А это идея! — сказал Митя, присаживаясь на раскладушке и скрестив по-турецки ноги, два раза хлопнул в ладоши. — Завтракать!

— Обойдешься! — сказала Варя и ушла на кухню.

— Варька, да дай ему, — уныло протянула Птичкина с веранды.

— Несу, несу, — отозвалась из кухни Варя. — Бог с ним. Он страдает, — сказала она насмешливо, появляясь на пороге, держа в вытянутых руках табулет, уставленный тарелками с салатом и вареной картошкой. Она поставила табулет перед Митиной раскладушкой и неуклюже сделала реверанс.

— А комлот? — жалобно сказал Митя.

Варя принесла и комлот.

— Кушай, лапочка, кушай, поправляйся! — нежно пропела Птичкина.

— Птичка, откуда у тебя в последнее время такая любовь к человечеству? — спросил Митя.

Птичкина пожалала плечами. В последнее время она стала проще, но была уныла. В ее речи постепенно стали пропадать «шикарные» словечки, которые она любила употреблять; правда, иногда они все-таки нет-нет да и проскальзывали. Манерно-изысканное обращение «дамы» уступило место грубовато-доброудному «бабы». Это смешило Митю.

— Варька, — сказала Птичкина с террасы, — все-таки мы, бабы, несчастный народ...

— Ох, душа моя, мне некогда, обед готовить надо! Неужели ты за ночь не выболталась? — отмахнулась Варя. — Что на обед готовить: суп с вермишелью или с макаронами?

Митя засмеялся:

— Да какие же вы бабы!

— Ты ничего не понимаешь, — серьезно ответила Птичкина. — Именно бабы. Как это хорошо, и по-птичьи, и по-народному!

— Ну, народное вовсе не в этом...

— И в этом, и в этом! Бабы... ты подумай, как звучит: русские бабы! Нет, хочу быть бабой, бабой! Что может быть лучше? Ведь сколько они, русские бабы, выдюжили на своих плечах...

— Э-э, ты даже знаешь такое словечко — «выдюжили»? — сказал Митя.

Птичкина ничего не ответила. Обижено поджав губы, она ушла в дом.

— Так с вермишелью или с макаронами? — спросила Варя.

10

Мите было все равно: с вермишелью или с макаронами. Он вышел за калитку, повернул направо и пошел по улице, распуская встречных гусей, не обращая внимания на их злобное шипение и вытнутые шеи. Он сравнял сухой, острый язык, вылезавший из приоткрытого клюва, с жалом змеи и находил некоторое сходство. Митя с детства терпеть не мог змей, и оттого, что вытнутые гусиные шеи их напоминали, ему стало не по себе.

Митя не заметил, как улица вывела его на окраину станции. Он остановился на нерешительности и, махнув рукой, пошел в поле. Поле заросло ромашками, высокой желтой сурепкой, подсохшими у стебля одуванчиками, сильными кустами нежно-голубого цикория, синевато-сиреневыми ворсистыми васильками. Размалеванный угодок с задирстым хохломом на голове стремительно перелетал через дорожку, прятался на мгновение в высокой пыльной придорожной траве и летел дальше, словно заманивал его.

Митя поймал себя на том, что идет по дороге на станцию. «Идиот!» — подумал он. — Кретин! Ведь придет она завтра! И повернул назад.

По дороге он нарвал большой букет полевых цветов.

Проходя мимо одного из дворов, он увидел невысокую стройную девушку. Она стояла к Мите спиной и, наклонившись так, что красное короткое платье почти целиком открывало ее крепкие, смуглые ноги, Большим, связаным из стеблей полныи венником подметала дорожку от крыльца до калитки. Митя облокотился на забор.

— Девушка, а девушка, можно вам цветы подарить?

Девушка торопливо оправила платье и оглянулась. Она взглянула на Митю зелеными раскосыми глазами, и на концах ее ресниц затрепетали живые солнечные лучики.

— Цветы? — спросила она насмешливо. — А они-то уже почти завяли.

— Ну да, — недоверчиво сказал Митя, разглядывая букет. — Я их только что нарвал.

Цветы цикория и в самом деле сморщились, потемнели, и маки опустили свои хрупкие, наполовину облетевшие головки. Только васильки и ромашки нарядно топорщились белыми и сиреневыми лепестками.

— Что же теперь делать? — спросил Митя.

— Ладно уж, давай! — насиходительно сказала девушка, забирая цветы. — Я васильки и ромашки в воду поставлю, а эти выброшу — все равно завяли.

У нее были несколько широкие скулы, заостренный, выточенный подбородок, а озорные веснушки не портили лица, напротив, даже очень шли ему.

— А где здесь дед Антип живет? — любящая девушка, спросил Митя.

— Да здесь и живет, — сказала она. — А на что он тебе?

— В гости приглашал!

— Ну, заходи, коли приглашал, — сказала девушка, отворяя калитку. — Ты что, приезжий?

Митя кивнул.

— Сразу видно. Ты садись на лавочке, обожди, дед скоро придет: вышел, старый черт, куда-то.

— Как звать тебя? — спросил Митя.

— Аниска, — весело отозвалась девушка, поднимая с земли веник и пряча его под крыльцо. — А тебя?

— Митя.

— Чаю хочешь, Митя?

— Не-а.

— А молока?

— Не. Спасибо.

— А воды холодной из холодильника?

— Давай! Аниска, а сколько тебе лет?

— Пятнадцать! — крикнула Аниска, взбегая на крыльцо и исчезая за дверью. Через минуту она вынесла сразу сплотившую на солнце стеклянную литровую банку с водой.

— Пей, сколько хочешь, я еще поставлю.

Митя долго пил холодную воду, а Аниска стояла рядом и смотрела, как он пьет. Мите казалось, что они знают друг друга уже давно, с детства, что она его сестра.

— Ты что же, учишься? — спросил он.

— Восьмой класс окончила. Что не пьешь? Пей! — Уже не могу. Залился.

Аниска присела на скамью.

— Ты сам кто? — спросила она.

Митя сказал, кто он и зачем приехал в Щедрино.

— А-а... понимающе протянула Аниска. — У нас в семье все хорошо поют!

— А ты?

— И я. Только я старых песен не знаю.

— Ну, спой не старую.

— Вот еще! Буду я тебе петь! — сказала Аниска, наклоняя голову набок и снизу заглядывая Мите в лицо. — А тебе сколько?

— Много, — сказал Митя, — девятнадцать.

Аниска засмеялась.

— Тоже выискался старый, — весело сказала она. — Дай банку-то! — Она отпила несколько глотков и вдруг опять рассмеялась. Вода разноцветным взором брызнула изо рта. — Ой, не могу! Ты старый-то? Ты?

— Я, старая, я, — загудел голос деду Антипа, и над калиткой появилась его широкая, мощная фигура. — А, внучек! — закричал он весело, увидев Митю. — Как тебе внучка-то моя? Хочешь, женю? Она давка добрая, покладистая. Аниска, а Аниска, пойдешь за него замуж? Что молчишь, дура? Говори: «Пойду!» Сколько тебя учить?

— Дед, да ты же уже меня за сто человек просватал, — толкая Митю локтем в бок, смеялась Аниска.

— А вот за него отдам! — Антип потрепал Митю по плечу. — Что, берешь? Завтра же свадьбу сыграем! Ну? По рукам? Да чего думаешь-то? Бери, пока отдаю! Девка молодая, здоровая, работающая, детей тебе нарожает кучу... Тьфу-тьфу-тьфу... — Старик стал плеваться, чтобы не спазить. — Ну? Вот глупый-то, да я бы на твоём месте и не задумывался. Ну, берешь? Берешь! Аниска, поцелуйтесь!

Аниска пробовала урезонить деду.

— Ну, хватит тебе, старый, разошелся как! И не стыдно?

— А ты мне не указ! Цыть! — весело кричал Антип. — Ну? Что покраснела-то? О-ох-хо-хо-хо!.. Такая здоровая дура, а целоваться не умеешь!

— А вот и умею! — сказала Аниська и, быстро поцеловав Митю в щеку, убежала в дом.

— Ах, скажешь, — засмеялся Антип, — ведь мне ни с кем не целовалась! Заставлял — не целовалась, а тут на тебе... Значит, судьба! Люб ты ей, братец!.. Да... Гм... Обмыть бы это дело... А? Какникак девку за тебя отдаю. Ну и сбегай за чихирем: ноги молодые, небось, резвые. — Старик сунул Мите в руку эмальрованное ведро, то самое, с которым он ходил на рыбалку. — Бери, бери... Девка-то клад!..

II

Странное чувство владело Митей, когда он, поскрипывая на ходу ведром, направился к «телевизору». Ему было смешно, весело и грустно одновременно. Он все еще ощущал на щеке влажное прикосновение Аниськиных губ и думал о Наташе. Ему нравилась Аниська, нравился дед Антип, с ними было весело, легко, но рядом не было Наташи, и поэтому было грустно.

Продавщица Надя, наливая в ведро чихирь и узнав Митю, стала укорять его за пол-литровые баночки, которые они с Николаем дели неизвестно куда, хотя обещали вернуть в полной сохранности. Митя, приподнявшись на цыпочки, достал с «козырька» спрятанного Николаем банки и вручил их вслепнувшей от изумления руками Наде, которая тут же вылила их, поставила вверх дном на помятый алюминиевый поднос и с облегчением вздохнула.

Митя решил было по дороге зайти за Варей и Птичкой — старик наверняка распоется за чихирем, и надо бы записать его песни, — но передумал: «Успеется, в другой раз».

Антип встретил его у калитки.

— Ай успел? — сказал он с радостью в глазах. — Вот это звучит! — Он взглянул в ведро и втянул носом воздух. — А что неполное?

— Распелкалось, дед, — серьезно сказал Митя. Он взял чихиря три литра — на большее у него не было денег.

— Так ты бы осторожнее, — с неудовольствием заметил старик, забирая ведро. — Ладно, пошли в дом.

Они поднялись по высоким деревянным ступенькам на просторную террасу. Старик, опираясь носком одной ноги в пятку другой, снял серые от пыли парусиновые туфли.

Митя последовал его примеру, и они вошли в чистую просторную комнату.

В комнате стоял полузрак: ветви деревьев засняли три окна от солнечного света.

На чисто побеленных стенах были развешаны вышивка, покосившаяся рамка с десятком семейных фотографий, в правом углу — одна над другой — три иконы. Крашенный пол сиял чистотой; вдоль стола и у обтянутого чехлом дивана лежали яркие плетеные половики, а справа, у стены, на тонких черных ножках стоял телевизор.

— Аниська! — крикнул Антип, доставая из буфета высокий тонкий графин. — Приготовь нам чего на стол, ведьма старая! — Он оглянулся и подмигнул Мите красными в прожилках глазами. — Я ее в шулку так называю, — сказал он шепотом.

Антип поставил графин на подоконник и аккуратно не пролив ни капли, перелил в него из ведра чихирь.

— Вишь, какая рука — не дрожит! — сказал он с гордостью, протягивая перед собой темный кулак и засучивая до локтя рукав белой рубашки.

Митя разглядывал фотокарточки в покосившейся рамке.

— Дед, неужели это ты? — сказал он, стуча пальцем по стеклу и показывая на фотографию молодцоватого казака с пыльными усами, в черкессе, с двумя георгиевскими на груди. Правая рука его опиралась на рукоятку кинжала у пояса, а левая — на рукоятку длинной шашки.

Антип подошел, взглянул на фотографию иленно ответил:

— Угадал. Я и есть.

— А это кто? — спросил Митя, указывая на фотографию молоденького солдата в лихо надвинутой на лоб пилотке со звездочкой.

— Сын младшой, Прохор, Аниськин отец. Сбежал, шельмец, на войну — еще и шестнадцать не было. Комбайнером теперь здесь, в колхозе. Почитай, не ночует нынче дома, потому как хлеб убирать надо. А этот, — старик показал на фотографию второго сына, — Микшишка, зоотехник, средний. И старшой, — он ткнул в изображение сидящего худощавого человека, — Егор, агроном. Это Нефедка и Гришка, оба на войне погибли. Нефедке орден посмертно дали, Отечественной Войны второй степени, я тебе покажу, прислали в коробочке, в военкомате вручали семье, значит. Да... — С фотографий — глаза в объектив — глядели серьезные, сосредоточенные лица солдат. — Ну, а это бабы их и внуки тоже. — Антип широким жестом провел по остальным фотографиям. — Аниська, а Аниська, скоро стол-то накроешь? — крикнул он и прислушался.

— Накрою, не белынски, — отвечала со двора Аниська. Она разогревала в летней кухне щи и жарила картошку. Было слышно потрескивание масла на огне и шипение, когда Аниська поднимала над сковородкой крышку.

— Так что же, вы все вместе и живете? — спросил Митя.

— Можно сказать, что и вместе, — сказал Антип, выходя на веранду и показывая Мите на соседний кирпичный дом, красневший между ветвями деревьев. — Микшишин дом, — пояснил он, — а за ним и Егоркин. Так что все вместе, рядышком, как птички божьи. Дал. А я больше у Прошки живу. Аниська, добрая душа, накормит, когда надо, да и нескучно с ней. А тешные внуки, — старик махнул рукой в сторону кирпичного дома, — развехались все: одни в армии, другие в городе живут...

В дверях появилась раскрасневшая от печного жара Аниська.

— Заждались? — ласково спросила она, сдвывая со лба прядку волос и ставя на стол тарелки с густыми дымящимися щами.

— Ну-с, — Антип с удовольствием потирал руки, — приступи! Может, и тебе того, а? — спросил он неуверенно.

— Нет, что ты, дедуни!

Аниська опустила на диван, пружины под ее легким телом радостно скрипнули.

— Ну, как хочешь. — Старик разлил вино по стаканам, лукаво подмигнул Мите, мелко перекрестил ворот рубашки. — Во имя отца, господа... Поехали! — В мгновение ока вылил в рот стакан вина, глубоко вздохнул, отер рукавом бороду.

Митя чувствовал на своем затылке любопытный Аниськин взгляд и испытывал от этого неловкость и беспокойство. Он оглянулся, Аниська опустила глаза, покраснела.

— Кушайте, кушайте! — сказала она и торопливо вышла из комнаты.

— Ай Аниська, что за девка! — ласково сказал Антип, наливая себе второй стакан. — Хошь совет дам: девок как выбирать? У девки, самое главное,

колена должны быть круглые. Понял? А юли острые, пропал — всю жизнь пилить будет! — Старик сделал выразительный жест руки, словно распливал угол стола. — Эта мудрость еще от моего деда мне досталась. Как молодой был, так и щупал на вечерках у девок колена. И жену себе так нашел. Да... А теперь и щупать не надо: все ноги голяком — гляди да прикидывай... У Аниськи-то круглые, а? То-то!.. Вот и будет хорошая баба своему мужику.

Антуп откинулся на спинку стула и загудел:

— Аниська, карга! Картошкуй!

Аниська вошла со сковородкой в руках. Не глядя на Митю, собрала грязную посуду и вышла.

И Мите вдруг показалось: вот он сидит за столом, перебирает по скатерти пальцами, и кожа на его запястье ходит маленькими теневыми волнами от равномерного движения сухожилий, и руки у него белые, хольные, и он вовсе не Дмитрий Косолапов, а Дмитрий Оленин, и не клетчатая рубашка на нем, а белая черкеска с серебряными газырями. А напротив сидит Ерощка, белобородый, подвыпивший с утра, веселый, как ребенок, скалит желтые зубы, философствует о жизни: «Главное, чтобы колена были круглые...» И не Аниська только что вышла в эту дверь, а Марьяна, котюдь не хорошеющая, но красавица. И было это давно, сто лет назад, даже больше, и было это сейчас, сию минуту.

«Прекрасное мгновение остановилось в те далекие времена и длится, длится, которое поколение длится...» — подумал Митя. Стрелок трактора за окном помешал ему остаться Олениным. Но если он был теперь Митя, просто Митя, то Ерощка оставался прежним, таким, каким и должен быть. Сходство поража-ло Митю.

— Что не пьешь, друг ты мой? Что сидишь невеселый? — закричал Антуп со слезою в голосе. — Жизнь — тонкая штука, брат ты мой, тонкая... — Он задумался, забрав бороду в кулаки, замолчал головой. — Тебе что печальится ты молодой, здоровый, жить тебе и жить, а я вот стар, протяну годок-другой... Эх!..

Он тряхнул белой лысеющей головой и запел неожиданно весело и громко:

Чем казакам не житье,
Не веселая служба,
Им и холод, им и голод,
Им и строгая служба.
Мы уборку пройведем,
На всю ночь гулять пойдем,
Утром рано поутру
Несут розог по пунку,
Утром рано поутру
Несут розог по пунку,
Не велят нам оправдаться,
Белят скоро раздеваться,
Не велят нам говорить,
Велят скоро положить,
Черносочни долой с плеч,
Начинают больно сесть...

Кончив песню, он хлопнул рукой по столу — подпрыгнули и упали стаканы — и, высочив из-за стола, схватил висевшую на стене балалайку и начал притопывать так, что в буфете задрожала посуда и телевизор закачался на тонких рахитичных ножках.

В комнату вбежала испуганная Аниська и, увидев, в чем дело, рассмеялась. Нежные ямочки подрагивали на ее щеках, и зеленые глаза вспыхивали озорством и лукавством. Мите захотелось поцеловать эти ямочки, и Аниська, словно почувствовав это, стрелюнья в Митю глазами и вызывающе приподняла подбородок.

И была опять Марьяна, был дед Ерощка, грузно кружащийся по комнате и напевающий зычным голосом непонятные куплеты: «Тренди-бренди-вискишкенди... Хон!.. Хон!.. Хон!..» — и был он, Дмитрий Оленин, и комната плыла перед глазами, и полумрак застенчиво оседал вдоль карнизов, как отсвет далеких времен.

— Аниська, — крикнул Антуп, терзая балалайку, — айда плясать!

А Митя подумал: «Какая Аниська!.. Марьяна!»

Но в это мгновение старик неловко задел локтем стоявший на краю стола графин, уже почти опорожненный, и остатки вина выплеснулись на яркую зеленую скатерть.

Антуп остановился, тяжело переодая дыхание, и набросился на Аниську:

— Ведьма старая, не могла удержать! Ведь добро пропало! Там оставалось как раз по стаканчику... Ох-ох-ох!..

Аниська подскочила к столу и стала густо посыпать солью большое темное пятно.

— Это ты виноват, ты! Мамка изругает теперь меня! — крикнула она испуганно, и из галза ее на скатерть закапали слезы, растворяясь в нитках ткани и не оставляя никаких следов.

— Ох-тех-те... — вздыхал Антуп. — Два стакана вина, такое добро! Грех-то какой!..

Аниська сдернула скатерть со стола и выбежала на террасу.

Митя вышел следом. Аниська сидела на ступеньках и молча плакала, вытирая слезы краем скатерти. Митя сел рядом.

Антуп из комнаты звал его.

— Не ходи! — сказала Аниська и взяла Митю за руку.

Антуп позвал еще раз.

— Ушел. Ну и хрен с ним, — сказал он вслух, и пружины дивана жалобно закриптели под его грузным телом. Через минуту воздух колыхнул густой звонкий храл.

Аниська все еще держала Митину руку в своей. Пальцы сделались влажными, теплыми, не хотелось разжимать их.

— Не расстраивайся, — сказал Митя, свободной рукой мягко обнимая Аниську за талию, но Аниська молча и упорно отодвинулась, не выпуская, однако, его руки.

— Ну, прости, прости, — зашептал Митя, — я ведь так просто...

— Что со скатертью делать? Мать придет — трепку устроит. Ведь посмотри, чуть не вся скатерть залита. — Она стала показывать ему пятно.

— Дед же виноват...

— Все равно попадет мне. Это самая любимая мамкина скатерть.

— Ну, что ты, не плачь, глупенькая... — Митя не знал, как себя вести с Аниськой. Его смущали ее слезы. Хотелось заплакать самому. Он погладил Аниську по голове.

Она оттолкнула руку.

— Уходи. Сейчас мама придет. Лучше, чтобы она тебя не видела: скандалит будет.

Митя встал. От выпитого вина кружилась голова, но он дошел до калитки твердыми шагами. Аниська прождала его, прижимая к груди скоманную скатерть.

Отворив калитку, Митя наклонился к ней, прошептал:

— Я завтра приду к тебе, можно?

Аниська кивнула, и Мите опять показалось, что перед ним Марьяна, а сам он Оленин, и только не было между ними Лукашки.



Но на другой день Митя к Анисье не пошел: приехала Наташа. Она рассказала все городские новости и, кстати, по дороге видела в радицентре, на площади, «роскошный» ресторан, внутри она не была, но внешний вид весьма завлекателен: два этажа, в широких окнах голубые занавески и проч. и проч.

Ложась спать, Наташа, Варя и Птичкина долго пешетывались между собой.

Утром, за завтраком, девушки многозначительно переглянулись, и наиболее дипломатичная Варя завела разговор о том, что все устали от однообразия будней, что неплохо бы как-то развлечься, а заодно и отметить возвращение Наташи.

— Ну-ну,— сказал Митя, подгоняя затянувшееся Варينو вступление и покурив в воздухе вилкой.

— Гм... Благодаритель ты наш, а не посетит ли нам райцентровский ресторан?

— Это идея! — сказал Митя и положил вилку на край сковородки.

Ехать решили к полудню. Митя достал из чемодана еще не надванную чистую голубую рубашку, походил по шкам электробритвой и, расчесываясь перед зеркалом, отметил про себя, что выглядит не так уж плохо.

Девушки нарядились в лучшие платья, подвели тушью глаза, наложили на веки тени: Варя — голубые, Наташа — бронзовые, что очень шло к ее карим глазам, а Птичкина — зеленые и была легкомысленно-смешна.

Когда проходили мимо Антипова дома, Митя увидел Анисью. Она сидела на скамеечке перед воротами и болтала ногами. Он кивнул ей. Анисья оглядела девушек, глаза ее задержались на Наташе. И, видимо, почувствовав в ней соперницу, она независимо вскинула голову и холодно кивнула. Анисья ждала вчера Митю с самого утра, но он не пришел. И она поняла, почему он не пришел.

— Что ты такая хмурая, Анисья? — крикнул Митя издали.

Анисья отвернулась и сказала со злостью: — Вот еще! С чего ты взял? Очень даже весело!

И Митя, покосившись на Наташу, вдруг подумал, что сегодня Анисья вовсе не Марьяна, а самая обыкновенная девчонка.

Вскоре они стояли на шоссе и голосовали.

— Спрячься, Митя, спрячься, — тараторила Птичкина, — на нас сразу клонит какой-нибудь кадр.

Митя зашел под каменный навес автобусной остановки, и через минуту напротив него на полном ходу затормозил маленький грузовой УАЗ. Парень лет двадцати, Митин ровесник, подмигнул, весело улыбаясь:

— Садитесь, девчата!

— Митечка, ку-ку, — позвала Птичкина, — можешь выходить.

Митя вышел из укрытия и без помощи ступенек, прикреплённых к заднему борту, первым прыгнул в кузов и помог подняться девушкам.

На пути в Шелковскую в кузове, над которым был натянут оглушительно хлопающий тент, происходил следующий разговор.

— Что, девочки, плятьте ему будем? — спросила экономная Варя.

— Вот еще! — возмутилась Птичкина. — Мы ему такое удовольствие позволим — везти нас. Нет, бабы, этого я не переживу!

— Конечно, проедем за «спасибо», — поддержала ее Наташа.

— По-моему, это свинство, — сказал Митя, шурясь от встречного ветра.

— Что за наивный альтуризм? — удивилась Птичкина. — Доверься нам.

Когда машина затормозила у райцентровской автостанции, Митя помог девушкам прыгнуть на землю и направился к кабине, засовывая правую руку в карман, где лежала приготовленная трещка. В окошко выглядывало озорное лицо шофера. Митя не мог не улыбнуться ему в ответ. Он уже надулся в кармане хрустящую бумажку, когда Варя, Птичкина и Наташа дружно отгеснили его и, не дав опомниться, сказали шоферу английскими голосами: — Спасибо!

Шофер смеялся, махнул рукой.

— Вспоминайте ростовских геодезистов! — крикнул он и дал с места полный газ.

Митя и девушки пошли по райцентровской улице, с одной стороны которой тянулся ровный ряд одноэтажных домов под красными черепичными крышами, а по другую сторону, за маленькой теневой рошей, сверкало под солнцем большое, но мелкое озеро. На середине его по колено в воде стоял голупузый мальчик лет восьми, размахивал рукой и кричал:

— Витька! Сюда плыви!

— Бабы, ведь это Венеция! — воскликнула Птичкина.

13

Для райцентровского ресторана он выглядел шикарно, — сказала Наташа. — Не правда ли?

Они сидели за столом с голубой пластмассовой крышкой (какие обычно бывают в дешевых столовых) и листали меню. Митя, как галантный кавалер, предложил его сначала девушкам. И пока они спорили, что взять на обед, Митя оглядывался по сторонам. Их стол был рядом с эстрадой, на которой вместо оркестра стоял, потрескивая разрядами, черный лакированный ящик радиолы. На противоположной стене на белых деревянных планках, которые изображали лучи солнца, был прибит вырезанный из фанеры и выкрашенный черной краской силуэт горного тура с изогнутыми рогами. Несколько одиноких и потому, казалось, жалких посетителей тихо склонились над столиками. В двоих из них Митя угадал командировочных. Позади эстрады, за широкой стеклянной дверью, ведущей на просторный балкон, за двумя сдвинутыми столами веселилась большая компания мужчин. Плечистый парень, ослабшая, брэнчал на гитаре незнакомую мелодию, а другой, лет тридцати, напрягаясь так, что на красной воловьей шее вздулись жилы, и упираясь в стул руками, на которых выступали большие шары мощных бицепсов, подпевал ему. Иногда посреди пения слышались возгласы других сидевших за столом мужчин. Среди них был и совсем пожилой, с темным морщинистым лицом и крючковатым вороньим носом. Он сидел во главе стола.

— Ну, девочки, что будем кушать? — К столику подошел невысокий курчавый официант в короткой белой курточке. Его глубоко запрятанные, но бойкие глаза смотрели вызывающе, а в речи чувствовался сильный и явно грузинский акцент.

— Четыре шашлыка! — сказала Птичкина и кекетливо потупила глаза.

— Так, — сказал официант, пригладив черные усы стрелочкой и записав что-то карандашом в блокнот.

— Четыре салата, две бутылки сухого вина...
— Четыре салата. Пять бутылок вина...— повторил официант, записывая в блокнот.
— Мы сказали «две бутылки»,— вмешалась Варя.
— Пять бутылок— покчал головой официант.
— Две! Пять много!— сказал Митя.
— Ва-ах! Слушай, дорогой, прекрасный вино, холодный, почти как циндаиш... Зачем тогда в ресторан ходишь? Сиди дома, кушай. Пришел в ресторан и говоришь такие вещи. Ай-я-яя...

— Но это много...
— Как много!— возмутился официант, вращая глазами.— Для каждой девушки— бутылка, а ты— мужчина или не мужчина?— тебе два бутылка! Я знаю, что делаю. Поверьте, не один компания обслужил. Еще спасибо скажете...

— Импозиантный мужчина,— томно сказала Птичкина, когда официант ушел выполнять заказ.— Бабоньки, я слышала, его Анзором зовут.

Анзор поставил на стол пять откупоренных бутылок «рактители», достал из буфета четыре изящных фужера— «специально для вас»,— и через четверть часа Митя и девушки потели над шашлыком, который был из свинины, но зато на веречных металлических шампурах.

Салат оказался отвратительный: ломтики крупных желтых огурцов и мятых помидоров.

— Знаете, какой случай был со мной на зимних каникулах в Москве?— обратился Митя к девушкам.— Сизу в «Ленинке», в зале периодики на первом этаже, и вдруг слышу: пахнет огурцами. Зимой! В Москве, конечно, чего не бывает, но тут удивился. Думаю, может, библиотекаря огуречным лоссоном намазались? Подошла к ней, заговорил, конечно, для виду, понохал: нет, не пахнет. А рядом, кроме нее, только мужчины. И пошел я по запаху. Пройду несколько шагов, понохаю воздух, как ищешь, и дальше. И пришел я... в буфет. А там— огурцы, свежие, зеленые, длинные, кривые и тонкие, как батон копченой колбасы, но как пахнут! И очередь— человек сорок. Так не смог уйти из буфета, пока не выстоял в очереди и не купил триста граммов— половину огурца. И как я его ел, бже, как ел!— Митя мечтательно вздохнул и отодвинул тарелку с салатом.

На них обращали внимание, и заметив это, девушки стали смеяться еще заразительнее, говорить еще громче. «Посмотрите, какие мы!»— говорило все существо маленькой Птичкиной. «Да, мы такие»,— подтверждало самодовольное, лоснящееся лицо Вари. «А я лучше всех!»— было написано на сияющем Наташином лице.

К Мите то и дело обращались: «Митенька, подай горнички!.. Митенька, расскажи анекдот!..»

Наконец Птичкина сказала:

— Митенька, сходи в буфет за сигаретами. И это было гвоздем программы!

Митя сошел в буфет, купил две пачки сигарет.

— «Опал»,— сказала Птичкина, принимая сигареты и закладывая ногу на ногу.— Конечно, это не «малбор», но все же...— Откинувшись на спинку стула, она картинно закурила и, глубоко затянувшись, выпустила в потолок серо-голубую струйку дыма. Закурила Варя. Закурила за компанию и Наташа.

Вскоре их стол потонул в мутном, душном облаке. Дым висел голубыми слоями, плавал и поднимался к потолку белесыми колечками, сизые конусообразные воронки возникали время от времени над головами девушек, выделяясь на солнечном свете желтыми подпалинами.

«Им, наверное, кажется, что они на самом деле в Венеции»,— с усмешкой думал Митя. Его забавля-

ло поведение девушек, но в то же время в глубине души он сознавал, что оно неприятно ему. Птичкина, Птичкина, бже ты мой! Она, должно быть, всю ночь не спала: репетировала свою роль. Маленькая, суплая, как десятилетняя девочка, а кажется себе по меньшей мере королевой Марго. И пепел стращивает, не глядя, одним пальчиком, и говорит в нос. Варя резомела от собственного до-вольства, курит неумело, но с азартом... Наташа за-кашлялась и отложила сигарету на край пепельницы. Слезы в глазах.

— Наташа, воды?
— Нет, не надо.

«Ведь хорошие девчонки, но, в сущности, дети, хотя Варя старше меня... Будто я сам не дитя... Реньше, лет десять назад, думал, глядя на тех, кому двадцать: вот вырасту, стану таким, как они, мужчиной. А вот через месяц— двадцать, а я все такой же мальчишка... И они все такие же девчонки, какими были десять лет назад. Чуть больше хитрости, знаний, навыков, а, в сущности, такие же... Птичкина явно вздумала покорить сегодня весь ресторан...»

Птичкина закуривала подряд третью сигарету.

— Не хватит ли, Птичка?— мятко сказал Митя, наклоняясь к ней через стол.

Но Птичкина разудало махнула рукой.

— Отстань!

Шашлык съели быстро, и теперь заказали поджарку, и сидели, разморенные жарой, вином и сигаретами.

— А что, бабы, споем?— Птичкина затушила сигарету.— Философскую, а?

Девочка плачет:
Шарик улетел.
Ее утешают.
А шарик летит...

Это была ее любимая песня. Тонкий голосок Птичкиной дрожал, срывался. Варя подхватила грудным голосом. Запела и Наташа, но беззвучно, едва шелестя губами.

— Митька, что же ты, подпевай!

И высокий баритон Мити перекрыл их голоса.

Когда песню допели, Мите стало неловко. Он огляделся. Два-три любопытных лица смотрели в их сторону, а на балконе, услышав их пениз, мужчины за-тянули во все горло, стараясь перекричать их. Молодой черноволосый парень то и дело весело огля-дывался, подмигивал, толкал в бск соседа— худоща-вого рыжеволосого мужчину лет тридцати в синей тенниске— и что-то шептал ему на ухо. Наконец они встали и, пошатываясь, подошли к их столу.

— Переходите к нам за стол,— сказал черноволо-сый.— Я думаю, мы споем.

Девушки посерьезнели, настороженно подобра-лись и взглянули на Митю.

— Нет, нет, спасибо,— сказал Митя.— Нам и здесь хорошо.

Прителеи усмехнулись.

— Тогда разрешите пригласить вас танцевать.— Черноволосый манерно поклонился.

— Но ведь музыки нет,— испуганно сказала Птичкина и, как нашкодившая школьница, беспомощно оглянулась на Митю.

— А мы на гитаре сыграем свое.

— Нет, ребята, девушки не хотят танцевать,— твердо сказал Митя.

Рыжеволосый взял Наташу за руку и пошатнулся.

— Пойдем!

Митя рывком встал на ноги, едва не опрокинув стол.

— Убери руку! Ну! И... проваливайте отсюда! Рыжеволосый выпустил Наташину руку.

— Ты что такой? — сказал он, дурашливо протирая глаза. — Что-то не вижу... Козырек!

— Ты!.. — От волнения и злости у Мити перехватило дыхание. — Я сказал: убирайся!

Черноволосый усмехнулся и, обняв за плечи вырывающегося приятеля, увел на балкон, что-то нашептывая ему на ухо.

Руки у Мити дрожали. Он спрятал их под стол.

— Что ж вы не кушаете, девчонки! — сказал он, стараясь прервать тягостное молчание.

Потускневшая, съезжавшаяся Птичка вдруг весело улыбнулась:

— Ой, бабы, что это мы в самом деле!.. Хотите, анекдот расскажу?

И она принялась весело болтать, смеяться, и через десять минут неприятное чувство, сковывавшее всех, прошло.

14

— **П**осидите еще. Куда спешить? — упрямил их Анзор. Но Митя решительно сказал:

— Нет, пора!

Анзор вздохнул и пошел за счетами, а Митя потребовал у Вари деньги. Варя достала из кошелька экспедиционные деньги, укладкой, чтобы не видели посторонние, отсчитала тридцать рублей и передала их Мите под столом. Подошел Анзор, щелкая в счетах. Митя сунул руку с деньгами в карман и уже оттуда небрежно достал их, как свои собственные.

— Двадцать шесть рублей восемнадцать копеек, — сказал Анзор, опуская хлопачище костляшими счеты. Митя нетерпеливо отсчитал девять трехрублевых банкнот и покровительственно сказал, протягивая деньги:

— Сдачи не надо!
Но Анзор отсчитал восемьдесят две копейки.

— Мне твои деньги не нужны. Своих хватает, — сказал он гордо.

Девушки и Митя вышли на залитую солнечным светом площадь.

— Хорошо посидели, — сказал Митя, сладко потягиваясь. — И он угадал: пять бутылок — самая норма! И наелся я... на всю жизнь! — У него было теперь хорошее настроение, и, несмотря на то, что выпито было немало, он чувствовал себя превосходно.

— А Анзор просто лапочка, — сказала Наташа.

— Ты, кажется, забываешь, что я могу ревновать, — засмеялся Митя.

Девушки взялись под руки и перешли на другую сторону улицы. За углом ресторана стояла та компания, что пьянствовала на балконе, человек десять. Рыжеволосый отделился от группы, перешел улицу и направился вслед за Митей и девушками. Краем глаза Митя увидел, как за ним двинулись и другие. Митя пропустил девушек вперед с таким расчетом, чтобы загородить их собой. Шагов через тридцать, у райцентровского сада, рыжеволосый нагнал их, поравнялся с Митей, некоторо время они шли рядом. Митя почувствовал, как все мышцы поджимаются в нем. Мужчина дернул Наташу за кончик распущенных волос. Митя перехватил его руку:

— Больше делать нечего?
Тот остановился и задержал Митю.

— Стой. Поговорим.

— Ну, поговорим, — сказал Митя. — Чего тебе надо? Рыжеволосый молчал и цепко держал Митю за рукав сорочки. В его мутных, водянистых глазах

мелькнула усмешка. Митя рывком высвободил руку и хотел пойти вслед за девушками, но мужчина опять задержал его.

— Поговорим, да...

Митя оглянулся и увидел других: они подходили беглым шагом. Тот, что пел за столом, не вытерпев, побежал. И в этот момент Митя почувствовал удар в челюсть, потеряв равновесие, сел на низкий каменный забор райцентровского сада. Подбежавший приятель рыжеволосого хотел с разбегу ударить его в лицо, но Митя вернулся, и удар обжег только левое ухо. Митя перескочил через забор и встал в стойку. В голове вдруг мелькнуло совсем детская мысль: «Я дерусь, как д'Артаньян в кино!» Рыжеволосый перепрыгнул через забор, и Митя ударил его в лицо. Тот упал навзничь. Митя ударил и другого, но удар получился слабым, неточным, в красную, со вздувшимися венами шею. Противник был раза в три сильнее (это его бicepsам завидовал Митя в ресторане), он выбросил вперед большой красный кулак, но Митя успел пригнуться и опять ударил его, на этот раз в челюсть. И тут Митя увидел, как через низкий забор перепрыгивают подоспевшие на помощь дружки. Через секунду он был уже окружен плотным кольцом, которое молотило по нему более чем десятком рук. Митя изворачивался, как уж, в одну секунду он делал десять отчаянных движений, но вырваться не мог.

— Митька! Митька! Беги! — услышал он пронзительные голоса девушек. — Что вы делаете, изверги!.. Они его убьют! Митька, беги! А-а-а! У них ножи!..

На секунду мелькнуло ложное чувство стыда, и Митя решил ни за что не бежать, но тут же понял, что, если не вырвется из кольца, его наконец свалят и начнут бить ногами. Эта мысль электрическим током пронзила его. Он пригнулся, ударил головой в чей-то потный живот и высочил в образовавшуюся щель, но сзади сильные руки схватили его за правый рукав и ворот рубашки. Митя рванулся, но безуспешно, тогда он распахнул рубашку — с треском слетели последние пуговицы — и выскользнул из нее. Голый по пояс, он в несколько прыжков выскокочил на площадь и, отбегав шагов на десять, остановился. Навстречу ему бежала Птичка.

— Митька, Митька, убегай! — кричала она.

В это время из сада выбежал плотный мужчина в сером пиджаке и соломенной шляпе — он говорил в ресторане тост, Митя запомнил его — и с ним еще один. Птичка остановилась в нерешительности, а Митя успел ударить второго, но в руке первого увидел нож. Увидел ясно, до мельчайших подробностей, как обхватили голубую пластмассовую рукоятку короткие толстые пальцы, как яркое широкое лезвие весело свернуло на солнце. Холодный озноб пробежал между лопаток, Митя съехался и, пятясь наугад, стал убегать от противника по кругу, а тот, словно магнит, не отставал дальше двух шагов.

— Что вы смотрите! Помогите! — кричала Птичка. Всю площадь облепили толпы зевак. Никто из них не двигался с места.

Второй подбсал к Птичкиской и, зажимая ей руку, рвал, повалил на асфальт.

В это время из сада выбежали еще трое. «Теперь хана», — мелькнуло в голове у Мити. Он едва переводил дыхание, сил не было.

Но подбегавшие что-то коротко объяснили своим друзьям, показывая руками в сторону сада, и вдруг все вместе они скрылись под теверными купалами деревьев. «Неужели все! — не поверил Митя. — Так быстро...»

Птичка, стряхиваясь, поднялась с асфальта.



— Митя, что с тобой сделали! — всплеснула она руками. — Голову разбили, вся спина в крови, и на груди вот ссадины. Ой, мама, я не могу, — захныкала она, разглядывая Митю.

— Пойдите к ресторану, там безопаснее, — испуганно сказала подошедшая Варя. Рядом с ней стояла бледная Наташа.

Они вошли на ресторанный крыльцо.

— Где тут умыться мсжно? — сказал Митя.

Кто-то показал на белую раковину в глубине фойе. Митя открыл кран, подставил голову под струю и увидел, как с головы сбегает ручейками розовая вода. Варя смывала кровь со спины, и Митя видел ее розовые, в красных морщинках ладони, когда она подставляла их под кран...

По дороге к автомагистрали их останавливали раз пять.

— Что же вы уезжаете? — спрашивали их незнакомые люди — все, как назло, молодые здоровые мужчины. — Идите в милицию. Их поймали, мы сами видели.

Мите хотелось сказать каждому из них:

«Где ж ты был, когда...»

Скоро они уже ехали в грузовом фургоне, сидя на мягких сиденьях с кожаной обивкой. На Мите была новая рубашка: пока он умывался, Наташа и Птичкина сбежали в промтоварный магазин напротив и, недолго раздумывая, купили первое, что попало под руку.

Рядом с Митей сидел добрый сморщенный старичок со своею пышною и еще не совсем старою сурпужою. Задубелым, негнущимся пальцем он покалывал Митину голову.

— Подрался, что ль?

— Да, дед, было немного.

— Это по молодости, — одобрительно сказал старик. — Эх, бывало, и мы на кулачках...

Митя улыбнулся ему в ответ. Девушки смотрели на Митю влажными влюбленными глазами. В эту минуту и Митя любил их нежной, покровительственной любовью отца. Какой-то нервный трепет пульсировал у него под ключицами, а в горле сладко перлило.

15

Когда вечером Митя стал стелить в коридоре постель, девушки в один голос заявили, что не позволят ему спать «подобно собаке», и, как Митя ни протестовал, перенесли его раскладушку к себе в комнату

— Мы не можем оставить тебя одного! — решительно сказала Варя. Наташа и Птичкина горячо поддержали ее. Пришлось Мите лечь спать в одной комнате с девушками.

— Митечка, как ты думаешь, — сказала Птичкина, — вызовут нас в милицию?

Митя не ответил.

— Девочки, он спит, — шепотом сообщила Птичкина. — Устал, бедный.

— Еще бы, — сказала Варя, — такое пережить...

«Интересно, — подумал Митя, — слушать, когда говорят о тебе и не знают, что ты подслушиваешь. В такие моменты люди обычно искренни».

— Ой, бабы, вы представляете, как я испугалась, — придушено засмеялась Птичкина, — когда этот мужик повалил меня на асфальт. Нет, это надо, прямо на площади, напротив здания райкома! И столько народу вокруг стоит, и никто не пошевелится! А знаете, как я тому, тлстоному, рубашку порвала, боже ты мой, на три полосы!

— А я, — сказала Варя, — у длинного того из головы выдернула клок волос, прямо с кровью, с кожей, а потом смотрю, недоумевая, и сдуваю волосы с пальцев, вст так, как одуванчик.

— А я ревела... — грустно сказала Наташа. — Не переносю драк.

— А Митяка наш — молодец, правда? — сказала Варя. — Он так ловко изворачивался... А первого ударил, тот так и не встал.

— Бебы, а знаете, раньше, в университете, я Митяку терпеть не могла, — призналась Птичкина. — Какой-то он не такой, ну, не такой, и все, был: надутый, важный, противный. Меня всегда просто бесило. А теперь я его люблю!

Наташа и Варя засмеялись.

«Вот тебе раз!» — удивился Митя.

— Тише, разбудите его, — строго сказала Птичкина. — А он устал, бедняжка. Нет, нет, правда люблю!

— Ой, девочки, — сказала Варя, — ему, наверно, холодно, надо укрыть его.

— Я сейчас, — сказала Наташа, но Птичкина опередила ее. Соскочив с раскладушки, на цыпочках подошла к Мите. Он смутно видел сквозь прикрытие веки ее небольшую хрупкую фигуру. Она наклонилась над ним. Митя почувствовал, как его опалахула теплым воздухом простыня.

— Нет, бабы, вы не знаете, как я его люблю! — крестом сложив на худенькой груди руки, умилно сказала Птичкина. — Наташка, ты не ревнуйешь? — Митя ощутил сквозь веки надвинувшуюся тень и тепло прикосновения губ на своем лбу.

В дверь постучали.

— Кто там? — вздрогнув, спросила Птичкина, подбегая к своей раскладушке и закутываясь в простыню.

— Милиция!

Дверь приотворилась, и в щели показался черный силуэт головы в форменной фуражке, освещенный сзади светом с террасы.

— Там девушки, вы аккуратнее, — послышался довольный голос Авдотьи Михайловны. — Вы поκληните парня-то.

— Да уж вы, мамаша, поκληните.

Голова в фуражке исчезла, а на ее месте показалась голова хозяйки.

— Митя! До тебя пришли. Спишь, что ль?

— Мы сейчас его разбудим, — сказала Птичкина, подходя к Митиной раскладушке. — Митя, а Митя, — Она тронула его за плечо.

— Я слышу, — сказал Митя и открыл глаза.

Он натянул джинсы и вышел на террасу, жмурясь от яркого света. Следом за ним в дверях показались Наташа, Варя и Птичкина. Митя пожелился от озноба после жаркой постели и приоткрыл щелочастый глаз. С табурета поднялся низкорослый коренастый лейтенант с планшетом через плечо. На ступеньках стоял мужчина в штатском и закуривал.

— Вы были сегодня в Шелковской? — строго спросил лейтенант.

— Был.

— Обедали в ресторане?

— Да.

— Вместе с этими девушками?

Митя кивнул.

— Одевайтесь, поедете с нами.

— Куда он поедет! — испуганно спросила Птичкина.

— Одевайтесь! — повторил лейтенант.

— И что это он натворил... — сказала Авдотья Михайловна, кутаясь в теплый клетчатый платок и с недоумением оглядывая Митю, словно видела его впервые.

Митя повернулся, увидев сочувствующие взгляды девушки, прошел мимо них в комнату, разискал в темноте рубашку.

— Мы его куда не пустим! — слышал он голоса Птичкиной, Вари и Наташи. — Что ж это такое!.. Он куда не поедет!

Митя вышел из комнаты и сказал:

— Я готов.

— Митя, сумасшедший, куда ты хочешь ехать? — крикнула Птичкина и ухватила его за рукав рубашки.

— Успокойся, Птичка, надо же им разобраться, как было дело.

— Тогда и мы поедем! Девочки, одевайтесь! — решительно сказала Варя.

— Никуда вы не поедете, — сказал лейтенант. — У нас только одно место: мы на мотоцикле.

— Ну, а свидетельские показания разве не нужны?

— Нужны. Приедете завтра утром, — сказал лейтенант. — Записи фамилии, Лукашов, и пошли...

— Что за глупости! — раздраженно показала глазами Наташа и с нескрываемой неприязнью посмотрела на лейтенанта.

— Не глупости, а закон! — отчеканил лейтенант. — А повесточка вам придет, не беспокойтесь.

За калиткой стоял, поблескивая полировкой и никелем, новенький черный мотоцикл с коляской.

— Садись, — приказал лейтенант, — да укройся брезентом: холодно будет.

Митя сел в коляску, накинул на грудь кусок брезента. Мотоцикл взревел в ночной тишине, затарахтел, закудал, как гигантская вочка, лейтенант сел за руль, Лукашов позадил него.

Быстро минув станицу, мотоцикл выскочил на шоссе. Холодный ночной ветер резко бил в лицо, заставляя сжигаться под брезентом. Митя глядел по сторонам уже знакомой дороги: справа бежали колхозные виноградники, слева — густая полоса нескошенной ржи.

Митя вспомнил вдруг сегодняшний разговор в кузове УАЗа — платить или не платить шоферу-геодезисту, вспомнил озорное, веселое лицо шофера и улыбнулся.

— Вы тех поймали? — спросил Митя, стараясь перекричать шум мотора и свист ветра.

— Поймали. Всех поймали! — ответил лейтенант и прибил газ.

16

Митя провел в маленькой пустой комнате, где на стенах местами обвалилась штукатурка. Рядом с дверью висел пыльный потусневший плакат краснощекого донора, на лице которого цвела ослепительная улыбка. Напротив стояла колченогая скамья, отполированная от долгого сидения и лежания на ней. Мите приятно было разлечься на спине, чувствовать телом прохладную, скользкую поверхность. Это напоминало верхнюю полку общего вагона, где нет матрацев, не дают белья и где, может быть, поэтому с особой силой чувствуешь, что ты в дороге. Митя любил ездить в общих вагонах. Лежишь на жесткой полке, смотришь в окно, за которым проливаются поля, густые зеленые лесопосады, розовые домики на разьездах, добрые напутствия «Счастливого пути!», выложенные из камня на откосах, а иногда вдруг застнет гулко под колесами железнодорожный мост и свернет под ним извилистое тело полноводной реки. Ах, как хочется тогда прыгнуть

вниз головой в эту жуткую сверкающую бездну!.. А то проплывает мимо какой-нибудь поселок или деревенька с аккуратными домиками под красными черепичными крышами, с голубыми ставенками, с новыми тесовыми крыльцами, как близнецы, похожими друг на друга. Высокая девушка в цветном напроном платочке, с коромыслом, которое фигурной скобкой свисает с крепких покатых плеч, весело щурится на солнце, да ветерок от пробегающих мимо вагонов, пережидая, когда пройдет поезд и можно будет осторожно перейти через железнодорожное полотно. Она успевает заметить тебя в открытом окне вагона, бойко подмигнуть. И в душе твоей заливает вдруг каждая жилочка! Высунувшись в окно, ты замашешь ей рукой, а она, словно нехотя одавивая, шевельнет плечом, приподнимет лежащую на коромысле руку, два раза коротко и плавно взмахнет ею и скроется навсегда в лучах горячего солнца.

И сейчас Митя лежал на полке, только перед глазами неподвижно висел плакат краснощекого донора. «Эх, — вздохнул Митя, потянулся и сел. — Долго меня будут держать в этой камерке? Он подошел к окну, забранному изнутри решеткой. Клочком пакли, влявшейся в углу, смахнул со стекла плотный слой пыли. В комнате стало светлее. В окно Митя разглядел грязный двор с массой деревянных пристроек и сараев. Посреди него стояло корыто с водой, и с десяток кур важно расхаживали вокруг, нервно потроша щепки и комочки сухой земли. «Милицейские куры, что ли? — лениво подумал Митя. — Ах, как скучно! — Он прошелся из угла в угол, сел на лавку. — Что делать? Чем заняться?..»

— Что бы такое сделать? — сказал он вслух. Вскочил со скамьи и еще раз прошелся по камерке: пять шагов из одного угла в другой, пять — назад.

— Что же делать? — спросил Митя самого себя, пожал плечами и принялся ходить из угла в угол и напевать под нос: — Что же делать?.. Что же делать?.. Что же делать?.. Чем заняться?..

Через полчаса он остановился и смахнул с кончика носа каплю пота. Было жарко. Он сел на скамью, тяжело вздохнул, но вдруг подскокил, хлопнулся коленками об пол, зашарил руками и наконец схватил... таракана. «Как я ловко! — самозавольно подумал Митя. — Чуть было не уплыл!..» Он сел на скамью, почувствовал, как таракан перебирает лапками в неплотном сжатом кулаке, и приоткрыл его. В проеме между большим и указательным пальцами показалась черная тараканья головка с загнутыми дугами усов. Митя сжал кулак плотнее, так что таракан больше не мог двинуться, и сказал:

— Здорово, брат!

Таракан стал усердно царапаться лапками.

— Не убежишь, — улыбнулся Митя. — Волей-неволей придется тебе делить со мной свой досуг.

Таракан притих.

— Скучно, брат! — пожаловался Митя.

В ответ таракан опять зацарапался лапками.

— Ну, ладно, ладно, поезжай, — Митя разжал кулак, таракан пробежал по указательному пальцу и плюхнулся на пол.

— Все равно вены не уйдешь, — сказал Митя, отдирая драпку от стены в том месте, где обвалилась штукатурка, и преграждая таракану путь щелкой. Таракан остановился, в раздумье пошевелил усам, повернул и побежал назад.

— Какой великолепный ты таракан! — сказал Митя. — Просто чудо! Давай дружить! — И вновь преградил таракану дорогу. Таракан подумал и повер-

нул назад — он явно не принял Митино предложение.

— А я тебя не пущу,— сказал Митя, воздвигая щепку перед тараканами усами.

Таракан не проявлял никаких признаков жизни.

— Ах, ты, притворщик,— засмеялся Митя, а таракан, воспользовавшись паузой, юркнул в щель под плинтусом и скрылся.

— Убегал,— растерянно сказал Митя и так вздохнул, будто это была одна из самых серьезных потерь в его жизни.

Резкая тень от оконной решетки, казалось, застыла на пыльном полу. Но с каждым часом она незаметно увеличивалась, росла, становилась более расplyвчатой. Когда она добралась до противоположной стены, Митя потерял всякое терпение. Ему хотелось есть, но про него словно забыли. Он вспомнил вчерашние шашлыки в ресторане, и голова у него закружилась, под ложечкой засосало еще сильнее. Он подошел к двери, изо всей силы ударил по ней ногой так, что старая дверь задрезжалась, и крикнул:

— Да скоро меня выпустят, к чертовой матери! Щелкнул замок. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату заглянул коренастый сержант, похожий на донора с плаката.

— Чего раскричался? — сказал он недружелюбно. — Дури в голове много? Выходи!

Они пошли по темному прохладному коридору, спустились вниз по каменной лестнице. Сержант открыл голубую дверь с табличкой, которую Митя не успел прочитать, и протолкнул его в светлый кабинет.

За большим письменным столом, на углах которого сохранились треугольнички пыли (Митя, заметив это, подумал о том, что уборщица здесь ленива и недобросовестна), сидел пожилой капитан. Седой пышный чуб, наспавший на лоб, курчался колечками, будто ему только что сделали электрическую завивку.

— Садитесь,— сказал капитан густым приятным голосом. Он откинулся на спинку кресла, с минуту разглядывал Митю и наконец сказал: — Да!.. «Что «да»? — подумал Митя, раздражаясь.

— Иванов! — крикнул капитан.

В комнату вкатился маленький толстый человечек с розовой блестящей макушкой.

— Я, товарищ капитан.

— Садись, будешь протокол писать.

После обычных вопросов: фамилия, имя, отчество, год рождения и т. д. — капитан попросил рассказать о том, что произошло в ресторане и потом, на улице.

Митя хотел рассказать как можно короче, но капитана интересовали детали: пили ли в ресторане, что сказал такой-то, что ответил ему, как начался драка, кто кого ударил первым, как ударил, что произошло потом... Митя рассказал все, что помнил.

— Уж очень они все пьяны были,— закончил он, — поэтому и отделился я так легко.

— Да ведь и вы были нетрезвы,— заметил капитан? — Почему вы сразу после драки уехали в Щедрин? Почему не обратились в милицию? Не обратились даже в больницу, ведь вам нанесли телесное повреждение?..

Митя оцупал корочку затянувшейся ранки на голове, выстриженный Наташей вокруг нее кружок волос.

— Рана пустяковая,— сказал он, чувствуя, как по телу пробегает холодок в тот момент, когда палец прикасается к ранке.

— Все же почему вы сразу уехали из Щелково-

ской? Вероятно, чувствовали за собой какую-то вину?

— Да нет же! — сказал Митя раздраженно. — Просто хотелось скорее домой.

— А вы не кричите, молодой человек! — строго предупредил капитан и нахмурил брови. — Не в ресторане находитесь... Вы подорозреваете в нанесении тяжких телесных повреждений Ступову Сергею Ивановичу. — Капитан с сухим треском забарабанил по столу пальцами. — Может быть, дело пойдет и об убийстве.

— Что?.. Кого?.. Я?.. — Митя показалось, что капитан шутит, и он улыбнулся.

— Очень просто,— сказал капитан, заметив улыбку. — Ударил, сбил с ног, а он — головой об асфальт. Сотрясение мозга. Врачи говорят, в безнадежном состоянии. Один шанс из тысячи. Кино такое было, видал? Вот у него то же самое... А может, он уже и того... пока говорим мы тут с тобой.

— Но я... не мог... — сказал Митя, откровенно глядя на плохо выбритый подбородок капитана и все еще надеясь, что это неправда. — Я... — Он пожал плечами и вдруг почувствовал, как напряглась, вздулась под тесной рубашкой широкая мышца спины, и с ужасом подумал: «Конечно, мог...»

— Вот так-то, парень, будут тебя судить... Митя не помнил, как он вернулся в свою каморку, как захлопнулась за ним дверь, как щелкнул замок.

17

Он понимал, что спит, и сквозь сон чувствовал, как щемящая боль, начавшаяся с той минуты, когда он поднимался по каменной лестнице, туло саднит в груди. Ему казалось: надо глубоко, как можно глубже вздохнуть, и боль пройдет, улетучится вместе с дыханием, но глубоко вздохнуть не было сил. Белые облака пролетали над его головой и величественно опалили за розовый горизонт. Он спрашивал у Наташи, какое из них настоящее, а она смеялась, запрокинула голову, скосил глаза: «Да они все настоящие!» «Неужели все?» — удивился он и... проснулся.

Нудно ныл затылок, как будто содрали с него кожу, и резало в глазницах, вверх, под веками. Тепло свело в неудобной позе: правая нога затекла, в голень левой, застывшей на весу, впилося ребро скамьи. Митя лежал как бы и на боку и на спине одновременно. Он пошевелил пальцами правой ноги и попробовал положить ее на скамью, но нога не слушалась. От ступни по голени, по бедру и выше, по спине, по шее, даже, казалось, по кончикам ушей пробежала прохладная волна мурашек. Митя пожегился и с трудом сел, опуская на пол вторую ногу. В окно мягко лился бледный свет луны. Он чертил на противоположной стене кривоугольные клетки решетки. Часть света падала на плакат донора и делила на клетки его улыбающееся лицо.

Первая мысль, которая пришла Мите в голову: бежать! Он вскочил на ноги, воровски огляделся, ступил шаг, охнул и осел на затекшие ноги. «Сейчас это пройдет!.. Сейчас!..» Какая-то сила шкестала под ребрами, поднималась с пола: «Встань! Беги!..» Но как? Он встал на четвереньки, царягла руки о комочки сухой штукатурки. Куда? Поднявшись с пола, прислонился к стене; ноги дрожали и едва служили подпорками. Он закрыл глаза, вытер со лба холодный пот. «Сейчас! Сейчас!.. Надо собраться с силами!..» Придерживаясь за стену обеими руками, как слепой, добрался до двери, осторожно

надавил на нее плечом. Дверь жалобно скрипнула, стукнула замком и не поддалась. Он надавил сильнее, упершись снизу коленом. Тот же результат. «Черт!» — выругался Митя, бросаясь к окну — слабость в ногах прошла, — и, вцепившись в решетку, трянул ее так, что от стены над подоконником отвалился кусок штукатурки.

Разгоряченный первоначальным успехом, он долго тряс решетку, но она не дрогнула. Он смел с подоконника на пол куски штукатурки и, облокачившись о шершавые доски, заплакал.

В окно был виден опустевший двор. Черные строения сараев громадились одно за другим. Посреди двора стояло корыто, по всей поверхности воды отражалось лунное сияние, словно это была не вода, а сам лунный свет, строго отмеренный в корыто чьей-то неведомой рукой. Набравший ветерок поднял на воде рябь. Лунный свет дробился и словно звал его: «Сюда! Сюда!» Черные сараи отбрасывали длинные черные тени, которые надежно укрывали под собой добрую половину двора. «И тебе хватит там места, — думал Митя, — Беги!». Но как?..»

Он обошел несколько раз комнату, ощущал каждый метр стены, попробовал в одном месте, где отвалился кусок штукатурки, руками отодрать драпку, но безуспешно, лишь до крови расцарапал руки.

В изнеможении опустился он на скамью, прислонился спиной к холодной стене, и вдруг ему показало, что он прислонился к холодному трупу. Ужас пронзил его мозг, все тело. «Неужели он теперь такой же холодный!» Митя отскочил к двери и изо всей силы затряс ее. Вопль «Выпустите меня отсюда!» застрял в горле и судорожным комком сжал непослушный язык. Дверь вдруг глухо стукнула, накричавшись, за ней лягнуло навесной замком, и Митя увидел, что она держится на одной нижней петле: верхняя, разболтанная, расшатанная годами, отвалилась. Сняв ветхую дверь с нижней петли не стоило теперь большого труда. «Господи! — воскликнул Митя, приподнимая дверь. — Господи!»

Он вышел в образовавшуюся щель. Темный коридор, в конце которого тускло сиял электрическая лампочка, дохнул плесенью, холодом цементного пола. Не веря тому, что произошло, Митя медленно пошел на свет лампочки. Тихо. Только его, Митины, шаги невыносимо гулко разносятся по всему зданию. Он снял туфли, взял их в руки и босиком дошел до каменной лестницы. Ступенька, две, три...

Он перенулся через перила. В вестибюле, на столе дежурного, горела настольная лампа. Дежурный сидел к Мите спиной, облокотившись на стол и поскрипывая головой на руки. «Спит или не спит?» Митя выждал пять минут, десять. Милиционер не шевелился. Тогда Митя стал сходить с лестницы, осторожно, быстро, бесшумно, удивляясь своей необычной ловкости. Вот он уже в вестибюле. Куда идти? Направо? Налевое? Он огляделся. Увидел под лестницей маленькую дверь. Туда!..

Он прикрыл дверь и в изнеможении привалился к ней спиной. Перед ним был двор, который он видел из окна своей комнатки.

Крэдучись, Митя миновал деревянные сараи. В одном из них всполошено закудахтала курица, и Митино сердце забилось так оглушительно громко, что он испугался: не слышит ли кто? Ворота были открыты. Он вышел на улицу, параллельную той, на которой стояло здание милиции, и пошел прочь.

Митя не верил своей свободе. Может быть, это сон? Странная пустота была в груди, в голове; в ушах звенело. Холодный ночной воздух цекотал в носдря, хотелось чихать, но Митя изо всех сил

сдерживал себя; несколько раз из его горла вылетели странные звуки, похожие на приглушенный крик лошади.

Пустынная улица пугала черными глазами домов. В каждом окне мелькала что-то рыжее. То ли отблеск далекого уличного фонаря, то ли его волосы. Он стоял за каждым деревом и провожал Митю долами, сверяющим взглядом. Глаза у него тоже были рыжие. «Вернись! Вернись! — шептал он бескровными, холодными губами. — Ведь никуда ты не убежишь, никуда!»

Внезапная острая боль пронзила ногу. Митя ойкнул и сел на траву. Увидел, что он босиком — туфли держит в руке — и что большая колоколька, обломившись, вошла в мякоть ступни. Эта боль словно вернула ему сознание. Он вытирал занозу, огляделся.

Была светлая ночь — полнолуние. Лунный свет затмил собору почти все звезды. Ласковый прохладный ветерок шевелил его мягкие волосы, словно чья-то добрая, нежная рука.

Он пошел назад. «Сбежать хотел. Дурак! Я на самом деле чуть не стал настоящим преступником. Скорей, скорей, пока меня не хватились!» Он побежал. Вот и черные распахнутые ворота, двор, корыто с водой, сараи, маленькая, узкая дверь. Митя открыл ее, выглянул из-под лестницы. Дежурного за столом не было. Сердце у Мити оборвалось: неужели побег его обнаружен? Он шмыгнул под лестницу, в темный, пропитанный плесенью угол, замер, прислушался. Прячась в тени лестницы, оглядел вестибюль. Никого. Митя взошел на первую ступеньку и услышал вдруг громкие, мерные шаги. Он понял, что не успеет взбежать вверх по лестнице, и одним прыжком юркнул на прежнее место. Шаги приближались. Огромная, расплывчатая тень влезла на дверь под лестницей, но вдруг замерла. Шаги стихли. Митя вжался в стену, стараясь раствориться в ней, в ее сырых, шероховатых неровностях. Тень дрогнула и надвинулась еще ближе. Все конечно! Сейчас его окликнут. Тень взмахнула огромными руками, и Митя услышал долгий смачный звонк. Неожиданно он почувствовал, что тоже хочет звенеть, и ужаснулся, подавляя в себе это нелепое желание.

Тень отдалилась. Послышался звук отодвигаемого стула. Громкий треск бумаги заставил Митю вздрогнуть.

Несколько минут тишину ничто не нарушало. Тогда Митя решился выглянуть из своего убежища. Милиционер при свете настольной лампы просматривал за столом газету.

— Хм, надо же, — сказал он вслух и покачал головой, видимо, удивляясь прочитанному.

Митя в испуге нырнул под лестницу, ему показало, что милиционер окликнул его. Но тут же он понял: то, что сказал дежурный, относилось не к нему, — однако выглянуть еще раз не посмел. Он сиrotливо жался к стене и думал: конец! Так глупо, так нелепо влипнуть!

Ноги окоченели на цементном полу, но надеть туфли он не решился: мог нечаянно стукнуть ими об пол. И Митя ежился от леденящей струи холода, охватывавшей его тело. Он хотел, он мечтал и не мог пробраться к месту собственного заточения, и это было для него губительно, и он, вдруг понял, что жизнь его рушится, рушится навсегда, что самое страшное было не тогда, когда он узнал, что убит человека, самое страшное было сейчас, под этой лестницей, в этой жуткой ночной тишине, прерываемой вздохами сидящего за столом дежурного.

Сколько времени он простоял под лестницей: час, два? Ему казалось, вечность. И когда он услышал, как отодвинули стул и по коридору влево зазвуча-

ли удаляющиеся шаги, он не поверил. Но не верил только мгновение. Медлить было нельзя. Он рванулся! Лестница, темный коридор, вот она, дверь, сиротливо кособочится у стены. Митя торопливо просунул в свою каморку, прикрыл щель и в мгновение ока насадил дверь на нижнюю петлю. Прислушался: «Обошлось?» Тишина. В соседней комнате неутомимо стучит сверчок. «Обошлось!» Он глубоко вдохнул и засмеялся счастливым смехом, словно он только что тонул в проруби, потерял всякую надежду на спасение и вдруг его спасли! Перед глазами, как в черном калейдоскопе, все мелькало: лестница, коридор, дверь... лестница, коридор, дверь... Прижко, еще прижко — дверь...

Серый потолок в трещинах, стены с обвалившейся штукатуркой, скособоченная дверь и даже донор показались ему теперь родными, близкими, он готов был расцеловать их, засыпать десятками самых ласковых, нежных имен. От радости он долго не мог прийти в себя, смеялся, вздрагивал, прислушивался к ночной тишине, опять смеялся. Но, наконец, успокоился, и внезапная сонная одурь свалилась на него. Митя прилег на лавку, закрыл глаза, но через минуту понял, что заснуть не сможет, сел, прислонился потной спиной к холодной стене. «Неужели я и теперь такой же холодный?» — подумал он. — Наверно, его уже в землю зарыли. Нет, вряд ли... Он попытался представить себе, как это рыжий мужчина лежит в гробу, но не смог, он даже не вспомнил его лица, а вспомнил вдруг смерть отца и его похороны. Вместо отца в гробу лежал кто-то другой, похожий на него. Митя поразился: до чего он холодный, когда приоткрыл к рукам, сложенным на груди. Из-под воротника голубой рубашки выползал на желтую шею черный шов: отца вскрывали — он умер скоропостижно, на работе. Инфаркт... Мите было девять лет, и он не особенно понимал, что же, собственно, произошло. Вокруг него плакали, качали головами, называли сиротой. Он видел, что все плачут, и тоже старался выдать над гробом две-три слезинки. Во дворе мальчишки жалели его, каждый отдал ему чуть ли не все свои альчики¹, и он радовался: «Во, какой я богат стал!» Сосед из их дома, дядя Ваня, решил даже для чего-то сфотографировать Митю собственным фотоаппаратом. Митя обрадовался, сел во дворе на врытый в землю стол, за которым мужчины играли по вечерам в домино, и не мог подавить глупой счастливой улыбки, глядя в объектив фотоаппарата. Митя всю жизнь стыдился этой плохойкой фотокарточки: серый осенний день, голые ветви облетевших деревьев, и он в школьной форме, кирзовых сапожках, со счастливой улыбкой на лице.

Когда вечером он пошел в комнату, где стоял гроб, мать обняла его и, плача, спросила: «Митечка, как мы жить с тобой будем?..» Мите очень жалко стало маму, он не мог видеть ее слез и тоже заплакал. «Не плачь, — утешал он ее сквозь слезы, — мы с тобой будем в кино ходить каждый вечер...» И он ясно представлял себе неоновые огни городского кинотеатра, лоток с мороженым, которого можно есть сколько захочешь, и он с мамой, взяв ее за руку, идет смотреть «Илью Муромца» в двенадцатый раз.

На кладбище, перед тем, как закрыть гроб крышкой и опустить его в могилу, мать и его, Митю, подвела проснуться с покойником. Мать упала на гроб, и ее силой увели, Митя нагнулся над гробом, уткнулся в лбу и в складке рта капли дождя и, переливаясь слезы, прикоснулся губами к холодной голове. Мужчины, оскальзываясь на мокрой от дождя земле, нагнувшись на гроб красную крышку и, перегова-

риваясь, по-деловому стали забавить молотком гвозди. Этот звук отозвался в Митиной голове, заступал в ней, и только тут Митя заплакал в голос, словно понял наконец, что произошло. Оркестр заиграл похоронный марш, гроб стали опускать в яму на толстых, мокрых, испачканных глиной веревках, о крышку заступали первые комья земли. Кто-то подвел Митю к краю ямы и сказал, чтобы он кинул в нее горсть земли со словами: «Пусть земля тебе будет пухом». Митя взял с бугорка скользкий комок глины, швырнул глину на мокрую крышку гроба, поскользнулся, заплакал еще сильнее. Его увели в автобус, а дома ему разрешили вместе со взрослыми выпить целую рюмку водки. Его ласкали, сажали по очереди к себе на колени, и было хорошо, уютно, за окном уже порхали белые, тающие у земли снежинки...

Митя встал, подошел к окну. Мертвенно-бледный свет луны парил над землей: приближалось утро. «Неужели он такой же холодный и неподвижный, как тогда отец?.. — подумал Митя. — И уши у него такие же жесткие!.. И щетина все растет на подбородке!..» Митя оперся лбом на холодное стекло, почувствовал, как на левое ухо осела паутина. Это он, отец, научил его драться, это он внушал ему, восьмилетнему мальчику: «Не бойся быть в лицо. Противник сильнее тебя, а ты будь злее. Бей, чем попалось: камнем, палкой, не можешь бить — кусай, зубами рви, но победи! Всегда бей первым! Если ударил первым, считай, что половина победы за тобой!» «А я ударил вторым, — подумал Митя. — Вторым...» Он вспомнил, как однажды, ему было года три, соседский мальчик побил его во дворе, из носа пошла кровь, Митя заплакал и побежал жаловаться отцу. Но вместо того, чтобы заступиться за него, отец выслушал жалобу сурово. «Свои дела разбирай сам, — сказал он. — А если в другой раз придешь ко мне жаловаться, я сниму ремень и добавлю: не ходи, не объединяй. Обидели — дай сдачи, не можешь — переплыв во дворе, чтобы никто не видел, и приходи домой с сухими глазами.» С тех пор Митя так и делал: когда его обижали, он уходил в самую дальнюю часть двора, за деревянные сараи, садился на корточки, прислонялся спиной к шершавым доскам, и слезы лились из его глаз. Митя был физически сильнее многих своих сверстников, но он боялся бить противника в лицо. Ему было жалко. С годами он преодолел эту слабость. Тот день, когда он впервые ударил в лицо, запомнился ему на всю жизнь. Он повздорил с Сашкой, мальчиком из их двора. Митя катался по двору на велосипеде, а Сашка ухаживался зади за багажник и остановил его. «Пусти!» — сказал Митя. «Не пуцуй», — сказал Сашка. «Пусти!» «Не пуцуй!» «Пусти! В морду дам!» «Ух ты, какой шустрый!» Митя слез с велосипеда, прислонил его к стене дома и сказал: «Пошли за сараи!» За сараями проходили все дворовые драки, там дрались даже старшие мальчики — двенадцати-тринадцать лет. «Пусти!» — сказал обидчик, и его рыжие глаза лукаво блеснули. Они зашли за сараи, встали друг против друга возле большого гладкого камня, из которого старшие ребята тайком от взрослых играли в карты. «Чего лезешь?» — сказал Митя, распаяя себя. «А ты чего?» — с насмешливой улыбкой сказал Сашка. «Учем велосипед держал?» «А что, нельзя?» «Нельзя!» «Ах ты, какой шустрый!» «Сейчас зафинтигу в морду!» «Попробуй только.» «Свинья!» «Сам свинья!» «Смотри, получишь!» «Сам получишь!» Они толкались, сопили друг на друга, размахивали руками. И вдруг произошло чудо: Митя отошел на два шага и с разбегу ударил Сашку в лицо, но не кулаком, а ладонью. Сашка отскочил назад, завизжал от злости и бросился на Митю, стараясь подбить ему

¹ Альчики — кости для детской игры.

глаз, но Митя левой рукой ловко отпарировал удар, а правой опять ударил Сашку по лицу, на этот раз кулаком. Дрожь от воинственного пыла, он рвался вперед, уверенный в справедливости своего гнева. Драка была долгой и упорной. Наконец из одного глаза Сашки выпорхнула светлая слезинка и покатилась вниз по щеке. Это была победа! «Что, получил!» — сказал Митя, опуская руку. Противник ничего не ответил. Его лицо было красно, словно на нем давили ключом. Закусив губу, он повернулся и пошел прочь. Не помня себя от радости, Митя побежал домой. «Па! — крикнул он, врывается в комнату.— Па! Я Сашку побил! Я его целых двенадцать раз в лицо ударил, я считал!» «Чему же ты радуешься!» — удивленно сказала мама. «Поздравляю!» — сказал отец, улыбаясь, и, как мужчине, пожимая руку...

«Как все глупо! глупо!.. глупо!.. глупо!» Митя стиснул зубы и ударил кулаком в стену. Из-под полуболи, величавшейся штукатурки осыпался на пол песок, и, прислушавшись, Митя подумал, что песок осыпается с таким звуком, как сахар из кульки, когда его сыпашь в сахарницу и по бумажным стенкам бегут последние кристаллики. «Как глупо...»

Митя принялся ходить из угла в угол, считать шаги. «Пять, шесть... десять... двенадцать... двадцать пять... сорок... уже сорок?... шестьдесят... Кажется, я сбился со счета: пятьдесят девять. Что делают сейчас девчонки? Наверно, сидят на раскладушках и болтают... Шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять... А может, они здесь, в Шелковской? Нет, вряд ли. Приезжали они днем?... Семьдесят, семьдесят один... Как хочется есть... Хотя бы корочку хлеба. Но как я ее съем? Буду подносить ко рту вот этими руками, руками, которыми я убил человека!» Он посмотрел на свои руки. Отращивание к собственным рукам было так велико, что ему захотелось избавиться от них — только бы не видеть, не чувствовать этих противных, грязных пальцев. «Какая я мерзость!» — подумал он.— «Какая мерзость!» В эту минуту он ненавидел себя, свое молодое, здоровое тело. Ему захотелось разбить стекло, просунуть голову в решетку и каким-либо образом задавить себя или осколком стекла перерезать горло, но он тут же испугался этой мысли и даже отвернулся от окна, чтобы не видеть его. От этого он стал еще более противен себе. «Трус!» — подумал он.— «Жалкий трус! Ведь это так просто. Ну, попробуй, что тебе стоит...» Он осторожно, боком, подкрасился к окну, положил на стекло руку, надавил на него. «Нет, как же, будут ругать за разбитое стекло...» Он отошел от окна и сел на скамью. «Как у Дуношки на три думушки...», — вспомнилось ему.— «А откуда первая дума: из-под камушка или из-под берекжа?»

И вдруг совершенно неожиданно ему привиделся жаркий день, когда они купались на Тереке и плавали с Наташей к дальнему повороту. Он показывал пальцем на небо и гадал, кто из них долпывет до поворота первым — облако в синем небе или они в коричнево-серой воде, — а потом сидели с Наташей в жесткой, сухой траве, целовались, ее горячее тело пахло травой, молодостью и еще каким-то особым, сладким запахом. Митя растерялся на ее спине голубой лифик купальника, Наташа закрывала на него, стыдливо прикрываясь руками, но он привлек ее к себе, потянул лифик вниз и стал целовать белое, странно выделявшееся на загорелом теле груди, упругие, подвижные, живые. И тогда Наташа поцеловала его сверху в голову и, улыбаясь, стала гладить его волосы.

Это было несколько дней назад, а казалось, прошло год. Еще вчера светило солнце, рядом была

Наташа, и мир, казалось ему, представлял единую цепь переплетенных между собой двух слов: «счастье» и «любовь», — а сегодня под ногами вместо травы скрипел песок, вместо просторной комнаты, в которой они жили, его окружали стены маленькой каморки, в которой было единственное окошко, да и то затнутое решеткой. В окошко жалостливым взглядом смотрела Аниська, вздыхала, подперев кулачком щеку, и качала головой: «Что ж это ты, Митенька, не уберег себя!» И он почувствовал душный запах жареной картошки, когда Аниська сняла со сковородки крышку и горячий пар ударил в нос, а дед Антип разливал по стаканам рублиновый чихирь и, подмигивая левым, в красных прожилках глазом, брелчал на балагайке и бубнил под нос: «Тренди-бренди-виски-шенди».

«Неужели е му на роду было предназначено умереть от моей руки? Неужели, родившись, он был уже обречен и только не знал этого? Взглянуть бы на ладонь е г о левой руки: короткая у него «длинная жизни» или длинная? Если короткая, тогда все правильно. А если длинная? У меня длинная. Проходит через всю ладонь и даже выходит на тыльную сторону...»

Смерть привыкли изображать в виде скелета, с костью, а для е г о, для этого рыжего, образом смерти стал я. Разве я виноват? Невольный, беспомощный убийца... И все от одного невольного, вернее очень ловкого движения руки. Движение руки — и человеческая жизнь... Какая хрупкая машина человек! Р-раз — и сломалась, и уже невозможно ее починить — вставить новый винтик или гаечку...»

Он никак не мог понять, как случилось, что Наташа приехала не поездом, а автобусом — ведь тогда бы она не увидела этот проклятый ресторан, — что приехала она именно позавчера, а не вчера — ведь ей ничего не стоило задержаться на один день в городе, — что выбрали они для посещения ресторана именно послеобеденное время, когда там были те люди, среди которых был он, и что пели за столом «Философскую» — ведь не спой они этой песни, на них, вероятно, не обратили бы внимания. Митя вспомнил, как неловко он себя почувствовал, когда кончили петь, и как, смущенно покашливая, оглядывался по сторонам.

Каким образом все эти незаметные обстоятельства слепились в неразрывную связь и решили его судьбу, превратились из ряда мелких, частных случайностей в чудовищную неизбежность? Ну, задержался он хоть на полчаса, ну, не подвернулся им этот УАЗ с веселым шофером, и — кто знает! — все было бы по-иному.

«А что еще могу я сделать? — внезапно ожесточаясь, подумал Митя.— Что?! Отдать себя на растерзание этим пьяным скотам — толчите меня, убивайте! А ведь истоптали бы и, увидев, что убивают, убили бы. Красные азартные рожи с безумием в глазах. Что им нежное голубое небо, солнце, зеленые листья на деревьях, что им Пушкин, Толстой, Бунин! И ведь растоптали бы, не вырвись я из круга, или та пьяная скотина в шляпе, гонявшаяся за мной по площади, пирула меня ножом, если бы смогла, вот сюда, в живот, и лезвие вошло бы в меня бесцельно по самую голубую пластмассовую ручку...» Митя согнулся, представив прикосновение голубого гладкого лезвия к своему животу.— Ведь он хотел убить меня. Меня! Меня... И сейчас в моих полукрытых стеклянных глазах мог отражаться темный угол мертвецкой...»

Ночь заметно потускнела, и ровный диск луны побледнел и висел у самого карниза шиферной крыши. У Митя закружилась голова, и вдруг он вспомнил, что однажды у него вот так же кружилась го-

лова, больно было дышать и ему казалось, что он умирает. Это было в прошлом году, во время занятий на военной кафедре. Их вывели на учебный полигон. Полигон располагался за городом, на пологом склоне невысокой горы. На вершине отдельного холма вилась узкая змейка траншеи в половину человеческого роста. Был урок по тактике: «Артиллерийская разведка. Скрытое занятие НП, наблюдение за противником и оставление НП». Их взвод выгулялся из машины и построился по отделениям. Митя был командир второго отделения. Поношенный синий комбинезон, защитная фуражка, на ногах болтались большие сапоги — Митя чувствовал, как острые кнжики вылезших гвоздей царапают и рвут новенькие нейлоновые носки. Слева у пояса висел противогаз в брезентовой сумке, рядом — чехол с красным и белым сигнальными флажками, справа на боку саперная лопатка, на груди болтался бинокль, на правом плече автомат, а в левой руке он держал большой, больше, чем в половину квадратного полуметра, планшет с картой местности. Подполковник Демин, их курсовой офицер, указал направление предполагаемого противника, поставил отделение задачу: скрытно, перебежками занять траншею для наблюдательного пункта с учетом времени. Он и командир взвода, Митин однокурсник, поднялись пешком на вершину холма. До траншеи было метров двести.

Митя торопливо наставлял свое отделение: «Ребята, самое главное, не перебегайте вон тот участок, у столбика с пометкой, там надо ползти, потому что местность очень хорошо просматривается и «противник» может заметить. И там, на вершине, последние метров двадцать тоже надо ползти. Ясно?»

С холма махнули флажком, и первое отделение скучно побежало к траншее, падая, поднимаясь, снова падая. «Видите, как они идут кучей. Надо рассредоточиться, рассредоточиться. Вот болваны!» — горячился и перебегайте Митя, как будто на самом деле он был на войне и противник мог обстрелять скучившихся, перебегавших «опасное» место товарищей. — Там же ползок надо! Ползок! — кричал Митя. — Вот болваны!»

И когда подполковник с высотки махнул флажком во второй раз, Митя крикнул: «За мной!» — стащил с плеча автомат и побежал, пригибаясь, в гору по ярко-зеленой весенней траве. Бежать было тяжело, неудобно. Сапоги бухали и норовили на ходу соскочить с ног, встречный ветер дул в планшет с картой. Планшет путался в ногах, Митя не мог поправить его, потому что в другой руке держал автомат. Он спохватился, что бегут они слишком долго, крикнул: «Ложись!» — и сам бросился с разбега на жесткую землю. Они проползли метров десять, снова поднялись и побежали. Фуражка съехала на лоб, козырек прикрывал глаза, было плохо видно. Пот лил ручьями по спине, по ногам, по лицу. «Ложись!» — и снова повалился на землю, чувствуя, как неудобно упирается в грудь бинокль, как неловко завалился в руке автомат и содрал мужскую кожу на левой руке. Ползти было тяжело. В нос ударял запах пыли, она поднималась от земли невысоко, как раз настолько, чтобы влезть в рот, в глаза, в уши. А когда проползли последние двадцать метров и свалились в траншею, у Мити потемнело в глазах и перед ним запылали красные и золотистые круги. Он не мог перевести дыхания, чувствовал, как похолодела руки, ноги, и сквозь надтреснутый звон в лопнувших, казалось, ушах услышал замечание одного из товарищей, что он бледен, даже позеленел. К горлу подкатывала тошнота, что-то сухое, как наждак, раздирало его внутри. Он положил на бруствер планшет, автомат и

сам повалился на них сверху. Ему казалось, что он умирает. Подполковник приказал построиться. Митя не помнил, как очутился в строю. Он стоял с закрытыми глазами, его грудь судорожно вибрировала воздухом, и, как во сне, он услышал, что подполковник Демин объявляет ему, командиру второго отделения Дмитрию Косолапову, благодарность и всему отделению выставляет отличные оценки.

Потом сидели в траншее, расставляли на треногах буссоли, рассматривали в бинокль улицы поселка, составляли схемы ориентиров, смеялись, громко переговаривались. Мало-помалу Митя пришел в себя и уже видел солнце и траву, горы, зеленевшие за спиной, синее небо в волокнистых облаках, белые домики поселка, далекие трубы кирпичного завода, загородное озеро. Дышать было легко, только руки и ноги сковывала свинцовая усталость, а голова была легкой, и в ней было пусто-пусто. Ребята тоже жаловались на усталость, но были довольны, веселы. «В этом году их повезет на настоящий полигон стрелять из пушек, — подумал Митя. — А я...» И слезы обиды навернулись на глаза, но он сдержался и не заплакал. «Ведь убивали на войне, это считалось геройством!.. Да, но там убивали врагов, а я убил человека. Такого же, как и я сам...»

И вдруг Митя увидел бородатое лицо Николая. Оно смотрело на него добрым, грустным, каким-то собачьим взглядом и говорило ему: «Что, боюсь меня? Убийца, мол. Хоть и говорил с мной вежливо и относился ко мне по-доброму, а все-таки побоялся, а? Ну, признайся... А вот мы с тобой и побратались! Побратались с тобой...»

На дворе закричал петух, и лицо Николая исчезло, как привидение в голосекой сказке. Светало. Укоротились и поблекли тени. Потанул холодным утренним сквозняком. Черный таракан, с которым вчера утром играл Митя, выскокил из норы и, не обращая на него внимания, пробежал по карнизу, по стене и скрылся в щели под подоконником. Зашуршало по крыше дробью, сначала мягко, нежно, а потом все жестче, отчетливее. Запахло мокрой известью. «Дождь...» — подумал Митя и глубоко, всей грудью вдохнул мятный запах дождя.

И вдруг отчетливо увидел перед глазами подошву лакированной туфли. Как он обрадовался, когда от его удара тридцатилетний мужчина тяжело упал навзничь. Он лежал, раскинув руки, задрал оголившуюся до колена ногу на низкий каменный забор. Других подробностей Митя не запомнил: он бросился навстречу второму. Но подошва лакированной туфли врезалась в память: аккуратная, с недавно набитой блестящей подковкой на каблук, с кусочком засохшей грязи под ним и с тремя блестящими точками гвоздей у носка.

18

В два часа дня отворилась дверь, и милиционер, не тот, что приходил вчера, а другой, худощавый, сутулый, поскрипывая новенькими сапогами, повел Митю по тому же темному коридору, каменной лестнице, в тот же кабинет, к тому же капитану с завитым чубом.

— Садись! — сказал капитан грубовато-снисходительным тоном.

«Он говорит со мной, как с преступником», — подумал Митя и пристально посмотрел на капитана, стараясь уловить в его лице хотя бы малейшее сочувствие. Но серые глаза капитана смотрели жестко, и завитой чуб тоже жестко смотрел пустыми глазами лаковыми колес. Митя слышал, как гулко бьется

сердце, какое оно большое, тяжелое. Ему казалось, что оно распаивается внутри створками, как крыльями, и стучит, стучит, стучит...

— Вот что,— сказал капитан.— Девчонки меня замучили. Не хотели выходить из кабинета, пока я не разрешил встречу. Десять минут. Надеюсь, хватит, а то мне некогда. И кроме того... ну да потом...

Капитан показался вдруг Мите самым чудесным, самым добрым человеком, которого он когда-либо встречал.

— Я скоро вернусь,— сказал капитан и, припадая на левую ногу, вышел из кабинета.

Почти тотчас дверь отворилась, и в щель просунулась Варина голова. Ее глаза растерянно шарили по комнате. Остановившись на Мите, они радостно вспыхнули и погасли. Варя, Наташа и Птичкина молча, неуклюже подталкивая друг друга, вошли в кабинет и остановились у двери. Митя поднялся навстречу. Он подошел к Варе, взял ее теплую мягкую ладошку в свои руки и попытался улыбнуться: — Здравствуй, Варя!

Варя, покраснев, отвела глаза, словно ей было неловко и даже стыдно смотреть на Митю.

— Здравствуй... Гм...

Птичкина смотрела на Митю широко распахнутыми глазами, в них стояли слезы. Она сама горячо протянула руку, и Митя благодарно пожал ее.

Он боялся взглянуть на Наташу, но теперь, когда он поздоровался с Варей и Птичкиной, деваться было некуда. Наташа сосредоточенно смотрела в пол, между ее бровями обозначились две нежные волнистые складки. Казалось, она что-то подсчитывает в уме, ее лицо как будто погрузилось: «Девятью семь — сколько же это?» Митя почувствовал, как к голове огненным струйками приливает кровь. Сердце вдруг подпрыгнуло, гулко забилось в горле, под адамовым яблоком, и было трудно вздохнуть.

— Наташа... — только сказал он.

Она, словно выведенная из тяжелого раздумья, мелко, исподлобья взглянула на Митю и опустила глаза. «Так сколько же девятью семь?» — выразило ее лицо.

Митя растерялся, отступил на шаг, показал жестом на черный кожаный диван.

— Садитесь!..

Птичкина отвернулась к двери и вдруг тонко завала по-бабьи. Митя вздрогнул, поморщился, точно железным гвоздем провели по зубам.

— Замолчи! — сказал он резко. — Замолчи!

Птичкина всхлинула и замолкла.

— Что же вы, хороните меня собрались? — сказал Митя как можно веселее и посмотрел на Наташу. Она опустила на диван и царапала длинным перламутровым ноготком кожаную подушку.

— Это из-за нас, из-за нас все,— прошептала Варя, опускаясь на стул у двери и закрывая лицо руками.— Мы виноваты.

— Никто не виноват, так получилось,— сказал Митя.

— Митя! Ну, ничего, ничего... — вскрикнула Птичкина, оборачиваясь к Мите и улыбаясь сквозь слезы.— Не сердись на нас! Мы ведь бабы.— Она вздохнула, всхлиывая.— Где тебя держат?

— На втором этаже. Отдельная жилплощадь. Очень даже волготно, только жратва не густая.

— Не фиглярничай, Митя,— сказала Варя.— Не надо.

— Может, все уладится,— зашептала Птичкина.— Ведь ты не виноват. Мы уже дали свидетельские показания, рассказали, как все было. Тебя оправдают, вот честное слово оправдают!

Митя чувствовал себя неловко, скованно. Изредка взглядывая на Наташу, он боялся сделать лишнее движение. Она не смотрела на него.

— Я все-таки не могу себе представить, не могу понять до конца нелепости всего случившегося... вот этого свидания... — удивленно сказала Варя и, как старушка, мелко затрясла головой.

— Варька, перестань! — крикнула Птичкина.— Перестань, тебе говорят! Вот дура! Митечка, не смотри на нее, не слушай ее. Все будет хорошо, все будет хорошо, вот увидишь... Мы пойдем к декану, к ректору, расскажем, как все было, заставим хлопотать за тебя. Факультет, университет поднимем на ноги, демонстрацию протеста устроим! Ведь люди должны понять...

Митя перебил ее.

— Вот что, Птичка,— сказал он, чувствуя, как в душе его загорается огонек надежды: «А вдруг правда помогут?» — Это все глупости. Вы лучше предупредите мать, да как-нибудь поосторожней, придумайте что-нибудь.

Митя подошел к столу капитана, вынул из пластмассового круглого стакана карандаш и написал на листе бумаги своей адрес.

— Вот, возьми.

Он хотел отдать адрес Наташе, но, заколебавшись, протянул его Птичкиной.

В открытое настежь окно бесстыдно светило июльское солнце. Вкрадчивый ветерок, как котенок, играл с легкой, завывающей над окном занавеской.

— Что, Птичка, не удалась нам Венеция? — сказал Митя.— Ничего, в другой раз... — и подумал, что «другого раза» не будет.

Девушки встали. Наташа оправила платье. Теперь она, казалось, сосчитала, сколько же будет девятью семь, морщинки на ее лбу разгладились.

Митя не знал, как себя вести. Подойти к ним, подать руку или обнять всех по очереди... Но почему-то он постеснялся сделать и то и другое и стоял, переминаясь с ноги на ногу.

Открылась дверь, в комнату быстрой подпрыгивающей походкой вошел капитан.

— Ну, парень, твое счастье! Очухивается крестник-то. Вчера уж было помирал совсем, но я только что звонил в больницу, говорят, ничего, приходит в себя. Такие — народ живучий... Твое счастье, ей-богу, и его, конечно, тоже! — Капитан сел за стол и забарабанил пальцами по пыльному треугольнику.— Мы тут свидетелей допросили, нашли кое-кого: народу-то на площади много было. Получается, и не виноват ты вроде бы... То есть, конечно, виноват... Но... Словом, в состоянии самообороны... Свидетели заявляют... Это, конечно, мое личное мнение... Следствие, думаю, покажет то же самое. Отпустил бы я тебя под расписку о невыезде... Да понадобится, уточнить кое-что... а денька через два ты нам дашь расписку о невыезде — и будь здоров. Пока...

Митя слушал и не понимал, а когда понял, стало вдруг так легко, что Мите показалось, стоит только немного подпрыгнуть — и он пойдет по воздуху, как во сне, мимо капитана, в открытое настежь окно, на залитую солнечным светом мостовую.

Отворилась дверь, на пороге, поскрипывая новенькими блестящими сапогами, появился худощавый сутулый милиционер.

— Проводите его,— сказал капитан.

Эти слова ударили Митю по голове, оглушили, и, уже не глядя на девушек, он пошел вслед за сутулым милиционером.

Махачкала.



А. СИТНИКОВ.

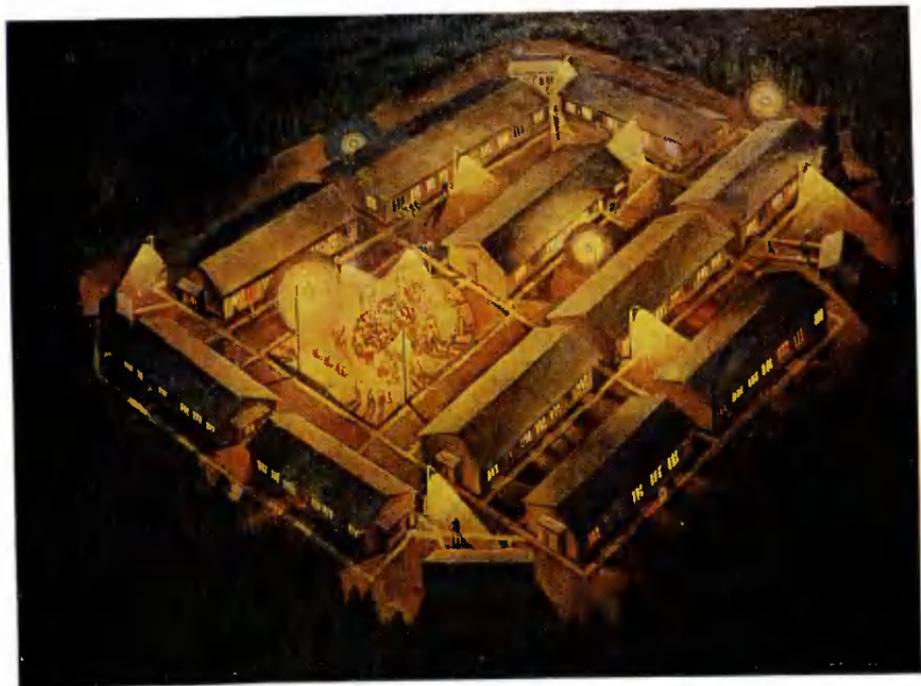
Мои друзья.



М. ФАЙДЫШ.

В поселке Усть-Юган. Тюмень—Сургут.

На стендах «ЮНОСТИ».
Работы молодых художников Марины Файдыш, Андрея Ахальцева, Александра Ситникова.



М. ФАЙДЫШ.

Здесь будет город...
[Вечер танцев
в таежном поселке].

А. АХАЛЬЦЕВ.
Среднее Приобье.



А. АХАЛЫЦЕВ.

Портрет строительницы. Тюмень—Сургут.

ИСА КАПАЕВ

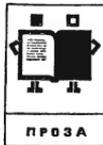
Иса Капаев родился в 1949 году в ауле Эрник-Юрт Карачаево-Черкесской области. После десятилетия учился в строительном институте в Ростове, работал на целине в стройотряде, затем разнорабочим в совхозе. Сейчас он студент Литературного института. Это его первый рассказ.



ВЕРНОСТЬ ОЧАГУ

РАССКАЗ

Рисунок А. СИТНИКОВА.



ПРОЗА

«Если брошенная папаха не сбивает девочку с ног, значит, ей пора замуж», — говорили раньше у нас в ауле. Какой-нибудь богатый старик по имени Аслан-гирей пригонит отцу тридцатилетней Асият двадцать баранов, пару лошадей и загубит девушку. Наши старухи плачут, когда им читают вслух такие истории. Моей невесте, слава аллаху, полных двадцать лет, и никаких лошадей за нее отдавать не надо. Сама ко мне придет, жаль только, что без баранов...

А пока я живу на чердаке, перебрался туда, чтобы шум не мешал. В нашем ауле вошло в обычай смотреть телевизор всем скопом, вместе с соседями. Старики приходят со своими табуретками, дети сидят на полу, таращат глаза на экран, пока не устанут. Иной раз так на полу и засыпают. Тогда матери приходят, уносят... Старухи телевизор не любят, не доверяют «коробке с шайтаном». Когда телевизор капризничает, наш сосед, седобородый Сулейман, посылает какого-нибудь мальчонку за мной на чердак. Я прихожу и настраиваю. Да пусть их!

У меня на чердаке тихо. Вокруг лампы бабочки ночные крутятся. А я читаю. Всякие у меня тут книги. Некоторые я приобрел, жалея сельмаг: пусть план выполняет. Несколько штук извлек из тайников шоферов. А эту, потрепанную, вытащил из-под сиденья комбайнера. Нашел парень на чем сидеть! На живом классике югайской литературы! Гоголя я забрал у старухи Абидаг. Зашел как-то к ней во двор, а она толчет в ступе красный перец. Для мягкости под ступу книжку подложила. Стряхнул я красную пыль: «Вий!» Вот бы, думаю, прочитать это старухе — с ума бы сошла от страха!

Эта Абидаг была двоюродной бабкой девушки, с которой у меня ничего не вышло. Звали девушку Меску. Мои дженге¹, а их у меня две, все уши мне прожужжали:

— Какую еще невесту тебе надо? Лучше не найдешь. Красивая, умная, скромная. То, что надо. Только смотри не прозевай.

Вот что скромная — это точно. Правда, во мне самом этой скромности тоже хоть отбавляй.

- Салам!
- Салам!
- Как день провела?
- Неплохо. А ты?

¹ Дженге — жены старших братьев.

— Я тоже.

После этого мы молча доходили до клуба и молча смотрели кино. А потом, когда мы выходили из клуба, нас уже караулила почтальонша — Каирхан. Она обнимала Меску за плечи, говорила всякие ласковые слова и провожала ее до самого дома. А я, скромный молодой человек, уважающий старших, плелся за ними и шепотом прокинул Каирхан. У этой Каирхан в Москве учился племянник, вот она и старалась, берегла для него невесту.

— Да я ей за это глаза выцарапаю! — грозилась старшая дженге, когда я между прочим рассказывал о проделках Каирхан. — А ты будь мужичной! Девушки настоящих любят. Твой брат проходу мне не давал, а то бы я никогда за него не вышла, — начинала делиться своим опытом старшая дженге.

Но я-то прекрасно знал, как все у них получилось, кто из них проявлял настойчивость. Однако молчал: у нас не принято перечить старшим.

— Меску на улицу вышла, — сообщала мне младшая дженге, — иди скорей, ну что ты стоишь! По-моему, ты не знаешь, как вести себя с девушкой. В первых, надо...

Ну уж младшей-то дженге я мог дать отпор. Тоже мне, без году неделя в нашем доме... Хотя нет, год-то она прожила.

— Не учи меня жить! Своему мужу советы давай, а за меня не беспокойся!

— Эх ты, растяпа... — тонким голосом произнесла младшая дженге.

— Сама растяпа! Лентяйка! За водой по три часа ходишь! Поворачивайся быстрее! А то картошку полоть — я, хлев убирать — тоже я! Что, разве не так? — спрашивал я у нее.

Младшая дженге была толстушка, может, поэтому все делала медленно.

— Ну ладно, хватит, — обижалась она. — Я его жалую, а он...

— Себя жалея! А то мой брат тебе рога наставит!

— У-у! Злой... — Младшая дженге, размахивая руками, набрасывалась на меня. Я убегал от нее.

О похождениях моего брата знал весь аул. Не знала только его жена, и я считал это несправедливым. Все же иногда мне казалось, что она только делает вид, будто не знает...

Обычно младшая дженге приносила мне обед на работу.

— Тенгиз! Тенгиз-из! — слышу я сквозь сон ее тонкий голосок.

— Просыпайся и выхожу на свет, протирая глаза.

— Опять спал! — упрекает она меня.

А что делать? Я разнорабочий. За день две-три машины с шерстью приходят на склад. Разгрузку — и отдыхано. На улице жара, а здесь, в сарае, хорошо, прохладно. Это не значит, что я задаром деньги получаю. Две-три машины с тюками шерсти — это добрых пять-шесть тонн груза.

Я принимаю пить из термоса горячий ногайский чай и слушаю вполуха голосок младшей дженге.

— Кино, да и только! Ты же знаешь, он! — все время спит в летней кухне, а она с детьми в доме. Так она каждую ночь чует не за уши тащит его к себе в постель, а он удирается...

— Не сплетничай, — обрывает я ее.

— Так ведь это между нами, Тенгиз, никто не слышит, — говорит, улыбаясь, младшая дженге и продолжает: — Сам подумай, ну разве он мужичина? А еще агроном. Да какой он агроном? Барана за свои деньги покупает, где это видано! Вон счетовод Аб-

дулла списывает барана с отары — и все в порядке. А он? Да что говорит... А знаешь, что мне жена Рамазана рассказала? Ну просто кино, — толстушка разводит руками, — цирк...

— Ну!

— Так вот, понравился он продавщице новой, Рабият. Пригласила его с друзьями, выпивку поставила, музыку завела, короче, был такой большой гауй! Ближе к ночи Рабият выставила всех друзей, один наш агроном остался. Она закрывает дверь на ключ, а он кричит: «Домой хочу, домой хочу!» Представляешь? — Младшая дженге захихикала. Я ничего не представлял... Это он на летнюю кухню спешил... Я засмеялся.

— Мой — другое дело, — продолжала она, — Настоящий мужичина! Вот с кого бери пример. В твоем возрасте, кроме меня, он еще с тремя девушками дружил. Я ведь, как неприступная крепость, была. Взлзл Приступом! Я же, дура, знала, что натерплюсь от него. И все равно не могла с сердцем сладить...

Подобную откровенность у нас называют куриной откровенностью, но что поделаешь, такая уж была наша младшая дженге, все о себе рассказывала. Правда, о других тоже не забывала. К примеру, жаловалась на старшую дженге нашей самой старшей сестре:

— Не могу я ее понять. За своими детьми совсем не смотрит, грязные все время бегают, сполные. Хотя бы за собой смотрела, так нет — и сама разстрепанная ходит...

Наша дженге недолюбливали друг друга. В свою очередь, старшая жаловалась на младшую:

— Наша-то толстуха целый день по двору без дела шляется, венник в руку не возьмет, давно надо бы ставни покрасить — не покрасила, в погреб не лезет — мышей боится...

Наша самая старшая сестра внимательно выслушивала обеих дженге и все передавала нам, трем братьям. Мы посмеивались...

И только в одном деле объединились наши дженге. И наш общий язык. Один язык — это просто язык, а два — это сила. Обе они хотели, чтобы я женился на Меску. Обе воево ругали почтальоншу Каирхан. В результате мы чуть было не лишились подписных газет. Когда почтальонша опасливо приближалась к нашим решетчатым воротам, старшая дженге грозно выступала ей навстречу, на ходу закусывая рукава. Я бы всем советам посмотреть в такой момент на эту «гнетенную» женщину Востока.

— Ну, иди скорей, милая, подойди же, моя дорогая, — начинала она тихо, тонкие губы ее кривились, — небось, устала сумку свою таскать... Последний немного, вспомним молодость... Хотела я у тебя спросить, почему это тебе по ночам не спится? — Старшая дженге постепенно повышала голос. — Может, ты жениха себе ищешь? У тебя такой хороший муж был. Почему это, интересно, он тебя бросил? Может, ты и тогда по ночам бродила? Милая, послушай меня... Сейчас советский закон! А законы мы все знаем. Кто тебе дал право вмешиваться в дела молодых? — Дженге уже задыхалась от гнева, сияние маленькие глаза ее сверкали. — Как его... родственник твой, куриная голова, пусть сам приедет, разберется! Или у нас в ауле обычный новый появился — чтобы женщина за девушкой ухаживала! Смотри, а то я ревновать буду! Все волосы у тебя вывердугаю! Будешь как лысый Аким — завлужу... А, ноги уношишь? Беги, беги, чтоб ты провалилась! — кричала она вслед почтальонше.

¹ По обычаю невестка не называет по имени родственника мужа.

¹ Гауй — пиршество.

Младшая дженге обходилась с Каирхан поделикатнее. Да и почтальонша не так уж боялась нашей толстухи. Высмотрит Каирхан с той стороны улицы, что у нас во дворе вроде никого нет, быстро подходит к воротам и бросает в ящик письмо или газету. Однако младшая дженге уже тут как тут.

— Каирхан! Ты не сердись, сама знаешь, какая сварливая жена у нашего агронома. Но мой тебе совет: не гордись тем, что собаки возле дома Меску тебе не трогают. Это они днем... А вот ночью — другое дело, могут и обознаться...

— О-о-о! Проклинаю этот дом, проклинаю эту работу! В чем моя вина? Скажи, в чем моя вина, если ваш парень двух слов связать не может? А мой племянник — будущий инженер! Живет на чужой стороне, ну как он может хорошую девушку-ногайку себе найти? Только на родственников и надежда... Трудно, что ли, понять... Если б не эта работа, к вам и близко бы не подошла! — И Каирхан поскорей отходила от наших зеленых решетчатых ворот.

Потом обе дженге рассказывали нашей самой старшей сестре, как они ловко отшли почтальоншу. Сестра пока не вмешивалась в мои дела, она хладнокровно следила за ходом событий. Однако никакие события не происходили. Доводы дженге никак не действовали на почтальоншу. По-прежнему в кино водил Меску я, а из кино уводила сводница Каирхан.

Кроме самой старшей, у меня были еще две старшие сестры. Одна жила в райцентре, а другая — в Черкесске. Они жили далеко, и отношения наши были далекими. Однако изредка все собирались на семейный совет. Старшей в этом совете была самая старшая сестра, за что совет, седебородый Сулейман, так любивший наш телевизор, прозвал ее «сельсоветом». Ту сестру, что жила в райцентре, он величал «райкомом», а ту, что в Черкесске, — «обкомом».

Так вот, очередное заседание совета состоялось из-за меня. Присутствовали «сельсовет», «обком», «райком», две дженге и еще наша двоюродная сестра, которую неизвестно зачем пригласили. Заседали в самой большой нашей комнате. Я сидел на низкой табуретке.

Сначала обсуждали аульские новости, потом районные, потом городские. Потом, после паузы, все переглянулись и как по команде посмотрели на меня. Та сестра, что приехала из города, начала мягко:

— Иду по улице, душа не нарадуется, вот сейчас увижу родной дом. И будто сама судьба подослала, — тут сестра сладко улыбнулась, — вижу: навстречу Марлыхан. Я ей: как живешь, подруга, как здоровье, как твоя дочь Меску поживает? Она отвечает: мол, хорошо, сама улыбается. Ну, думаю, дай словечко замолвлю... Вот и начала, что наши роды давно в дружбе, наша мать перед смертью сказала, что это лучшие люди в ауле, видно, бедная, и тогда хотела породниться с этим тукумом¹. Ну, потом и говорю прямо: подруга, у тебя ведь дочка на выданье. Марлыхан все поняла, но уж очень она скромная, только вздохнула... Я ей говорю, мол, нашему младшему давно ищем невесту. А она тихо так отвечает: «Кто кумыс не пьет, кто девушку не сватает...» По послышке ответила, вот скромница...

На это сестра из Черкесска закончила свою речь. Тут все опять переглянулись. У моих дженге был чересчур уж умленный вид.

— А мне сегодня тоже повезло, — заявила с радостной улыбкой та сестра, что приехала из рай-

центра. — Иду мимо правления, навстречу Меску. Ну такая хрупкая, такая красивая. Вижу — покраснела, застенялась, значит. Тихо так спрашиваю, как здоровье. Ее я погладила по головке. Такая хорошая, такая приятная... В мать пошла, скромная. Это плохо, когда девушка замуж торопится, сама напрашивается...

— Она со мной правления, такая скромная, — сказала вдруг двоюродная сестра и робко посмотрела на меня.

— А мы для молодых уже и комнату освободили, — сообщила старшая дженге и чуть не с восторгом посмотрела на старших сестер.

— А как же, я сама прибирала, уж постаралась, — поспешила вставить толстуха.

Последнее слово было за «сельсоветом». Но моя самая старшая сестра молчала.

А назавтра в аул на летние каникулы приехал племянник Каирхан. Звали его Амит. Парень как парень. Не дракон. Ничем меня не удивил, ведь я и раньше его знал, до института. Встретились мы с ним на улице, поздоровались, поговорили о том о сем. О Меску ни слова. Я улыбался ему, он мне. По-хорошему и разошлись. Что мы, женщины, что ли? Мужчины проявляют себя в поступках. Посмотрим, чья возьмет...

Вечером через два дома от дома Меску играли свадьбы. Это не такое уж редкое дело в Сынтлысы. Все-таки семсот дворов. Раз свадьба, значит, будут и девушки, значит, будет и Меску, а уж мы с Амитом — обязательно.

С работы я пришел пораньше. Старшая дженге для такого случая съездила в райцентр и купила мне в подарок нейлоновую рубашку.

— Чем он хуже этого родственника почтальонши? — спросила она с вызовом. — Надевай обновку. Ну вот, теперь все в порядке.

Младшая дженге тоже что смогла сделала. Брюки мои погладила и целый флакон цветочного одеколона на меня извела. Да еще посоветовала:

— Выпей сто грамм водки! Смелее будешь.

И я выпил. И пошел. По дороге пожалел, что не взял с собой бурку — украл бы Меску, и дело с концом.

В ярко освещенном дворе девушки стояли отдельно от парней и жались друг к дружке. Парни в такт быстрой, горячей мелодии изо всей силы хлопали в ладоши и кричали: «Карс! Карс!» Глаза у Меску блестели, мне даже показалось, что она обрадовалась моему приходу.

Потом увидел Амита. Когда моя ладонь коснулась его ладони, мне пришла в голову мысль как можно сильнее пожать ему руку, чтоб он понял, с кем имеет дело. Амит не хотел уступать. В общем, рукопожатие получилось крепкое.

— Девушек что-то мало, — пожаловался Амит. — Наверно, еще не все подошли. Вон, видишь, какая красивая, — он показал на одну, что стояла в красном платье справа от Меску. — Когда только вырасти успела. Пригласи бы ты ее на танец.

— Это что, — подхватил я. — Ты только посмотри, видишь, еще правее, в голубом платке. Насипхан ее зовут. Забил, что ли? Вот уж красивая так красивая. Я тебе очень советую...

Гармонистка играла без передышки, а мы с Амитом стояли, хлопали в ладоши и никого не приглашали.

Хмель постепенно выветривался, вместе с хмелем улетучивалось и мое боевое настроение.

Между тем события стали принимать драматический оборот.

¹ Тукум — род.



Вот уже третий танец Назир, живший под горой у реки,— хотя где он жил, не имело ни тогда, ни потом никакого значения,— этот Назир уже третий танец подряд пригласил нашу Меску. Мы уж и хлопать перестали. Танцуя, Назир, как воркующий голубь, подсакивал к Меску, а она уклонялась, уходила от него, он догонял, как это и принято в таком танце, но мы заметили кое-что другое. Все дело было в том, как смотрела девушка на Назира. Куда только девалась ее скромность!. Все решил конец третьего танца. Назир отвел ее в сторону, они о чем-то оживленно заговорили, и я понял, что это надо.

У Амита опустились плечи. «Бедная почталыонша»,— подумал я. А потом словно наяву услышал упреки моих дженге.

Ну что поделаешь, если Назир так похож на моего брата, а похождения которого говорил весь аул.

Я еще раз посмотрел на Амита. Не плакать же нам. Все же мы мужчины.

Наконец Амит пригласил на круговой парный танец девушку в красном платке, что раньше стояла справа от Меску. Я решил не отставать и направил-

ся к Насипхану в голубом платке. У нас в ауле считается, что если девушка прикрывает платком свои косы, значит, она строгих правил, обычаев не забывает. О, как я проклинал эту Насипхан!

Взял я ее под руку и повел к танцующим, а она внезапно тихо так у меня спрашивает:

— И зачем только парни столько одеколора зря переводят?

Я остановился.

— Ха-ха-ха,— услышал я вдруг ее звонкий смех,— тоже мне — женихи! Молодец Назир!

Когда я пришел в себя, Насипхан хохотала уже за спинами подружек...

В эту ночь я долго не мог уснуть. «Ну, язва,— шептал я,— чтоб тебе твой же смех по ночам спать не давал!» На весь аул осрамил! На весь аул!

Утром побрел я на работу, на свой склад шерсти. Вдруг слышу, кто-то меня догоняет. Оборачиваюсь— Насипхан! Какая наглость... Но она мне и рта не дала раскрыть.

— Тенгиз, не обижайся за вчерашнее, прости... Смотрю, а у нее губы дрожат, вот-вот расплачется! Тьфу, шайтан, ну и чудеса! Я махнул рукой и пошел дальше...

На другой день увидел ее на току. Она лопатой зерно сгребала. Оторвалась от своей работы, кивнула мне и улыбнулась.

Я тоже ей кивнул.

На третий день она сказала:

— Сегодня кино в клубе интересное.

На четвертый день она сказала, что я хороший парень.

На пятый день я сказал, что она неплохая девушка.

На шестой день мы поехали вместе в райцентр гулять по тамошнему парку. У нас в ауле парка нет.

На седьмой день мы уже гуляли по берегу нашей реки.

А потом все закружилось, завертелось... Хохотушка Насипхан, которая умела и заплакать, когда надо, ласково обкрутила меня, а может, я ее, здесь не все ясно.

Мы всерьез стали поговаривать о нашей совместной жизни.

— Как мы будем жить? — спрашивала она уже в который раз.

— Не знаю... — в который уже раз отвечал я.

— Чего ты тянешь? Пойдем распишемся! Что ты, все мой характер изучаешь? Я-то тебя уже насквозь вижу...

Да... Нет-нет да и вспоминал я слова сестры из райцентра: «Это плохо, когда девушка замуж торопится, сама напрашивается».

Вот и думай и гадай. Мои дженге, после того как их кандидатура провалилась, придерживались общественного мнения.

А общественное мнение всегда у нас формулировала наша самая старшая сестра. О Насипхан она сказала так: «Хорошая, работающая девушка, из хорошей семьи».

Пока я раздумывал, Меску вышла за Назира. Быстро это у них получилось.

В день их свадьбы мои дженге, вяло опираясь спинами о решетчатые ворота, ждали почтальоншу Каирхан.

Она подошла, окинула их беглым взглядом и поняла, что разговор предстоит мирный. Однако она все же немного волновалась, поэтому и опустила газеты в почтовый ящик, хотя могла преспокойно отдать их прямо в руки.

— Каирхан, что там в газетах пишут? — вытирая руки о подол платья, спросила старшая дженге. Она очень старалась смягчить свой резкий голос. — О нашем ауле Сынтыслы никаких известий?

— Кому нужен твой Сынтыслы? — улыбаясь, вступила в разговор младшая дженге.

— Что вы, милые, — услышав это слово, дженге переглянулись, — мне и читать-то некогда. — Каирхан сняла с плеча свою сумку. — Я читаю, сколько и вы. Дел много. Вот к свадьбе готовлюсь, скоро Амит женится, все пишет одной девушке, от нее письма — каждый день.

— Наш Тенгиз тоже понял, что пора. Вот-вот невесту в дом приведет. А то такой беспечный ходил — сегодня одна девушка, завтра другая, третья... Нравились ему это, — сказала толстушка.

Старшая дженге первой пошла на откровенность: — Откуда им знать, молодым, что надо делать? Вовремя мы отговорили нашего парня от этой Меску, а не то быть беде. Да и так беда случилась, мы с тобой, Каирхан, чуть не...

— Да что там, — перебила почтальонша, — я почему за ней ходила? Аллах его знает, что она за человек, вот и спрашивала у нее то-другое. Хорошо, вовремя поняла: не пара она нашему Амиту... Из-за этой Меску мы с вами чуть не...

На этом они и помирились.

Скоро моя свадьба.

Под старинную ногайскую мелодию девушки по-русски будут кричать: «Горько!» А что, разве плохо?!

Пока я по-прежнему сплю на чердаке. Старший брат по-прежнему спит в летней кухне.

В полночь раздается громкий голос старшей дженге:

— Эй ты, пойдешь спать в дом или нет?!

Я представляю, как она тащит за руку моего старшего брата.

Младший приходит часа в два ночи. Ему все кажется, толстушка не устраивает скандалов.

Жалея их всех, я засыпаю и вижу во сне, будто сижу за столом и пишу свой первый рассказ.

Рассказ о том, как я, молодой благородный джигит, преодолел тысячи препятствий и добился любви стройной, как лань, и чистой, как родник, Насипхан. Действие рассказа происходит в экзотическом ауле Сынтыслы... Люди там живут в саяках и о шифере и электричестве имеют весьма отдаленное представление. Тамошние женщины сидят у древних очагов, охраняя огонь. Над очагами висят закопченные казаны. В них варятся целые бараны туши. Седобородые старики целыми днями поют древнюю песню «Орайду» и то и дело осушают полные роги пенистой бузы. Все мужчины в ауле носят каракулевые папахи, на поясах у них висят в серебряных ножнах большие кинжалы. Никто понятия не имеет о телевизорах. Девушки сидят дома и скромно ждут женихов. Каждое слово моих аульчан — пословица или поговорка.

А называться будет мой первый рассказ «Верность очагу».

Перевел с ногайского А. ОРЛОВ.

Ирина Путяева



Всегда чего-то нам не хватает:
кому-то кофточки нарядной в ГУМе,
кому-то тишины в московском шуме,
кому-то... Только мне всегда везет:
то вовремя успею к электричке,
то завтрак приготовлю, как смогу,
то, честно, даже глазом не моргну,
когда какой-то парень симпатичный
посмотрит так, как я того хочу.
Я хохочу.

По дому хлопочу.

Хожу в кино и в магазины тоже,
я тоже там, где был и ты, прохожий,
но только вижу будто в первый раз
все то, что стало буднично для нас.

Пусть в маленьком, но мне всегда везет:
хоть этот дождь и не войдет в историю,
но вижу я — и это очень здорово! —
как этот незаметный дождь идет!

Увы! —

такие вот дела:

я дочку не в сорочке родила,

а, говорят,

счастливые — в сорочках,

а, говорят,

что лучше сын, чем дочка...

Но, впрочем, я не очень горевала,

сама ее в обновки одевала...

Поставили кровать ей у окна,

а из него

вся улица видна,

размытая весенней акварелью.

Счастливая,

что родилась в апреле!

Счастливая,

все счастье впереди!

Смотри скорей,

счастливый мой комочек,

как листья распускаются из почек,

рванув их,

как рубашку

на груди.

О ПОЭТАХ ЭТОГО НОМЕРА

Сейчас многие пишут стихи. Поэтическая почта нашего журнала — да и не только нашего! — огромна. Такое явление само по себе отрадно, оно объективно свидетельствует о возрастающей с каждым годом культуре советского народа. И все-таки никто не возьмет на себя смелость утверждать, что поэтов у нас избыток. Поэтов всегда недостаточно! Чем более стремительно будет развиваться общество, тем более ощутимой будет потребность в поэзии.

Новое имя в поэзии — явление радостное, разумеется, если речь идет об истинном таланте. Первая публикация стихов в «Юности» — чаще всего только творческая заявка, только первый шаг. Но это очень ответственный и серьезный шаг.

Юрий Шигаев — сибиряк, после десятилетки он по комсомольской путевке работал бурейщиком на строительной дороге Абанан — Тайшет. Служил в Советской Армии. Сейчас — электромеханик линейно-аппаратного цеха междугородной телефонной станции. Олег Кочетков работает слесарем на Коломенском тепловозостроительном заводе имени В. В. Куйбышева. Станислав Лянишев, окончив училище летчиков-истребителей, служил в ВВС, затем перешел в Аэрофлот, летает на вертолетах в пустынях Средней Азии, в Якутии, на Чукотке.

Участником 6-го Всесоюзного фестиваля молодых поэтов, проведенного по инициативе ЦК ВЛКСМ и Союза писателей, был таллинец Отт Раун.

В Тюмени в комсомольской газете сотрудничает Алексей Цветков. В этом году окончили Литинститут имени А. М. Горького Юрий Дудин и Александр Васютков. А. Васютков и студент из Баку Чингиз Алиоглы участвовали в 7-м Всесоюзном фестивале молодых поэтов братских республик, посвященном 80-летию В. В. Маяковского.

В далекном хакасском селе учителем Валерий Майнашев.

Валерий Левенко после окончания металлургического техникума восемь лет работал машинистом на обогащательной фабрике Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сейчас он учится на 3-м курсе Литинститута. Студентка 2-го курса филфака пединститута Ирина Путяева — москвичка, как и искусствовед Наталья Филимонова и инженер-конструктор СКБ Мосгидростали Владимир Есипов.

В заключение два слова еще об одном, нет, о двух поэтах. В январском номере прошлого года дебютировал в поэтической рубрике Владимир Кочетов из Махачкалы и впервые напечатал рассказ севастопольец Вячеслав Шерешев. Теперь дебютанты поменялись ролями: в этом номере публикуется повесть В. Кочетова и подборка стихов В. Шерешева.



Почта «Юности» приносит немало писем с отзывами о наших материалах. Это бывают и короткие эмоциональные оценки и письма, в которых серьезно анализируется работа авторов журналов. Одни читатели судят строго, но не всегда доказательно. Другие делают попытки серьезно проанализировать свои впечатления о прочитанном. Открывая рубрику «Читатель пишет», мы будем публиковать читательские мнения, давать возможность высказывать разные точки зрения на материалы журнала. В этом номере печатаются письма читателей о литературном дебюте артиста Московского театра на Таганке Валерия Золотухина. Его повесть «На Исток-речушку, к детству моему...» была опубликована в шестом номере «Юности» за прошлый год.

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

I

Уважаемая редакция! Прочитав в «Юности» за июнь месяц повесть Валерия Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему...», я долго не могла понять, что к чему здесь написано, и несколь-

ко раз перечитывала некоторые отрывки этой повести. Столько точек, столько слов, написанных большим шрифтом, а особенного и нет ничего в этих буквах больших. Это его первая повесть, поэтому я и осмелилась написать это письмо, написать и попросить его: «Дорогой Валерий! Мы все очень любим тебя на экране, мы обожаем тебя в твоих ролях, в любях, и в хороших и в плохих, но тут ты понятный, у всех на виду со своими мыслями, со своими переживаниями, а вот пришлось встретиться с тобой в роли писателя, и не знали, что и как сказать и написать тебе, чтобы не обидеть». Конечно, надо быть очень сильным и иметь много мужества, чтобы, еще будучи на костылях, иметь такую мечту и, мало того, вышолвить эту мечту, стать артистом кино, и не каким-нибудь, как ты сам пишешь, которого можно «снять со стенки», а талантливым. Но вот повесть написана, мне кажется, не очень понятно.

Взять хотя бы второй абзац этой повести. «Отец работал еще начальником тогда. Председателем колхоза. Мать была начальникова жена, председательша. А Вовка с Ванькой и Товькой-сестрой были начальниковыми ребятишками». Разве нельзя было как-нибудь попроще написать эти три строчки, понятнее? Ну зачем так заковыристо, что и не поймешь, что именно и о ком хотел сказать Володя, но меньше всего эти строчки похожи на воспоминания о детстве самого Валерия.

Да и дальше не лучше. Начинаешь читать то или иное предложение об одном, а кончаешь другим. Получается такое впечатление, что автор куда-то спешит, не договаривает конец начатой мысли, «глотает» концы, если можно так выразиться. Может, он хочет быть не похожим на других своим стилем письма, чтобы отличаться от всех предыдущих и последующих потом писателей? Может быть. Но мы, простые читатели, не привыкли к таким рассказам, где сразу ничего не поймешь. Слова-то вообще понятны, а предложения, извините, придется перечитывать по нескольку раз.

Да и воспоминания писачника Ермолая Согпикова тоже какие-то туманные, кое-где промелькнет понятная и простая мысль, а в общем, темный лес. Непонятно, трудно читать. (Я пишу свое личное мнение, может, вы считаете, что я не права или не понимаю ничего, тогда лучше не давайте читать этого письма Валерию, чтобы он не сердился.)

Я считаю так: пусть Валерий будет лучше хорошим, талантливым артистом и певцом, чем посредственным писателем, или пусть пересмотрит свой стиль письма, а то если и дальше так трудно будет читать его произведения, то трудно нам придется, читателям, петь и понимать всех новоспеченных писателей, что-то их в последнее время много появилось в печати, и хороших и не очень.

г. Феодосия,

ТЕМИРБАЕВА Т.

Р. С. Ответ пусть будет любой, хоть хороший, хоть плохой. Я думаю, ничего плохого я здесь не написала, просто высказала свое мнение. Я не критикую, нет, просто я хочу, чтобы хороший артист стал хорошим писателем.



Дорогая редакция! Перелистывая «Юность» за прошедший год, не могу удержаться и не написать о вашем новом авторе Валерии Золотухине и его повести «На Исток-речушку, к детству моему...», которая выделяется в прозе журнала своим необыкновенно живым, метким и сочным народным языком. Это речь образная, читаешь — видишь этих людей, слышишь их голоса и прежде всего голос Володы, в котором узнаешь черты характера и судьбу самого Валерия Золотухина. По-моему, повесть превосходная. Совсем небольшая, а посмотрите, какая емкая! Много рассказано в ней, и рассказано своеобразно. Уже в письмах тетки Вассы и Елены, открывающих повесть, слышится их речь и угадываются их характеры. А до чего председатель правдиво написал! Требовательный, властный, принципиальный до грубости,нисколько не приукрашен, но по-настоящему хорош. Его закалала борьба за колхозы, а после — война. Шесть рубцов от ран на его теле. И Ермолай Сотников той же закалки. Еще в гражданскую войну партизаном, потом строил колхоз, в Отечественную лишился поги. Не случайно Волода любит, когда отец вспоминает, как брали Днепр, а дед Сотников про красную рубаху, в которой он «утовал на фронт обеими ногами, а вернулся с одной».

Ведь это повесть о том, как формируется характер человека нашего поколения. О великой духовной преемственности. А какой живой и святой характер у матери! Мы чувствуем это в нежности к ней сына. И у брата Ваньки интересный характер. Благодарный. Он защищает и утешает брата-калеку. Даже у животных есть в этой повести характеры. И далеко не последнюю роль играют тут лошади Рыжка и Гоголь, а в истории с соколом, который перегрыз свои сухожилия и улетел, содержится глубокий символический смысл. Воля, воля к жизни, к творчеству, к достижению высоты — главное в характере маленького героя, образ которого так органично сливается с образом самого автора. Достигнуть почти невозможного — вот его мечта, его стремление. И он достигает этого. И ведет его песня, любовь к ней, способность вложить в нее душу. У Володи одна цель — стать певцом. И примером служит для него судьба Лемешева — артиста, вышедшего из народных глубин и достигшего в искусстве самых больших высот. Бескорыстная любовь к искусству — вот что отличает этого мальчика и его родню. «В Москве оставившись,— говорит Ермолай

Сотников,— поклонись от нас, мужиков, Сергею Яковлевичу. Пой, а больше ничего и не надо. Всем пой, кто попросит, не жалея себя, тогда тебя хватит... Пой, Вовка...»

Володя вспоминает рассказ Тургенева «Певцы» и песню, которую поет в этом рассказе Яков: «Не одна во поле дороженька пролежала». И жалеет, что Тургенев не вывел этого Якова в люди, не послал учиться в консерваторию, чтобы им гордилась певчая Россия. И хотя в повести не рассказано, как Володя становится певцом, мы понимаем, что он своей цели достиг, как своей цели достиг Золотухин,— стал актером и твердо знает, что выбрал для себя единственно правильную дорогу. Тут сопоставлены судьбы крепостного певца и нашего современника, сына крестьянина, ставшего артистом.

Специально хочется говорить о языке и стиле этой повести. Мне думается, что именно своеобразие изобразительных средств составляет особенность литературного дебюта Валерия Золотухина. Как часто интересные замыслы, богатые жизненные наблюдения не трогают нас, потому что язык автора и его персонажей немощен и бледен. Золотухин смело употребляет народные слова и обороты, всем понятные, но свежие, сильные, способные подействовать на воображение, радующие точностью, новизной. Подчеркивает то, что ему важно, прописными буквами, так же, как мы в разговоре голосом выделяем слова, заключающие главную мысль. В ткани повести «На Исток-речушку...» это выглядит совершенно естественно, потому что она разговорная. Не только в репликах действующих лиц, но и в повествовании от автора. Читая эту повесть, вспоминаешь миргородские повести Гоголя, образную речь Шолохова, Я не собираюсь ставить Валерия Золотухина в ряд таких имен, но воспоминания о них как-то невольно возникают при чтении повести «На Исток-речушку, к детству моему...», и хочется пожелать автору и дальше работать в литературе так же своеобразно и ярко.

С уважением

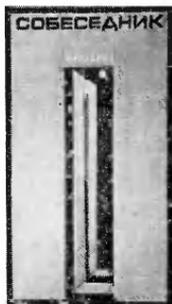
Екатерина АНДРОНИКОВА,
студентка Московского государственного
университета.



Литературный критик — профессия, прямо скажем, довольно дефицитная. Молодой — в особенности. Как правило, судить о литературе начинают зрелые люди, имеющие достаточный и жизненный и профессиональный опыт. Особенно это верно для нашего времени, когда от критика все в большей степени требуется широкий образованность, знакомство со смежными областями культуры, хорошее знание самой жизни.

Кто теперь приходит в критику? Вопрос интересный. Если в первые послевоенные годы кадры критики пополнились в основном за счет военного поколения Литературного института имени А. М. Горького при Своей писательской организации в последующие годы, как правило, в эту область литературы стали приходить люди, заканчивающие другие вузы, часто имеющие другую специальность, в основном — из смежных искусств. нередко — литературоведы, имеющие, так сказать, «классическую» подготовку. Очевидно, и в этом проявляется характер времени, требует все большей разносторонности и общей культуры. Сегодняшние начинающие критики — журналисты со стажем, художники и искусствоведы, занимающиеся проблемами эстетики «на стыке» слова и линии, слова и цвета, студенты-языковеды, «кибернетрики», даже врачи и инженеры! Не значит ли, что они занимают критику как любители? Нет. Они идут в критику по жизни, как военное поколение шло от жизни, которая тогда звалась войной. И — от любви к литературе. Дальнейшая профессионализация зависит от верно выбранного призвания, другими словами — от самих начинающих.

В этом номере дебютирует в «Круге чтения» студентка МГУ Вера Мильчина, дизайнер (художник-конструктор) Бадим Пальерник, научный работник Александр Осоват, молодая эстонская переводчица Эллен Тамм.



«СОБЕСЕДНИК»

Ч итается как роман — «ман» — комплимент весьма распространённый и столь же сомнительный, тем более что в данном случае роман обозначает лишь динамичное и захватывающее повествование. Что же касается книги воспоминаний и портретов В. Каверина «Собеседник» («Советский писатель», 1973), то подобный отзыв не будет даже соответствовать ее замыслу. Воспоминания автора известных романов читаются как воспоминания.

Жанр большей части нового произведения писатель охарактеризовал как близкий «к художественно обработанному архиву», но природа этой художественности совершенно не противоречит начальной обязанности мемуариста — быть верным своей памяти и обуздывать свое воображение. Это не покажется удивительным, если учесть, что воспоминания Каверина написаны в русле той традиции, которая восходит к «Былому и думам».

«Собеседник» безусловно, ориентирован на читателей, для которых личность автора не менее интересна, чем событийная канва. Точка зрения мемуариста не только организует сюжет, располагая отобранный материал в соответствующем порядке; она сама по себе значительна не в меньшей степени, нежели изображаемые лица и явления. Наброски автопортрета, проступающие как бы вне намерения писателя, не затмевают восприятие персонажей его воспоминаний,

но дополняют впечатленье от ушедшей эпохи.

Образ времени в книге Каверина создается во многом благодаря органичному сочетанию портретного искусства и философского обобщения: осмысленные и описанные взаимно коррелируют друг друга. Впрочем, фотографический манер писателя всегда сторонился. Метод Каверина оправдывается и в тех главах, которые посвящены людям, чей масштаб способны восстановить лишь комплексные усилия современников (Ю. Н. Тынянов, В. Э. Мейерхольд), и там, где речь идет о людях менее известных или не успевших реализовать заложенные в них возможности (В. А. Дмитриев, Л. И. Добычин).

«Собеседнику» чужда назойливая категоричность в оценках, что вовсе не отменяет четкости литературных и нравственных критериев, которая присуща уже в интонации.

Каверин убедительно показывает, что звание литератора требует жертвенного и строгого отношения к своему труду. И потому не дидактичен, но поучителен в лучшем смысле этого слова рассказ об О. Г. Савиче. Важной особенностью мемуаров Каверина является подчеркнутое внимание к чуждому слову, к типу мышления. На страницах книги воссоздаются целые дискуссии 20-х годов — проводники мышления читателей в эпоху первых лет существования советского искусства и науки. Не деятельные участники тех дискуссий не оставались в плену у времени, они меняли себя и свое творчество, так что черт их литературных и человеческих судеб мо-



жет выписать только рука уверенная и сильная. Этой рукой сделаны воспоминания Иварина. Писательские воспоминания так в духе русской словесности, так в обычных душах отечественного интеллигента. В конце, они так активно вторгаются в современный литературный процесс, что появлению «Соблюдения» можно только порадоваться.

А. С. ОСПОВАТ

КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

Да, это — название книги. Название парадоксально: казалось бы, нельзя научить любить, а конструкция названия как будто ставит книгу в один ряд с многочисленными просветительскими инструктивными брошюрами. Однако у книги Януша Корчача («Знания», 1973) и другие цели и другой метод. Она не учит, как воспитывать ребенка (то, что учит, всегда считает себя умнее, опычнее, чем тот, кого учит). Она призывает, умоляет, убеждает: нужно понять ребенка, понять самого маленького младенца, переловиться в него, оставить свою взрослую, многоопытную и, безусловно, казалась бы, правильную точку зрения ради его первых впечатлений, первых сопоставлений, зачатков мысли. «Как любить детей» — книга, в основе которой перевоспитание. Книга полна высказываний, с которыми автор не согласен, и они не всегда выделены прямой речью, они могут быть прямо в тексте.

Равенство, прежде всего равенство детей и взрослых, — мотив всех произведений Корчача. Взрослый человек у него может снова стать ребенком («Когда я снова стану маленьким», дети могут иметь свое собственное государство и управлять им («Король Матиуш Первый»). Нет необратимого развития от ребенка к взрослому, нет переходимой границы между детством и жизнью взрослого человека.

Так часто человек зрелый бывает ребенком, а ребенок — взрослым. Понять до конца взрослого человека можно лишь, если идти от младенческого состояния. Наполеона и Бисмарка можно мысленно переволгнать в младенцев. Единственным (или почти единственным) методом, который

предлагает Корчач, чтобы понять детей и взрослых и полюбить их — это наблюдение, внимательное, любящее, осознанное на интуиции и почти становящееся ясновидением, наблюдение — перевоплощением. Оно должно лишить взрослого — педагога, воспитателя — высокомерного пренебрежения и существования которое все еще «еще дети», но «уже люди».

Позиция Корчача — очень великодушная и демократическая позиция.

Корчач и погиб так же, как жил, как думал, как писал — не мог оставить своих детей умирать, а самому остаться жить. Когда фашисты отправили его воспитанников в газовые камеры лагеря смерти, он поехал с ними, хотя ему была предложена свобода.

И оказывается, что название книги самое правильное. Она не дает полунаучных, полупрактических советов, из нее не узнаешь, как пеленать ребенка, чем кормить, когда укладывать спать. Она не стремится ответить на все вопросы и честно признается, что многое ей неизвестно. Но она рассказывает о правах ребенка, одно из которых — право ребенка быть тем, что он есть; с любовью наблюдать за ним, изучать его и, наблюдая и изучая, любить в нем равного.

В. МИЛЬЧИНА

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВИВЫ!

О молодой поэтке Вивы Луйк не написано еще много трагедий. И мой краткий отзыв — не «творческий портрет», а эскиз, может быть, некоторые мысли ее переводчицы в связи с первым знакомством русского читателя с молодым автором.

Поэзию Вивы Луйк можно назвать поэзией природы — это верно, но отчасти. Природа не тема ее, а, так сказать, средство самовыражения, полное всего позволяющее ей выразить мысли, чувства и переживания современников. Стихи В. Луйк можно назвать пейзажными. Как у каждого хорошего художника, пейзаж — это в первую очередь мысль, чувства, переживания и краски родной природы.

Язык Вивы Луйк, ее материал я назвала бы авангардным: он чист, легонько переливается, певуч, особенно трудно

говорить об этом, так как он, собственно, представлял бы суд читателю только ряды, которые, возможно, несовершенны). Стих поэтессы плавлен, музыкален. Общеизвестно, что фонетический строй поэтической речи вообще очень звучен и плавлен благодаря обилию гласных (двойных и дифтонгов), отсутствию цезий, «звонких» «и» и «э», даже букв «ф».

Вивы Луйк — поэт интуиции. Почти каждое ее новое стихотворение — стремление разрешить не только науку-то моральную, социальную, этическую или философскую проблему, но и поиск в области формы. Хочется обратить внимание читателя на такой простой и слонный образ: «Слышится тихий непопад». Он прост тем, что понятен; сложен своей многогранностью: голос не только холерик, как снег, но он звучит «падает» тихо и безразличен, как снег. Именно не «речь», не «слова», а «голос», так как «речь» означала бы только содержание слов — холод. В другом стихотворении есть такой образ: «...слышится как бегит красота» — так лаконично и объемно.

Прием очеловечения природы несет основную этическую нагрузку в поэзии В. Луйк и эстетическую тоже: прекрасное есть жизнь. Прекрасно есть живое. Но всему живому, именуемому противному жизни она относится настроенно. Многие стихотворения Вивы Луйк написаны в период свободных стихов, который в последнее время часто встречается у молодых эстетически поэтов.

Последние стихи Вивы Луйк — свидетельство того, что она находится в плодотворных творческих поисках. Счастливого пути, Вивы!

Эллен ТАММ

МОДА У ВАС МОДА

Назвав сборник «Мода у вас» за «противоположность» («Искусство», 1973), редактор — составитель В. Толстых поставил авторов в довольно трудное положение. Как справедливо замечает в статье «К спорам о моде (вместо заключения)» В. Снаторцинов, чтобы сдвинуть вправо «завали «против» моды, необходимо «выработать теоретические основы понимания этого своеобразного общественного

явления, научиться научно подходить к процессам ее развития». Большинство авторов как раз и «вырабатывают основы» и «учится подходить», а на вопрос, «за» они или «против» моды, они или совсем не отвечают, как, например, Т. Любимова в очень хорошей статье «Мода и ценность», или отвечают малоинтересно. Многие авторы, продемонстрировав блестящее знание социальную — психологическую — психологию моды в конце концов советуют «использовать механизм моды для развития личности... приобщения личности к культурному прогрессу».

Один из авторов, привнося интересные конкретные социологические данные, говорит о необходимости идейно-психологического воздействия на моду. На мой взгляд, мода более сложно взаимодействует с культурой и не всегда способствует ее прогрессу.

Именно об этом в связи с другой разновидностью моды — модой на Древнюю Русь — едко говорил Д. Лихачев на страницах «Вопросов философии»: «Поверхностное восприятие традиции... с их чисто... развлекательных, гастрономически — экзотических сторон».

Статья К. Кантора «Мода как стиль жизни» выгодно отличается от упомянутого подхода к моде. Прежде всего тем, что переводит малоинтересную и, по существу, выдуманную проблему «моды или не нужна нашему человеку мода» в контекст русской культуры XIX века, где мода обрела связь с такими серьезными вопросами, как Россия и Запад, славянство и западничество. Как немалый итог своих размышлений автор приводит слова поэта: «Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не померкнет никогда».

Владимир ПАПЕРНЫЙ



ЗУРАБ
НАЛБАНДЯН

ВИХРЯМ ВРАЖДЕБНЫМ НАЗЛО!



Если бы скромному чиновнику кутаисского лесного ведомства Александру Аввакумовичу Вермишеву в конце прошлого века сказали, что его сын Саша станет революционером, всю свою жизнь посвятит делу народа и будет с оружием в руках сражаться за него, он бы, вероятно, не удивился. Он бы обязательно вспомнил, что в потайном ящике его собственного стола хранится нелегальная литература, что сам он в годы учебы в Петербургском лесном институте не раз выступал на сходках и тайных собраниях.

Когда юный Александр Вермишев в 1902 году после окончания Бакинской гимназии приехал в Петербург, чтобы поступить в университет, он знал наизусть и все революционные песни и стихи первых рабочих поэтов, преклонялся перед творчеством Некрасова... Отец научил его заглядывать в бедные рабочие кварталы, воспитал в нем любовь к трудовому люду.

Днем Александр слушал лекции на юридическом факультете, а по вечерам частенько бывал на рабо-

чих окрпнах. В один из таких вечеров он познакомился с путиловским рабочим Дмитрием Никифоровым. Вскоре он принимает участие в сходках и маевках путиловцев, выступает сам, гневно обличая царизм. Так началась его революционная деятельность. А потом... Потом тюрьмы, ссылки, подпольная работа, снова тюрьмы...

1903 год. Александр Вермишев вступает в РСДРП(б). Партийный билет № 2037. В декабре временно исключается из Санкт-Петербургского университета за участие в студенческих беспорядках.

1904 год. За революционную деятельность выслан в Тифлис. Вскоре нелегально возвращается в Петербург и работает агитатором Выборгского района.

1905 год. Участвует 9 января в возведении баррикад на Васильевском острове. 1 августа арестован. Через три месяца освобожден. 14 декабря вновь арестован, обвинен в подготовке вооруженного восстания и заключен в политическую тюрьму «Кресты».

На снимке — Александр Вермишев. 1919 год.

1906 год. Освобожден из «Крестов» и выслан на Кавказ. Тайно возвращается в Петербург, организует доставку нелегальной литературы из Финляндии.

1908 год. Вновь арестован, заключен в «Кресты», затем переведен в Шлиссельбургскую крепость.

Что это, типичная биография революционера, каких были тысячи? Она была бы «типичной», если бы Александр Вермишев не «приправил к штыку перо», если бы не та многогранная литературная деятельность, которую молодой большевик, как, впрочем, и всю свою жизнь, посвятил борьбе.

Из письма к отцу 15 августа 1905 года:

«Ж, жид я себе и в круговороте дня не замечал оторванности от дома. Теперь в удивлении это расстояние, разделяющее нас, плюс закрытая дверь далеко не о веселом заставляют думать. Тогда я сажусь и начинаю писать в мою зашнурованную, с печатью, тетрадь, на которой стоит надпись: «Камера 525, политический следственный такой-то». Первый раз я в таком необыкновенном положении. Ради бога, прими эту весть хладнокровно, не волнуйся и не горячься...»

А в голове рождались стихи:

Тосчно и тоскливо
В камере моей.
Выступает сырость
Из всех щелей.
Холодом знобичим
Всё от огня.
И сжигу уныло
В темноте без сна.

Но долго «сидеть уныло» Вермишев не мог. События 1905 года мучили его, не выходяло из головы жуткое Кровавое воскресенье.

...Из приговора Санкт-Петербургской судебной палаты:

«Вермишев А. А. признается виновным в том, что в начале февраля 1908 года в городе Санкт-Петербурге отпечатал и разослал в книжные магазины и частным лицам в разные города составленную им брошюру «За правдой», драматический этюд в 6 картинах, в которой в форме драматического произведения описал приготовления петербургских рабочих к событиям 9 января 1905 года вложил в уста некоторых действующих лиц... суждения, призывающие, заведомо для него, Вермишева, возбуждающие к бунтовщическим деяниям».

И снова тюрьма. Шлиссельбургская крепость. Свои ватина одиночной камеры.

Вновь над стеною крепостной
Нависла непроглядной тьмой
Глухая ночь...
Застыл на башне часовой,
Как будто с ним в едино слит
Стены агатовой гранит.
Руками впишешь в плеть окна,
Ночь напролет стою без сна,
Упрямо вглядываюсь в тьму...
Тоска томит, тоска гнетет.
И сердце обоневшая ждёт,
А за гранитною стеной
Застыл, как камень, часовой.
Не знает он, дитя народа,
Что в тесной камере моей,
Что здесь, в тоске моих цепей,
Закована его свобода.

Да, в холодных казематах Шлиссельбургской крепости, за толстыми стенами из «агатовой гранита», родилось не одно литературное произведение! Сильно, точно и лаконично написано стихотворение «Глухая ночь». В этих строчках сконцентрирована вся ненависть поэта к царизму. Но еще сильнее этой ненависти мучает его трагедия: «дитя народа» сторожит борта за народные права! Это противоречие терзало его душу.

В тюрьме он много работал над стихами. Перед самым заключением он писал отцу: «По странной иро-

нии я, сидя в неволе, гораздо лучше себя чувствую, чем на воле. А особенно в наше время, когда идет кругом такая гадость, что хочется зарыться в подушки и ничего не видеть, не слышать... В тюрьме приведу свои мысли в порядок, впечатлениям от детства до последнего дня придам законченную форму, многое обдумаю, взвешу, прибавлю и вычту, а итоги послужат мне базой поведения на будущее время».

Здесь, в тюрьме, Вермишев задумал и начал большую пьесу в стихах. На титульном странице стояла надпись: «Посвящается пролетариям всех стран и их верному вождю В. И. Ленину».

Литературная деятельность Вермишева неотделима от его борьбы. Абсолютно все, что вышло из-под его пера, было призвано пропагандировать идеи партии коммунистов. Каждую строчку творчества Вермишева следует рассматривать в связи с грозным революционным временем, с мучившим общество проблемами, с горем и лишениями трудового народа. Вермишев не стремился к славе писателя. Его хлесткие публицистические стихи были так же остры и актуальны, как речи лучших большевистских литераторов. Отсюда простота, лаконичность, быт может, некоторая риторичность литературного стиля.

В начале 10-х годов Вермишев оказался в Баку. Здесь он сотрудничает в газетах, пишет статьи, фельетоны. Тесная дружба связывает его с большевиками С. Шаумяном, А. Азизбековым, С. Спандаряном. Несклько раз по просьбе партийного центра Вермишев выступает в газетах в поддержку наиболее прогрессивных явлений в общественной жизни и в литературе. Присяжный поверенный А. Вермишев (в 1909 году он экстерном сдал экзамены в Юрьевском университете и получил диплом юриста) ни на минуту не оставляет партийной работы. И снова борются и ведут его честные, партийные стихи.

В КУЗНИЦЕ

Пойте, пойте, молоточки,
От зари до ночи...
Распыляйтесь, разгорайтесь,
Алые цветочки.
В горне золотого играет,
Где-то мех вздыхает...
Пламя вьется, песня льется,
Молот подбивает.
Скорю лед, лютые оковы,
Будете тотемы?
Грудь согнется-надорвется
От такой обновы.

И когда я сам в неволе
Залочусь от боли,
Клепки выну, цепи скину —
Не кузнец я, что ли?

Долго надо было упрашивать редакторов, чтобы в мраморном 1910 году «пробить» в газете такие стихи!

Вскоре Вермишев вновь возвращается в Петербург. Еще бы, ведь в это время начинает издаваться ленинская «Правда», появляется большевистский легальный журнал «Просвещение». Вермишев занимается адвокатской практикой и активно сотрудничает в партийной печати. В 1913 году в «Правде» была опубликована его басня «Равноправие». Это была острая сатира. Поэт высмеивал дебаты в Государственной думе по вопросу о предоставлении женщинам прав, одинаковых с мужчинами.

Можно ли удивляться тому, что в дни Октябрьской революции А. Вермишев оказался в самой гуще событий! Он был в числе тех ставших для нас легендарными людей, кто октябрьской ночью штурмовал Зимний дворец. Он видел сизый дымок над пушкой «Авроры». С винтовкой в руках он шел на юнкеров, а через несколько часов из-под пера Александра Вермишева вышла первая стихи, посвященные победе рабочего класса. Вот одно из них:

Вдохнули пуши на Неве,
Ударил гром, и крик «Ура!»
Раздался в грозной тишине.
И то, что было лишь вчера,
Наеки кинуло во мгле,
И светлый луч, сверкнувший над Невосо,
Вдруг заискрился новою зарею.

(25 октября 1917 года.)

С первых дней новой эры русской истории Вермишев на ответственной партийной работе. И снова его лира служит народу. В простых и искренних стихах выражает он свое восхищение завоеваниями революции. С особой любовью и преданностью относился Вермишев к вождю первого пролетарского государства. В его бумагах сохранилось немало стихов о Ленине. Теперь Вермишев боролся за нового человека, за новые, социалистические взаимоотношения между людьми.

Интриги, клеветы, раздоры,
Пустые бредни, наговоры,
Ехидство, слепити, суета,
Высокомерье, клевета,
Занайство, дразни, зависть, склоки,
Распутство, скверные пороки,
Жестокость, алчность — вот они,
Твои заклятые враги.

Стихи Вермишева — это документы, по которым и мы и наши потомки будут изучать историю. Стихи-плакаты, стихи-призывы, стихи-борцы.

...Положение революционного Петрограда было сложным. Белогвардейские банды Юденича грозили задуть колыбель революции. И Вермишев ушел на фронт. Он был назначен комиссаром бригады красных курсантов. Но долго воевать ему не пришлось. В бою под Гатчиной комиссар был ранен и отправлен в тыл. Врачи опасались за его жизнь. Сказали и слабость здоровья. Да и какое могло быть здоровье у человека, всю жизнь испытывавшего нужду, у подпольщика, никогда не думавшего о своем физическом состоянии! И все-таки его спасли.

Что за характеры были у этих людей! Как часто мы читаем в их биографиях: «Работы запретили работать, но он работал». Они врачи, преодолевающая болезнь, не обращая внимания на недомогание и слабость.

Вермишев вернулся с фронта и стал работать в отделе транспорта Петрокоммуны. А по вечерам сидел над столом, писал новую пьесу, стихи. Позднее, посылая свою пьесу Ленину, он писал в сопроводительном письме: «В дни, когда наши коммунальные театры сидят без пьес по злободневным вопросам, по той причине, что «присяжные» писатели земли русской, очевидно, все еще продолжают дуться на Октябрьскую революцию, будучи оскорблены в лучших своих чувствах «свободными» жрецами литературы, или не решаются сконометрировать свои высокие имена, выждавая оковчатального исхода всемирной борьбы классов, а может, просто вследствие повятого отсутствия вдохновения... нам, рядовым партийно-советским работникам, неизвестным и малоопытным в литературе, очевидно, приходится и в этой области нашего строительства приходить свои силы и энергию. Подумать только, чем только не должен быть теперь коммунист, чтобы можно было успеть справиться с горами задач, поставленных перед пролетариатом истории, в попытках утолить голод, существующий в достаточном количестве во многих областях бгтия наших».

Эти слова многое объясняют в поведении Вермишева Победившая революция удесятерила его силы, дала новый толчок его творческой энергии.

Любпытная деталь: много лет занимаясь литературной работой, сотрудничая в газетах и журналах,

будучи автором десятка пьес и сотен стихотворений, Вермишев именует себя рядовым партийно-советским работником, неизвестным и малоопытным в литературе».

Но перо Вермишева было уже достаточно закаленным и острым. Об этом свидетельствуют многочисленные сатирические стихи, в которых поэт бичевал врагов Советской власти. Еще в 1917 году рабочие аудитории, перед которыми выступал большевистский агитатор Вермишев, не раз взрывались смехом, когда он читал свои хлесткие эпиграммы.

У царя российского
Пасть слона нубийского,
Глаз орла-стервятника,
Зуб волка-ягитника,
Поступь в виду брава,
А дела кровавые.

В 1919 году Александр Вермишев снова на фронте. Его назначили уполномоченным ЦК РКП(б) при Довском комитете партии. Другая сочли, что необходимо использовать и литературное дарование Вермишева. И вот он уезжает на фронт, в XIII армию, с удовлетворением собственного корреспондента РОСТА. Времени было сложное, транспорт работал скверно, и пока Вермишев добирался до места назначения, Ростов-на-Дону был взят белыми. Недолго думая, Вермишев поступил рядовым красноармейцем в полк. Затем его назначили комиссаром 42-го пехотного запасного батальона XIII армии.

Комиссар, корреспондент РОСТА, поэт, драматург — каждая минута жизни Александра Вермишева была посвящена борьбе за Советскую власть.

В то время все окопы фронта обшла газета, где было напечатано стихотворение Вермишева «Присяга красноармейца».

...Тебе, народ, твоей державной воле
Народных дум исполненный совет.
Отдать себя борьбе с людской неволей
Даю торжественный великий мой обет.

В это же время поэт создает цикл агитплакатов РОСТА, который назывался «Портреты врагов». Некоторые из них Вермишев сопровождал собственными рисунками. Вот белогвардейский генерал Мамонтов:

Мучитель, душегуб, громила...
Он в злобе яростен и дик.
Торчит окровавленный клык.
Из пасти смядальной неотменно
Клокочет бешеная пена.
Висит изгрызенный язык —
Таков он, Мамонтова лик.

Этот агитплакат стоил жизни комиссару Вермишеву. 31 августа 1919 года в Елец, где в то время Вермишев ретировался с красноармейцами свою пьесу «Красная правда», велела конница Мамонтова. Красный гарнизон был разбит, раненый комиссар Вермишев взят в плен. Его долго мучили, требовали отречься от своих убеждений, пойти служить к белым, и, в конце концов ничего не добившись, по личному распоряжению Мамонтова, Вермишева расстреляли. Коммунист Вермишев не дожид до полной победы над белогвардейцами, не увидел первуюставку своей пьесы...

Владимир Ильич Ленин, прочитав в «Еженедельнике «Правды» некролог об Александре Вермишеве, сделал на журнале надпись: «В особую папку и переплести...»



БОРИС ЛАВРОВ,

студент 3-го курса
факультета теории
и истории искусств
Института имени
И. Е. Репина

трое на стройке

Для каждого художника в любом возрасте выставка становится серьезным творческим отчетом. Она одновременно подводит итоги, помогает осознать главное, отбросить лишнее, нацеливая на то, что предстоит еще сделать. Конечно, выставка для молодого художника, которому только еще открываются дали творчества, имеет особый смысл: ведь молодым художникам предстоит войти в общий строй мастеров культуры, найти себя, решать задачи, стоящие перед советским искусством.

Когда бываешь на выставках молодых художников, привлекает разнообразие поисков, стремление средствами искусства говорить о главном в нашей современности.

Как актуально звучат сегодня слова Льва Толстого из его письма к П. М. Третьякову: «...в искусстве есть две стороны: форма-техника и содержание-мысль. Форма-техника выработана в наше время до большого совершенства. И мастеров по технике в последнее время, когда обучение стало более доступно массам, явилось огромное количество, и со временем явится еще больше; но людей, обладающих содержанием, т. е. ... новым осмыслением важных вопросов жизни, таких людей... становилось все меньше и меньше... Искренних сердцем содержательных картин нет». Их-то и высматривают зрители на выставках.

...Вот трое молодых московских художников по командировке редакции журнала поехали на стройку Тюмень—Сургут. Обычно такие поездки дают репортажный материал, и только по прошествии некоторого времени появляются законченные работы.

Трудно представить себе современного художника, который отгородился от мира в своей мастерской. Многообразные связи с жизнью ничто не способны заменить. И когда Марина Файдыш, Андрей Ахальцев и Александр Ситников попали на стройку, увидели своими глазами молодежь, которая строит железную дорогу в тяжелых условиях, ездили по тайге, летали на вертолетах, жили со строителями, беседовали с ними, наблюдали, рисовали,—появились работы, посвященные строителям дороги. Они и составили выставку на стендах «Юности». В целом эта выставка произвела хорошее впечатление свежестью взгляда на мир, талантливостью авторов, их искренностью и стремлением образно мыслить.

Участники выставки — недавние выпускники Института имени В. И. Сурикова — оклеили мастерскую плаката у профессора Н. Пономарева. Из институтских стен, из дружеского общения, из своего пока еще небольшого творческого опыта молодые художники вынесли тот необходимый «золотой запас», который будет оплототворять их работу в ближайшие годы.

В работах молодых художников зачастую быстро-

та воплощения замысла идет за счет художественности, образности. Нужно обладать большой собранностью, волей, целеустремленностью, чтобы не разбрасываться на мелочи, не браться за любые темы. Дробя свое творчество на случайные сюжеты, трудно выбрать тот единственный путь, который всегда где-то рядом. В конце концов художник и находит его для себя. Участники выставки в «Юности» проявляют в своих работах активность взгляда на мир, художественный темперамент, любовь к своему делу. Что может нарисовать равнодушная рука без сердечной привязанности художника к изображаемому? Картинку, иллюстративное воспроизведение реальности.

Рассказывают, что в древние времена правитель приказал своему архитектору построить дворец. Через год очень довольный своим архитектором правитель принимал гостей в новом дворце. Со всех сторон слышались похвалы в адрес архитектора. И только один человек сказал правителю: «Ваш зодчий постиг все тайны своего ремесла, но он не смог построить дворец хорошо, поэтому он построил его красиво».

Как часто внешние эффекты, краснота вредят искусству! Подлинность жизни уступает место в картинах ложному пафосу, поэзия подменяется слащавостью, ремесленное умение заменяет художнику непосредственное переживание.

У Марины Файдыш в работах ощущается некоторая робость, неуверенность в своих силах. Она идет как бы ощупью, но в каждой работе ее ведет невидимый магнит, все время в ее руке путеводная нить. Лучшая ее картина на выставке — «Здесь будет город...». Это ночной пейзаж, схваченный с птичьего полета, сверху. Художница передает общую панораму и в то же время видит детали происходящего. Все это создает единый образный строй. Напряженная по цвету, активная по восприятию, остро скомпонованная, эта работа как бы задает тон другим картинам Марины Файдыш. Ее почерк пока только складывается, ей предстоит преодолеть натурность видения, подчинить ее иной, высшей пластической правде. По работам видно, что М. Файдыш — художник вдумчивый, серьезный. Сюжеты, которые лежат как будто на поверхности, благодаря таланту обретают силу обобщения. В этой связи интересно послушать рассказ Марины Файдыш о поездке, познакомиться с ее взглядами на искусство.

«Когда я ехала в Тюмень, мне хотелось быть в своих работах по возможности объективной. Я стремилась к сдержанности и простоте. Не люблю, когда на холсте эмоции перехлестывают внутреннюю образную суть. В данном случае, лицом к лицу с тайгой, суровой и жесткой, строгость в работах, которой я придерживалась, казалась мне оправданной, единственной формой выражения, приемлемой для передачи внутреннего содержания жизни людей.

Когда я встречалась со строителями железной дороги, разговаривала с ними, наблюдала их на работе, после работы, слушала их разговоры между собой, всматривалась в их лица, я все больше убеждалась в том, что, придерживаясь лаконичной живописной манеры, я добьюсь правды их характеров, постараюсь передать трудности тамошней жизни. Она легка: болата, топи, климат далеко не курортный, на неженок не рассчитан. Поэтому мне хотелось избежать эффектов в самой живописной форме. Правду в искусстве я понимаю как чистоту и высоту нравственной позиции художника, как гармонично его эстетических чувств с тем, что он воссоздает на хол-

сте. Всякое расхождение между этими исходными точками уводит в сторону от искусства.

Мне очень близки традиции русских художников, для которых было таким характерным внимательное отношение к человеку и окружающей его среде. Я люблю Федотова, Венецианова, Тропинина, и мне хочется следовать школе этих художников.

Когда работаешь над портретом конкретного человека, всегда происходит борьба между взаимным уважением и взаимным недоверием. Как хочется избавиться от декларативности, от прилизанности, от поверхностности! Все это часто встречается на выставках, входит в обиход, становится привычным.

Когда я говорила о необходимости в работе объективности, я имела в виду изображение героя картины в отвлечении его образа от собственного настроения. Пусть каждый персонаж в картине живет своей собственной подлинной жизнью, без навязывания ему того, что ему несвойственно.

Порой видишь интересного человека с богатой внутренней жизнью. А на портрете он получается эдаким былинным персонажем, донельзя плоскатым. Если передерзавать Чехова, то знаменитое ружье, которое висит на стене в третьем акте, выстрелило в зрителя еще тогда, когда он только сдавал на вешалку свое пальто.

...В поселок строителей мы прилетели на вертолете поздним вечером. Еще глядя на поселок из окна вертолета, я очень остро почувствовала сложность жизни на новом месте. Однако на земле это первое чувство неустроенности было уже преодолено. Разноцветные квадраты окон светились уютом человеческого жилья, неторопливо беседуя, стояли группы людей под фонарями. Ярко сияла площадка для танцев, где собралась молодежь. И даже ничего не слыша за шумом мотора, можно было почувствовать, что веселье в самом разгаре.

Поселок работал, жила полная жизнью напряженного трудового ритма.

Наблюдая, как люди обживают трудное место, я сделала для себя одно заключение: мне кажется, что привыкать к новому помогает человеку приверженность к традиционному. Человек обживается, создает свой мир, в чем-то похожий на тот, который был ему привычен, а в чем-то и вовсе новый. В общем, его пугает на новом месте не то, что ему предстоит физические лишения и бытовые трудности. Самое, на мой взгляд, трудное — отсутствие привычного уклада. Только тот чувствует себя на новом месте хорошо, кто вооружен против всяких неожиданностей. И как важно здесь плечо товарища, его участие, помощь, поддержка, иногда одним только словом. В коллективе все не так сложно, все можно преодолеть. Даже чувство одиночества.

Мне хотелось построить свои работы в форме репортажа, рассказывающего об одном дне стройки, о ее людях.

Все время меня преследовала мысль о том, как человек обживает новое место. Помогает ли ему новая жизнь, стройка, ее бурный темп по-новому взглянуть на свое прошлое. Что приносит человек с собой, с чем расстается навсегда? Ответы я искала повсюду, в том числе и в своих работах. Я поняла, вернее, остро почувствовала: нет ничего нового, и нет ничего старого. Новое тесно переплетается с привычным, создает «сегодняшнее», одновременно и вчерашнее и завтрашнее. И, поняв это, я, конечно, задумалась о том, какой же должна быть форма для объективных воплощений увиденного и почувствованного.

Во всех своих работах, которые выставлялись в «Юности», я стремилась, чтобы жизнь на холсте была подлинной жизнью изображаемых мною лю-

дей. Мне даже в названиях картин хотелось не раскрыть их содержание, а только намекнуть тему.

Поездка в Тюмень дала нам многое: мы получили большую зарплату».

К рассказу Марины Файдыш трудно что-либо добавить. Читатель увидит ее работы в журнале, сопоставит с ее собственными словами, в которых ключ для понимания сделанного. Можно лишь заметить, что и в работах Марины и в ее рассказе о поездке открывается художник, который стремится к искренности сердцем содержательным картинам, о которых писал Толстой.

Второй участник выставки — Андрей Ахальцев. Его работы, как мне кажется, менее «устоялись», чем работы Марины. В них порой непосредственность видения заменена какими-то реминисценциями, ассоциациями. Но в лучших работах своеобразно выражает и личность автора и образ виденной им жизни. Это картины «Край тюменский» и «Самодор». Они поэтичны, природа в них живет в романтическом освещении.

А. Ахальцев поступил в художественный институт в 1963 году, затем ушел в армию, служил в Мурманске, Заполярье, Карелии. Уже после службы в армии он закончил мастерскую плаката.

«Мои впечатления о поездке? — спрашивает Андрей. — Они в моих работах. Попробую рассказать подробнее. К будущей станции Салмы от Тюмени 400 километров. Дорог нету, туда можно попасть по зимнику, водным путем. Но главный, основной транспорт — вертолет. Как в песне — «только вертолетом можно долететь». Это точно сказано. Летели над тайгой и чувствовали всю правду этих песенных слов. Поселами нас в обещении.

Утром встали, прекрасная погода, пошли смотреть, гулять. Все новое, все выстроено недавно. В начале сентября в тайге комаров уже не было, а ребятам от них достается.

Вышли на трассу, там часть уложенного пути — это безлюдный участок. Поехали с рабочими туда, где сооружают насыпь. Много ходил пешком, по гуде. Собирали чернику, бруснику, вживались в пейзаж. Вся наша работа на стройке — это не просто сбор материала для будущих картин, графических листов. Это — проникновение в характер современности. Раньше, во времена Возрождения, до него и после, художники тоже писали свою современность. Об этом мы часто как-то забываем. Убежден, что в искусстве прежде всего нужно делать красивые вещи. Искусство должно быть красиво. Не внешне красиво, — красота вырастает из внутреннего образа смысла.

Раньше ученик был предан своему мастеру, у которого учился, как родному отцу. Он перенимал его приемы, способы его видения. И если был талантлив, то вынашивал свое, а если бездарен, то становился прилежным ремесленником.

Мне повезло, что я учился у хороших педагогов и что мои товарищи по институту — А. Ситников, А. Якушин, О. Гречин — многое дали мне как человеку в художнику. Сразу же после диплома мои папки пошли в печать. Потом я обратился к станковому искусству. Узкой специализации не люблю. Пусть каждый занимается тем, что ему по душе: ковкой, чеканкой, скульптурой. Лишь бы это помогло сформировать в себе художника. Нужно, на мой взгляд, ездить больше, чаще общаться, смотреть, не чувствовать себя на новом месте ни первопроходцем, ни посторонним. «Почеркушек», то есть быстрых зарисовок с натуры, мне делать не хочется. Важно, чтобы пришла мысль, отстоялась что-то главное».

Андрей Ахальцев находится в процессе становления. Ему нужно выработать свое видение; учеба, преиспещенность, товарищи — все это многое дает, но важно то, что он делает собственными руками, что постиг сам.

Александр Ситников стал известен своими картинами на молодежных выставках. Это художник с хорошим вкусом, разносторонней подготовкой. В его работах привлекает тонкое чувство цвета, острота композиции, применение в работах различных приемов древнерусской живописи, которую Саша горячо любит. Часто его картины полны иронии, сарказма. Порой эти достоинства картин А. Ситникова обрабатываются недостатками. Обращает на себя внимание «сделанность», желание удивить. Мне кажется, что эти недостатки не преодолет. Они пройдут с накопленным жизненным опытом. Их можно считать озорством, изобретательной шуткой.

Задаю Саше Ситникову те же вопросы, что и другим участникам поездки: каковы ваши впечатления, что вы думаете об искусстве вообще?

«Мне показалось, — говорит Саша, — что Тюмень состоит из отдельных островков строек: строительство железной дороги — один островок, добыча газа — другой, а на третьем упруго упирается в серое, непроглядное небо нефтяная вышка, лес вышек.

Сильное впечатление произвела на нас сама стройка железной дороги.

Строители — молодежь из разных уголков страны. Это демобилизованные солдаты — ребята, приехавшие по зову сердца.

Девственная тишина таежной природы иногда нарушается моторами вертолета МИ-8. Пролетел вертолет — снова тихо. А стройка идет так же естественно, как невидимая глазу жизнь в тайге.

Для меня истина художника и всего его искусства — это выполнение долга перед жизнью. Каждую картину рисую во имя жизни, во имя любви к человеку. Так возникли и наши работы во время пребывания на стройке Тюмень — Сургут.

Искусство должно быть благородным, чистым, возвышенным, как сама природа. Для меня всегда свято добро, воплощенное в человеке. Я поэтому часто обращался в своих картинах к изображению молодых людей, одержимых искусством. Хотелось в каждом передать непохожий на других строй мысли, чувств, переживаний. Я бы мог уподобить художника радуге: в нем и цвет голубой — цвет надежды, и красный — цвет любви, страсти, желтый — цвет солнца, фиолетовый — цвет величия и достоинства. Герой моих картин не только художник, но и строитель, и летчик, и учительница, и повар.

Если этот человек добр и прекрасен, я беру его в картину. И когда пишу, я испытываю к изображаемому то чувство, которое в обиходе называется любовью».

Заключая разговор о выставке в «Юности» Марины Файдыш, Андрея Ахальцева и Александра Ситникова, хочется сказать, что все они вдумчиво и зорко всматриваются в окружающий мир. Им многое предстоит сделать.

сегодня
приехал всерьез...



Здравствуйте, дорогие шефы!
Меня зовут Геннадий. Я живу и работаю в Тюмени. Приехал сюда с ребятами сразу после демобилизации в мае прошлого года.

Пишу я к вам в редакцию потому, что у нас на стройке сложилась странная практика использования молодых, только что приехавших ребят. Взял, к примеру, меня. Шофер, тракторист, радиотелемастер, кинемеханик — это мои специальности. В армии весь срок службы просидел за рулем и здесь хотел работать шофером, а определили в плотники, да и то не сразу. Сначала вообще был «на подхвате». Куда надо, где что так — посылают. Наконец, дали постоянную работу — на теплотрассе бетонщиком. Конечно, работа эта важная, но почему ее должен шофер делать? Тут мне рассказывали, что где-то в Стржежом или в Сургуте не хватало шоферов, и двух бетонщиков послали в автошколу. Ну ужасна, правда? Ведь я классный шофер — меня дешевле в Стржежом перевести, а тех ребят же сюда на бетонные работы... А кончим теплотрассу — опять неопределенность. Мне должность шофера пока никто не обещает. Опять в подсобники идти?

Когда мы с ребятами отправлялись на стройку, у нас и сомнения не было, что будем работать по специальностям. А видите, что получилось. И все это потому, что учет специалистов, распределение их на работы, по объектам поставлен очень и очень плохо. Десять человек туда, двадцать — сюда. А почему не иметь заранее такой информации? какие нужны специалисты, сколько и куда? И стройке это выгодно, и нам хорошо: через полстраны не мотаться, не травмировать государственные средства. Ведь как чаще всего получается? Презезжают сюда молодые ребята, помыкаются месяц-другой, ищут работу по специальности — и

привет! — рассчитываются. Я рассчитываться не собираюсь, я сюда приехал всерьез. Потому и озбочен, чтоб работало нормально. Не будет работы в Тюмени, попробую уехать на трассу строить железную дорогу до Нижневартовска. Из нашего строительного-монтажного поезда туда много народу перевелось. Не сразу, конечно. И наш бригадир — он тракторист — тоже туда собирается. На дороге работать труднее, чем в городе. И бытовые условия тяжелейшие. Но там это хоть оправдано: не будешь же строить среди болот пятиэтажное общежитие на год-два. А вот почему в Тюмени с бытом плохо, не понять. Мы с женой живем в общежитии в разных комнатах, но это еще ничего, жить хоть постоянно. А тут половину наших ребят, которые жили в общежитии водников, сейчас выселяют. Навиация кончилась. Да и вообще у нас в общежитии беспорядка много. Культработы никакой, спорта нет. В душ — то только с двенадцати часов пускают. Говорят, приказ такой. А вот рядом общежития завода медоборудования, так у них все нормально. Даже завесть берет.

Но не в этом дело. Мог бы я, конечно, сидеть и помалкивать, да тех ребят, кто на стройку приезжает, жалко. Ведь придется по специальностям, а будут на побегушках прыгать, как мы приехали. Вот я и думаю, что, может быть, редакция журнала «Юность», как шеф стройки, сможет что-нибудь посоветовать или помочь, чтоб ребят сразу по специальности распределяли. Много еще специалистов потрется: стройка большая, не на один год рассчитана.

С уважением
Геннадий АКИМОВ.

г. Тюмень.

С письмом Геннадия мы познакомили начальника Главконтрострой Урала и Сибири Министерства транспортного строительства СССР Николая Ивановича КАЗЬМИНА. Вот что ответил редакция Н. И. Казьмин:

«Геннадий Акимов затронул очень важную проблему. Действительно, как организовать дело так, чтобы молодой рабочий рационально, с толком использовался с первых дней пребывания на стройке? Мне хорошо известно, что управление «Тюменстройпути» много работает с молодежью, серьезно готовит рабочие кадры, помогает повышать юношам и девушкам квалификацию. И рядом с этим — случаи, описанные Геннадием.

Бывает так, что стройке позарез нужен тот или иной специалист, а его нет под рукой. И тогда, создавая крайнюю нужду, молодые рабочие сами проявляют инициативу и временно берут на себя работу других. Так было в 522-м комсомольско-молодежном СМП, когда бригада путеца Виктора Малозина построила мост... — специалисты не было, а сроки поджимали. Тем не менее длительное использование людей не по специальности нельзя считать нормальным. В частности, совершенно непонятно, почему Геннадие Акимову до сих пор не предоставлена работа шофера. Только в прошлом году управление «Тюменстройпути» приняло на работу 145 шоферов, и, насколько мне известно, шоферы нужны стройке и сегодня.

Очевидно, основная беда здесь в том, что отсутствует элементарная встречная информация. Отдел кадров управления «Тюменстройпути» всегда знает, в каких специальностях нуждается тот или иной участок стройки, а прибывший молодой рабочий — где в первую очередь нужны его навыки, умение, опыт. Спрос не встречает предложения.

Мы примем все необходимые меры, чтобы в ближайшее время управление «Тюменстройпути» наладило работу по учету и нормальному использованию специалистов».



А Я ГОВОРЮ— ИСТОРИЯ!

Среди молодых ученых и специалистов производства — лауреатов премии Ленинского комсомола 1973 года — имя Рисмага Гордезиани, кандидата филологических наук, доцента Тбилисского университета. Высокая премия присуждена ему за цикл работ по гомероведению и эгегистике.

Молодая журналистка Дали Цуладзе беседует с Рисмагом Гордезиани.



— Рисмаг, вот уже второй раз за последние годы в списке работ, удостоенных столь почетной для каждого молодого ученого награды, а именно премии Ленинского комсомола, назван цикл работ в области классической филологии, то есть науки о древности. В чем конкретно, на ваш взгляд, заключается актуальность классической филологии в наши дни?

— Видите ли, деление наук на актуальные и неактуальные может опираться лишь на узкопрактические, а не на философские критерии. Все признают, что, несмотря на огромную дистанцию во времени, отделяющую нас от древнейших культур Средиземноморья, интерес к античности не только не ослабевает, а, напротив, заметно усиливается. И яркое подтверждение тому — самая элементарная статистика. А именно: книги об античности, переводы древнегреческих и римских авторов принадлежат к категории наиболее ходкой литературы. Они мгновенно исчезают с прилавков книжных магазинов.

У каждой эпохи свои эстетические и моральные принципы, свои методы исследования. Поэтому интерпретация общезвестных фактов человеческого творчества минувших веков требует постоянного возобновления, с тем чтобы интерпретация эта находилась на уровне современных открытий и требований. Перед исследователями классической филологии всегда стояла сложная задача — быть посредниками между античной культурой, сохраняющей в течение всей последующей истории человечества значение формы и недосыаемого образа, и современным обществом, выявлять все новые, ранее не замеченные аспекты этой культуры, которые могли бы

способствовать обогащению духовного мира современного человека, дальнейшему развитию цивилизации. В этой ситуации, по моему глубокому убеждению, миссия исследователей античной культуры весьма почетна и вместе с тем ответственна. Ведь интерпретация античности для нашего социалистического общества на основе нашей идеологии и методологии, приобщение целых поколений к лучшим культурным традициям человечества требуют от нас огромной отдачи. В течение последних десятилетий представления об античной культуре систематически меняются. Этому способствуют новые археологические раскопки, расшифровка древнейших письменных документов, выявление малоизвестных или неизвестных вообще средиземноморских культур, памятников искусства и литературы, прямым следствием которых является постоянный пересмотр общезвестных истин, положений, долгое время считавшихся бесспорными, незбылемыми. И вот именно поэтому интерес к античности в наши дни следует рассматривать не как своего рода анахронизм, а как факт, логически связанный с духом нашей эпохи, с развитием человеческой культуры.

— Сфера ваших исследований — проблемы единства и формирования гомеровского эпоса, его отношение к истории стран эгейского бассейна. И в своих работах вы доказываете, что...

—...Ито как «Илиада», так и «Одиссея» написаны одним автором. Поэсю. Гомеровские поэмы, написанные двадцать восемь столетий назад, не утратили

— На с и м к о — Рисмаг Гордезиани.

и по сей день своей силой и прелестю, удивляя высоким искусством, законченностью формы. Многовековая традиция исследования гомеровского эпоса сделала «гомеровский вопрос» одной из самых значительных проблем не только классической филологии, но и гуманитарных наук вообще. Интенсивная работа поколений лучших филологов в области гомерологии способствовала выработке универсальных, усовершенствованных методов анализа эпических произведений, которые успешно используются и при изучении эпоса других народов. Это с одной стороны. С другой стороны, гомеровский эпос фактически является «пробным камнем» всех методов, вырабатываемых в филологической науке. Так что изучение истории «гомеровского вопроса» в некоторой степени означает и изучение развития филологии вообще, уровня филологических наук на определенных этапах развития в частности.

Так вот, в науке давно уже идет спор о том, являются ли гомеровские поэмы произведением одного поэта, не представляя ли они собой объединение разных эпических частей, созданных в разное время. Особое внимание при этом уделяется установлению закономерностей построения цельных композиций гомеровских поэм, выявлению четких композиционных принципов как в малых, так и в больших структурах «Илиады» и «Одиссея». Работы последних лет показали, что композиционные принципы, которыми пользовался поэт, полностью соответствуют принципам так называемого геометрического искусства VIII века до нашей эры.

Проведенный мною анализ композиции поэм показал, что как «Илиада», так и «Одиссея» построены по принципу распределения типологически и функционально схожих сцен вокруг центральной части по круговой композиции и параллельному делению, то есть по принципу, столь ограниченному для геометрического искусства. Достаточно изъять из поэм отдельные части, которые, по мнению ряда филологов, не могут быть оригинальными, как эта закономерность в композиции нарушится. В этой связи выявляется и много других особенностей гомеровской поэзии, а главное — поразительное единство формы и содержания эпоса. Все это вкуче делает единство поэм совершенно реальным фактом и в отличие от популярной ныне теории «устного творчества» указывает на использование письма в процессе формирования «Илиады» и «Одиссея».

В цикле моих работ, удостоенных премии, затронута также проблема взаимосвязей древнейших культур и писем Средиземноморья, дошедшая до нас лишь в фрагментарном виде и охватывающая древнейшую культуру Крита, догреческую и микенскую Эладу, прибрежные районы Малой Азии, загадочную культуру этрусков. Именно эти вопросы и подняты мною в процессе исследования истории и этногенеза древнейших писем эгеиды. С работой этой тесно связано и определение характера древнейших языковых и культурных параллелей между Средиземноморьем и Кавказом.

— Как давно вы «открыли» для себя классическую филологию, когда увлеклись ею?

— Когда я по-настоящему увлекся классической филологией? Но разве можно назвать увлечением смысл своей жизни, суть своего бытия?! Увлёкся я многими. Футболом, к примеру. И почему-то долгое время был глубоко убежден, что в моем лице большой футбол теряет, ну если не самого лучшего, то одного из лучших игроков. Ребята по школьной команде быстро поняли все мои сомнения и

честолюбивые замыслы, доказав мне, что они тоже «находка» для большого футбола... Увлечением я бы назвал вдруг вспыхнувшую страсть моего одиннадцатилетнего сынишки к придуманной им мифической стране. Мало того, что Леван придумал целый континент и населил его несуществующим народом, он дал вымышленному народу язык и да простит меня сын, что выдаю неаромом его маленькую тайну, сам пытаясь говорить на этом странном языке.

Что же касается классической филологии, то мир этот, полный прелести и загадочности, мир, несмотря на столь глубокую древность, никогда не теряющий своей молодости и удивительной современности, нахлынул на меня сразу, с первых же дней сдвигая из меня одного из самых рьяных поклонников своих. Произошло это в бытность мою студентом-первокурсником филологического факультета Тбилисского государственного университета. Вопросам гомерологии были посвящены мои дипломная и кандидатская работы. Итоговой, завершающей в этой области работой является докторская диссертация «Проблемы единства и формирования гомеровского эпоса», которая уже завершена...

На моей улице, чуть ниже аптеки, стоит будка чистильщика. Сколько я себя помню, половластный и белишенный хозяин ее — дядя Арменак. «Э, дорогой», — говорит каждый раз дядя Арменак, наводя зеркала блеск на моих ботинках и с завидной ловкостью меня на лету щетки, — вот ты, говоришь, изучаешь историю. Читаешь какие-то мудреные книжки. Так вот скажи-ка мне, что такое жизнь человека? И, хитро взглянув на меня, этот старый тбилисец, знающий подноготную всего нашего района, начинает рассказ о том, как третьего дня какой-то лихач сбил пешехода. «Был человек, и нет его. А ты говоришь — история», — многозначительно заключает дядя Арменак и принимается за второй ботинок.

В последний раз пройдясь бархоткой по зеркалу ботинков, он на несколько секунд застывает, как бы любясь делом рук своих, а затем бросает свое короткое «вес». И это значит, что теперь мне можно идти даже на великосветский прием. На традиционный вопрос, сколько я должен, дядя Арменак отвечает столь же традиционно: «Э, дорогой, обижашь. Что, забыл уже? Столько же, сколько и в прошлый раз. А о человеческой жизни ты подумай, сынок. Даром, что ли, ученый?!»

Прав дядя Арменак. Был человек, и нет его. Были культуры и народы, и нет их. А я говорю — История! Та самая, которая пролегла мостом между нами и теми далекими цивилизациями. Та самая, которой нести в будущее нашу культуру. Та самая, которую именуют Историей Человечества и которой я, Рисмак Гордезиани, рад служить.

«Вычислительная машина
ценна ровно настолько, насколько
ценен использующий ее человек.»
Норберт ВИНЕР

ШОМНО знакомство с конвертерами. Шагнул в цех и зажурился: рубиновое солнце жарко смотрело мне в лицо. Вдруг оно покачнулось и выплеснуло куда-то вниз гибкую сплясав-рубиновую струю металла. Белые, красные, желтые искры подыались и осыпались вокруг. Когда глаза пообвыкли, я увидел огненную горловину наклоненного конвертора, сминающего сталь. Поодаль, в ряд с первым, стояли крутобокие стальные тела еще двух конверторов.

Такой конвертор — гигант. Рост его с пятиэтажный дом. «Москвич» может свободно вехать в его горловину. Через нее конвертор питают сухой (металлолом, руда) и жидкой (расплав чугуна) пищей — шихтой. Из-под купола цеха сюда автоматически опускают жаростойкую фурму, по которой в огненное нутро агрегата подают интенсификатор плавки — кислород. Минуты, и конвертор готов к продукту кислорода. Оператор, находящийся у пульта управления в дистрибуторной (стеклянное окно-стена этого помещения расположено напротив и выше конверторов), жажмает кнопку «Пуск кислорода». И вот уже из горловины хлещут огненные языки — началась плавка.

Перед оператором сонм вопросов. Сколько продуть кислорода, чтобы разогреть металл до температуры, заданной по технологии? Как завершить плавку, «поймать сотку», то есть с минимальным, не превышающим и сотой доли заданного процента отклонением содержания углерода в готовой стали? Как составить график вот этой конкретной плавки, и такой график, чтобы за меньшее время получить больше стали и таким образом повысить производительность труда?

Все эти и многие другие проблемы оператор должен решить в скоротечные подчас, отведенные по технологии на плавку. В этом-то и призваны ему помочь автоматизированная система управления (АСУ) и ее электронно-вычислительная машина (ЭВМ) — создание разума и труда человека, усилитель его интеллекта.

...Если все познается в сравнении, то ЭВМ сравнима, пожалуй, только с человеческим мозгом.

Ученые подсчитали, что кубический сантиметр мозга содержит



МИХАИЛ СИДОРОВ

Михаил Сидоров — конструктор, специалист по автоматическим системам управления. По образованию физик. Мы печатаем первый его очерк.

ЧЕЛОВЕК И АСУ

Рисунки
Д. УТЕЙКОВА.

около десяти миллионов «решающих» и «думающих» нервных клеток — нейронов. В таком же объеме электронной «начинки» ЭВМ помещается лишь сто искусственных «нейронов» — миниаторных усилителей, сопротивлений, конденсаторов. Это количество «нейронов» еще недостаточно для приобретения электронно-вычислительной машиною качеств, присущих человеческому мозгу. Даже самые лучшие ЭВМ значительно уступают человеческому мозгу в аналитических способностях и совершенно не умеют работать с неточными представлениями, понятиями, идеями, то есть лишены способности к творчеству.

Зато вычислительные машины считают в миллион раз быстрее человека. Память у них изумительная. Некоторые машины умеют обучаться. В Киевском институте кибернетики есть машины, которые даже проектируют другие, подобные себе, ЭВМ.

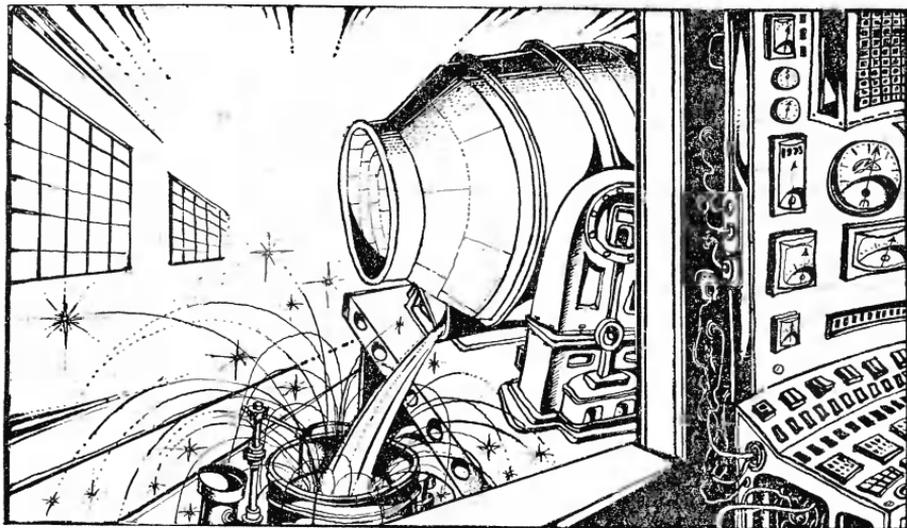
Запоминать, считать, проектировать машины умеют. А управлять? АСУ — это уже не только ЭВМ, го целый комплекс приборов контроля, регулирования, телемеханики. ЭВМ организует работу всей системы. Машину, выполняющую такие функции, обычно называют УВМ — управляющей вычислительной машиной. Но, конечно, управление это осуществляется под контролем человека.

Приборы и устройства АСУ автоматически, по команде управляющей машины, добывают, собирают и передают ей информацию о ходе плавки. Машина, «ознакомившись» с этой информацией, логически ее перерабатывает и, сделав необходимые расчеты, советует оператору конвертора, как вести плавку. Но «ум хорошо — два лучше», поэтому оператор внимательно следит за световым табло, на котором появляются рекомендации машины.

На разработку таких АСУ уходят годы жизни. На их внедрение — чуть меньше...

И вот наступает день...

...Плавка окончена. Фурма стремительно вышла из конвертора и остановилась, покачиваясь над его огнемывающей горловиной. «Попали в анализ», — говорит оператор, взглянув на табло. Это означает, что температура и химический состав выплавленной стали соответствуют заказу. Напряжение в дистрибуторной спадает. Все облегченно вздыхают, кое-кто закуривает. Затем нас — математиков, электронщиков, автоматчиков —



обстреливают вопросами. Мы с готовностью отвечаем. Иногда, правда, нас не понимают, но ведь долго не понимали и Норберта Винера — родоначальника кибернетики, умевшего кратко, удивительно ясно и образно говорить о проблемах этой науки...

Мы счастливы. Ведь эта плавка проведена с помощью автоматизированной системы управления, в разработке, наладке и пуске которой есть большая доля и нашего труда.

Вспоминая отладку системы...

Сколько дней, вечеров, ночей отдано ей, сколько нервов. Наладчик АСУ должен не только превосходно знать устройство системы, но и как бы чувствовать ее электронную «душу», в особенности «душу» УВМ. Машина должна работать без сбоев и быть точной, как звездные часы.

Первые же дни отладки машины выявили ее неровный «характер». Она была капризна и чуть что не так — выходила из строя. За норев ее прозвали «электронным мусгангом». Некоторые наладчики — математические няни машины — по ночам плакали от напоминания «характера» подоночной.

Круглосуточное дежурство за пультом УВМ учит смекалке, терпению, тактичности. Знать — это быть выше неуважения к менее знающим. Не кричать — обучать! А глаза ввалились. Скулы не брызги. Реплики остроумно-ядовиты...

Пуск системы управления — период безраздельной власти наладчиков. Поле их деятельности весь цех, где проложены сотни километров кабелей линий связи, установлены десятки приборов и устройств АСУ. Иногда наладчики отлекают производителей своими вопросами. Их терпят — есть приказ директора завода помогать. Помогают, скажут правду, редко. Чаще проинзируют по поводу надежности автоматикки. Нередко в этой проници прослеживается интерес узнавания нового. Очень любознательны киповцы — заводские специалисты по контрольно-измерительным приборам. Эти помогают, внимаю. С ними

работается легко, спокойно, уверенно. Для наладчика это счастливые и наиболее производительные часы.

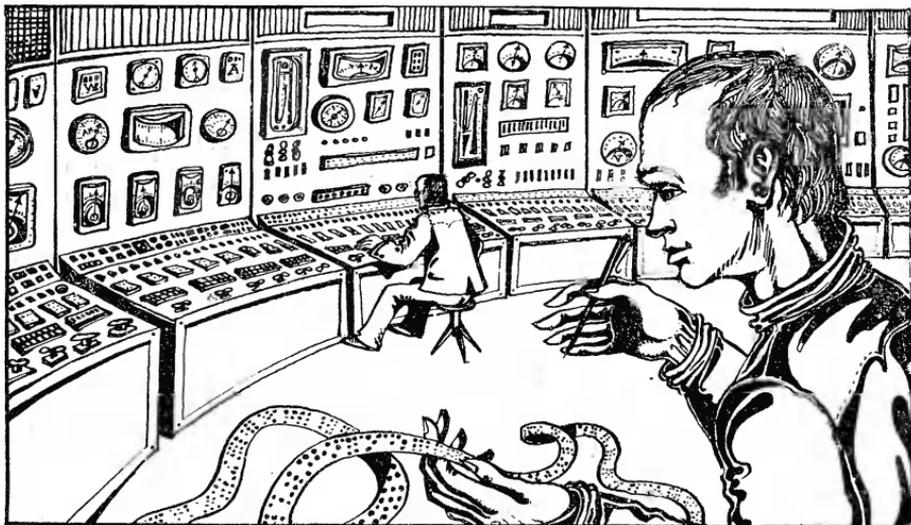
Основная проблема отладки АСУ — стыковка множества ее блоков и устройств. Причем не только механическая и электрическая, но и логическая. Путь в логике построения АСУ нельзя. Алогичных АСУ не бывает. Они для автоматчика, как мертворожденные дети, пустота и страдания.

Многие из специалистов по автоматике — вечные командировочные. Их семьи живут ожиданием, и дети с удивлением встречают полузабытых, лобастых, чуточку орещенных отцов... Эти отцы — неплохие математики, электронщики, физики. Некоторые — превосходные шахматисты. Остроумие, содержательность мыслей у них высоко ценятся. Они любят автоматику, как крестьянин землю, много и упорно трудятся на абстрактно-земной ниве автоматизации. Руки у большинства из них ловкие, с тонкими, нервными, музыкальными пальцами. Такие руки необходимы, чтобы разобраться в сложных, запутаннейших схемах приборов и вычислительных машин.

Иногда — в командировке, в гостинице чаще, чем дома, — мои коллеги играют на гитаре, поют. Простор души, логика мыслей, непрерывное обдумывание проблем автоматики — вот что необходимо этим людям. И еще книги, хотя их читают некогда.

...У главного конструктора работ полон рот. Может быть, поэтому его прозвали Неулыбом. Он высок, худощав, очкаст. Его нескладное тело, кажется, существует только для того, чтобы носить крупную, лысоватую голову. Обсуждение технической проблемы для него удовольствие. Никакой спешки, алогичности в мыслях. Раздумчивость. «Интересно, интересно», — приговаривает он во время беседы. А глаза его — вы это замечаете тут же — вдруг начинают смотреть мимо вас, как бы взглядываются в собственные мысли.

Мы работаем, а вокруг нас металл во всех его состояниях и видах. Чугун и сталь, которые выплавляют, разливают, охлаждают в изложницах, нагревают,



катают на прокатных станах. И везде измеряют температуру металла. Ведь данные о температуре металла — основа для автоматизации и контроля всех технологических операций на металлургическом заводе. Естественно, и наша АСУ имеет устройство — причем автоматическое — для измерения температуры чугуна или стали перед заливкой в конвертор.

Устройство это мы прозвали «макалкой». Металлическая конструкция «макалки» напоминает колодезный «журавль». В деревнях с помощью «журавля» опускают ведро в колодец, а здесь, в цехе, сам «журавль» автоматически опускает в ковш с расплавом чугуна термомпару — измеритель температуры чугуна.

Однажды случилось, что «журавль» не послушался автоматики и чуть было не утопил себя в ковше с кипящим чугуном. Пока сработала блокировка, по приказу которой «журавль» вытащил из чугуна термомпару, она уже горела. Торчала оплавленная культи трубы со сгоревшими электропроводами. После этого случая мы придумали более совершенное устройство блокировки, не допускающее «утопления» термомпары. Можно сказать, сделали устройство осторожнее и чуть-чуть умнее.

Месяцы кропотливого труда «одушевили» АСУ, надежды вычислительную машину системы умением руководить плавкой, учиться на ошибках. Сделали машину расторопной и точной в расчетах, в передаче информации людям.

Однажды мне пришлось дежурить у пульта управления конверторами в дистрибуторной. Помещение светлое, просторное. Кондиционеры дают прохладу, необходимо людям и приборам. В окно мне хорошо видно, как конвертор, закончив сливать готовую сталь и медленно вращаясь, становится вертикально. Плавка закончена. Пора начинать новую. Конвертор загружают металлом, заливают свежий, только что из доменной печи, солнечный расплав чугуна. На табло зажигаются рекомендации УВМ по ведению плавки.

— Рекомендации принимаю,— говорит мне оператор и берется за рычаги управления конвертором.

В конце плавки, сваренной по всем правилам технологии, оператор, которому машина явно облегчила работу, шутит:

— Уж не умнее ли меня ваша машина? Тогда зачем я?

Мы разговорились. Я объяснил ему, что автоматизация не устраняет, а, наоборот, повышает роль человека в производственном цикле. Она освобождает его от механической, однообразной, рутинной работы по учету, расчету, простому управлению, оставляя человеку человеческое — радость творчества.

Последующий экономический анализ работы системы управления показал, что ее применение способствовало росту производительности труда конверторщиков. Тщательный химический анализ подтвердил теоретический прогноз об улучшении качества металла, выплавляемого в содружестве с автоматикой.

Везде, в том числе и у нас в цехе, электронно-вычислительные машины «привыкают» работать совместно с людьми и механизмами. ЭВМ — результат, символ и вместе с тем движитель современной научно-технической революции. Появление вычислительных машин означало реализацию вековой мечты человечества о думальцем работе. Автоматизация умственной деятельности человека с помощью ЭВМ — высокорепродуктивных орудий интеллектуального труда — удеситерила производительные силы человечества в его вечной борьбе с природой.

Вычислительные машины позволили приоткрыть тайны механизмов человеческого мозга. Знание принципов работы ЭВМ помогло объяснить многое в природе инстинктов и рефлексов. Появилась уверенность, что законы нервной деятельности живых существ одинаковы во всей Вселенной и подобны «машинному» действию мозга...

...Ночью в гигантском цехе ни души. Он отдан во владение автоматике. Горловины конверторов излучают жесткий лунный свет. И вдруг начинается, ощущая что-то ниполостное в этих агрегатах, ревущих, как ракетопосылители при взлете, в пронизывающей, полуплунному контрастной светоте, освещающей безлюдье. Иногда от этого становится несомненно не по себе... И, как в космосе, тянется к людям.

К сожалению, системы, как и люди, смертны. Они долго и трудно создаются, но быстро устаревают и умирают. Так случилось и с нашей АСУ. Появились новые, более совершенные автоматизированные системы так называемого динамического управления, которые способны без участия человека, по под его контролю планировать сталь самого высокого качества.

Завершалась моя командировка по металлургическим заводам Урала. Осталось побывать в Первоуральске, на Новотрубном заводе.

На территории завода попадаешь в особую атмосферу производства. Здесь сосредоточены труд людей, их мысль, трудности, радости. Сами люди здесь безразлично интересны и сложны...

...Трубопрокатный стан 30-102. Раскрылось красное жерло печи, оттуда выехала рубиновая заготовка. Ее подхватили черные механические руки, обожженные раскаленным металлом. Они подняли светящийся цилиндр, перенесли и бросили на роляганг. Оператор нажал кнопку на пульте, и заготовка алой змеей скользнула в тысячисильные объятия прокатных механизмов стана.

Визг сминаемого, обжимаемого металла, сноп искр — и вот уже готовая нежно-розовая труба падает на движущийся охладительный стол. Одна, вторая, третья — поле труб. Над ними маревом, как в жару над степью... Охлаждаясь, трубы становятся маляновыми, потом темно-вишневыми, бордовыми.

Просто, красиво, быстро работает стан-полуавтомат, управляемый человеком... В цехе неподалеку работает стан-автомат. Трубы здесь изготавливаются вовсе без участия человека: станом управляет новейшая адаптивная система управления.

В чем состоит адаптация, приспособление, к меняющимся условиям производства на основе обучения?

Стан изготавливает партии труб, отличающихся размерами — диаметром, толщиной стенки и другими характеристиками. Это требует частой перенастройки работы стана. Такие перенастройки, большие скорости прокатки труб, жесткие допуски на их размеры делали неэффективным ручное управление.

Адаптивная система перенастраивает работу стана в течение нескольких минут. Управляющей вычислительной машине системы достаточно прокатать пять-шесть труб (это период ее обучения), чтобы выбрать наилучший режим прокатки...

Счет изготовленных труб ведет фотодатчик. Роляганг стана провозит каждую новорожденную трубу мимо фотолаза датчика. Заметив раскаленную трубу, датчик тотчас шлет сигнал-импульс в регистратор цеховой автоматизированной системы учета, планирования и управления производством.

В систему поступают также данные о продукции, произведенной на других станах цеха, данные со станков линии отделки труб, с устройств контроля качества продукции...

Иду по коридору. За одной из дверей с табличкой «Цеховой пункт сбора информации» гулко стучат печатающие устройства. Вхожу. У телефона сутулится оператор. Туда-сюда бегают каретки автоматических печатающих машинок.

Из устройства дистанционного сбора данных (шкаф, набитый электроникой) рыскают, трещат, как кинолента, ползает бумажная лента. Она сворачивается в голубоватые колыба, падает на пол. Кладу ленту на ладонь — вижу толкую вязь набитых отверстий: так на ленте закодирована поступающая информация. «В каждой строчке только точки...» Эти строчки прочтут вычислительные устройства цеховой АСУ. Они расшифруют код, переработают прочтенную информацию и составят итоговый документ — таблеграмму, которая даст точную и полную картину работы цеха за сутки. Начальнику цеха остается, изучив таблеграмму, принять необходимые решения по оперативному управлению работой цеха.

Перфолисты будут переданы также в информационно-вычислительный центр (ИВЦ) общезаводской системы управления — «вышестоящей» в сложной иерархии цеховых и иных систем, из которых постепенно будет «сложена» автоматизированная система управления заводом.

На заводах любят показывать информационно-вычислительные центры. Не посвященный в «тайны» электроники обычно недоумевает, оглядывая помещение, заставленное шкафами, телетайпами, печатающими машинками. Привлекает внимание лишь пульт управления, эстетически оправданный палитрой красок, беззубым клавиш, зелеными глазками лампочек-индикаторов. «Где же машина?» — ширит глазами посетитель, трудно восприняв объяснения одного из хозяев: ему недомекет, что у ЭВМ многоблочное тело и что все это — шкафы, пульта, телетайпы — и есть, в сущности, машина.

Цеховые системы управления шлют сюда, в ИВЦ, производственную информацию. Стучат телетайпы, работает телефон, поступают рулоны перфорационной ленты... Цифровые вычислительные машины здесь постоянно ведут учет изготовленной на заводе продукции. С их помощью экономисты завода планируют себестоимость продукции по каждому стану, цеху, по заводу в целом...

Раньше анализ технико-экономических показателей работы завода растягивался на недели. Сейчас на стол директора завода каждое утро кладут составленную в информационно-вычислительном центре таблеграмму. В ней полная картина работы предприятия за сутки...

Составляют также итоговые таблеграммы, показывающие, как работает завод в течение недели, месяца, года. Эти данные затем передают в информационно-вычислительный центр Министерства черной металлургии.

На заводе убедился, что главный итог работы первой очереди автоматической системы управления всем производством (АСУП) — это своевременное получение информации о ходе выполнения плана и отгрузки продукции, а также уменьшение ошибок, которые дорого обходятся заводу и государству.

В двух цехах, где работают автоматизированные системы управления производством, на восемь процентов увеличился объем производства. Экономия от внедрения систем составила за год более трехсот тысяч рублей. И это только начало...

Пока еще трудно поддаться анализу, выявлению закономерностей социологические проблемы производства на заводе... Но эти закономерности необходимо открыть, заложить в ЭВМ системы управления предприятием. Социологическая лаборатория завода решает эти проблемы совместно с научными сотрудниками Уральского центра Академии наук СССР.

Открытие и применение микроскопов движения кадров помогут сделать заводскую АСУ действенным оружием влияния на рост производительности труда... Управление движением кадров поможет ква-

лифицированно решать важные проблемы подбора и расстановки людей, стимулирования их труда, прогнозирования обеспеченности работников.

Сейчас автоматическая система управления пролегла через умы и сердца всех работников на Первоуральском Новотрубном заводе. По мнению многих людей, на предприятии теперь четко определены позиция каждого по отношению к АСУ: помощь на деле или красивые слова о системе, неверие в нее или глубокая уверенность в ее пользе, безразличие или решимость создать действенную систему управления заводом. Постепенно отношения между людьми начинают определяться не просто благожелательностью друг к другу, но, главное, их компетентностью как специалистов, рационально, научно обоснованной организацией труда.

У систем управления активный, требовательный характер. Они безжалостно обнажают слабые места производства и слабых, некомпетентных людей. Стало остроощутимо, насколько важно, чтобы на руководящих постах были люди активные, думающие, ищущие...

Академик В. М. Глушков считает, что с появлением АСУ «меняются, а точнее, резко возрастают требования и к морально-этическому уровню и к квалификации руководителя. Полная информированность будет великим достижением, но в руках недобросовестного или невежественного работника новый инструмент управления может оказаться опасным, как бритва».

Хочется отметить, что автоматизация не освобождает человека от напряженного интеллектуального труда. Человек должен много трудиться хотя бы для того, чтобы быть умнее машин, которые быстро приумножают свои интеллектуальные возможности... Даже полная автоматизация не избавляет человека от решения сложных проблем, которые «не по уму» кибернетическим машинам.

Решение проблемы автоматизации управления технологическими агрегатами, заводами, отраслями народного хозяйства, экономикой всей страны — необыкновенно сложное, нужное дело. Универсальность законов управления, провозглашенных кибернетикой, сделала знание этих законов насущной потребностью специалистов всех отраслей науки и техники. Кибернетические методы осваивает медицина, биология, геология, астрономы... Дальнейшее развитие науки и техники невозможно представить себе без кибернетических машин, без автоматизированных систем сбора и переработки огромных потоков научной и технической информации. Поэтому так интенсивно развиваются кибернетика и сопутствующие ей электроника, автоматика, радиотехника, приборостроение...

Перспективы, открываемые кибернетикой и автоматикой перед человечеством, необозримы. Увлеченных здесь на каждом шагу подстерегают открытия.

Один известный ученый как-то сказал, что в эпоху промышленной революции люди «забросили мудрость ради знания», а сейчас «забросили знание ради информации».

Я верю, что АСУ сделают человека мудрее, ибо они возвращают человеку человеческое: возможность больше созерцать, размышлять, творить...

Чингиз Алиоглы



СТИХИ



Перевел
с азербайджанского
П. ВЕГИН.



Я по широкой шел дороге —
в нее втекали сто тропинок.
Я пил, склонившись над рекою,—
сто ручейков в нее впадали.
Я с дерева плоды срываю —
их тысячи корней взрастили.
Я красный флаг несу — другие
его несли, чтоб мне доверить.
Мне дали сотни поколений
звучанье языка родного.
И в тысячу дверей сегодня
пуская мои стихи стучатся!

Вечное утро

Голубое дерево ветра качается и поет,
на ветках его шестист
листва облаков.
Запах спелого солнца в воздухе растворен.
За караваном верблюдов
идет караван гор.
Горная речка — озорная девочка,
с камешка на камешек —
звон, смех, плеск.
Как смола, тянется
мычание черных буйволов.
Обгоняет ветер табун молодняка.
А над кишлаком прямая струйка дыма.
Это моя мама хлеб печет.
Этот хлеб для друга слаще меда,
этот хлеб застрянет в горле у врага!
Голубое дерево ветра качается и поет.
Я знаю, о чем молчат горы.
Это земля, на которой я родился.
Это земля, за которую я смогу умереть!

Дождь

Сближая судьбы, словно лбы,
мы ночь дыханием согрели,
и, в клятье холод позабыв,
мы дождь по-детски целовали

Закончилась, ушла та ночь.
И звезды вряд ли ярче стали.
Но бродит по земле тот дождь,
что мы с тобою целовали...



АНДРЕЙ ФРОЛОВ

После десятилетки Андрей Фролов работал в Мурманском пароходстве — ночегаром, машинистом, судовым токарем. Плавал на китобойцах. Получил образование инженера-механика, работал наладчиком, конструктором. Последние пять лет разъезжал с экспедициями по Заполярью, Сибири, Дальнему Востоку — шофером, техником, водителем вездехода.

ПЕРВАЯ ПУРГА

Рисунок В. КОВАЛЯ.



До Владимира Ивановича Кулагова я добирался «на перекладных» и очень долго. У меня была командировка на Крайний Север — в царство вечной мерзлоты, жестоких вьюгов и морозов. Дела в тех местах творились грандиозные. Это был «передний край». В небесах и на земле гудели моторы, по дорогам-зимникам тракторы и автомашины везли цемент, горючее для буровых, огромные трубы для строящихся газопроводов. Руководителям — бригадирам, мастерам, начальникам участков и механизированных колонн приходилось ворочать миллионами в полном смысле этого слова. Приходилось принимать рискованные решения, вызванные сложными климатическими условиями, приходилось придумывать и находить выходы, казалось бы, из безвыходных положений.

Владимир Иванович — Володя — буровой мастер, один из лучших в здешних краях. На его попечении — буровая со всей ее техникой и службами, три десятка людей и мощный газососный пласт на глубине двух с лишним километров. Что касается пласта, то тут все вроде бы ясно: над письменным столом у мастера висит геолого-технический наряд и нормативная карта, в которых расписан порядок прохождения скважины. Всему этому его учили. Но под землей была стихия, опасная и коварная. На соседнем месторождении возник неуправляемый газовый фонтан. Поплатился жизнью человек, который закрывал аварийные задвижки. В другом месте фонтан загорелся. С огнем боролись месяц.

И все же молодой, с небольшим опытом Володя был мастером не случайно. Были люди опытные, старые, заслуженные бурьяльщики, проработавшие на бурении полжизни. Но в их времена, когда они были в расцвете сил, подобные скважины на Крайнем Севере бурили по полгода и больше. С тех пор обстановка изменилась, изменились темпы жизни, масштабы работы, появилась новая сложная техника. Скважины проходили за полтора месяца. В руководители требовались люди молодые, энергичные и находчивые, требовались больше технических знаний. В условиях Заполярья требовались еще и определенные моральные качества.

Я познакомился с Владимиром Ивановичем Кулаговым тогда, когда жизнь уже проверила его характер и волю, когда он, человек спокойный и уверенный в своих силах, пользовался заслуженным авторитетом и уважением своих подчиненных. Но было и время рождения бурового мастера — полярной ночью, в пургу. А рассказал мне об этом бурьяльщик Сергей Трофимович Шутлов.

Сергей Трофимович не испытывал никакой обиды ни за себя, ни за свою судьбу, когда на буровую прислали мастером совсем еще зеленого Володю. Именно потому в его бригаду и прислали молодого специалиста, что опытного старого бурьяльщика знали очень хорошо. Необходимые задания у Володи были, а теперь ему предстояло стать руководителем, и помочь в этом должны были Сергей Трофимович и другие бывалые люди.

Сергей Трофимович был парторгом, это давало ему право иногда с глаза на глаз давать молодому мастеру советы, а иной раз и прочесть необходимое нравоучение. Начиналось с самого простого, порой смешного. Раз Сергей Трофимович увидел мастера, залезающего в вагончик через окно. Оказывается, закинуло, перескочило дверь, се нужно было открыть изнутри. Володя, которому что-то срочно потребовалось из его бумаг, недолго думая залез в вагончик через окно.

— Ты меня, конечно, извини,— говорил Сергей Трофимович Володе без посторонних,— нельзя такие вещи делать.

— Это почему же? — спросил мастер и намешлало сощурился глаза.

— Мог Валерку-лаборанта попросить. Некрасиво, когда мастер, хоть и по делу, в форточку лазит.

Любил Володя поначалу сам садиться за рычаги трактора или вездехода.

— Опять ты не прав,— слегка ворчливо, по-стариковски поучал его Трофимыч.— Не спорю, должен ты уметь это делать, должен, да только не хватается за рычаги в ответственные моменты. Тракторист ведь куда опытнее тебя в этом деле, у него лучше получится. Сам— только в особых случаях. Лучше с лебедкой на вышке почаще упражняйся, скорее пригодится.

Первое время, проводя какое-нибудь совещание, мастер присаживался на ступеньки, на порог вагончика, на ящик, на что поало. Сергей Трофимович молчал, боясь надоесть окончательно, только недоброльно морщился. «Рассадил людей для разговора и сам сядь по-человечески. Не то получается вроде ты их просто поболтать собрал или анекдоты рассказывать». Володя видел, что не нравится это бурьяльщику, его правой руке, сменному заместителю. Стал вести себя посolidнее, но, как потом признался мне,— про себя все-таки посмеивался: «Ублажу старика, сделаю умный вид».

Не обошлось и без «вмешательства в личную жизнь». Была на буровой повариха Аня— молодая красивая баба, с характером к тому же. Ухажера имела постоянного, пожениться вроде бы даже собирались. Да вот повадилась по делу, а порой и без дела соваться в вагончик к мастеру. Тот, конечно, в делах, внимания не обращает, а языки злые нашлись, слетнило пустяки. Тут уж была проведена парторгом «воспитательная работа» с поварихой.

— Ты что это за маневры затеяла?

— Какие-такие маневры, че пойму вас,— отвечала та.

— Все ты понимаешь! Ваську своего подзадрить хочешь, ревность вызвать желаеться?

— Может, и желаю.

— А вот прекрати. Володя-то жену любит, шк к чему ты ему.

— Жена-то далеко в городе,— отвечала деваха,— а я рядом.

— Ну вот что,— рассердился не на шутку Трофимыч,— ты смуты здесь не устраивай. Забыла, как я вас с Васькой мирил? Больше не стану. Вам, дурам, невдомек, что мужики от такой ревности не любовью, а злостью загораются. Прекрати!

В конце концов советы Трофимыча возымели действие: Аня прекратила свои шутки.

Все это были пустяки. Главное было то, что буровая работала хорошо. Зарботки у людей были хорошие, состав бригады держался постоянным. Молодой мастер делом интересовался, за всем следил вовремя.

Наступила зима, полярная ночь, ударили пятидесятиградусные морозы.

Раз оклинув критическим взглядом Володю, бурьяльщик сказал:

— Одежонку не мешало бы сменить. Курточку эту меховую на полудубок замени, а то задница, извини, у тебя окажется под местным наркозом.

— Мне эту курточку шилот подарил.

— Вот и повесь ее как сувенир на стенку, в рубьем рядом. Шилотам она, может, и годится, а нам нет. Поверь полудубка еще палец нужно надевать от ветра. Как на мне — смотри.

Володя покосился на Трофимыча, который и так

был крупных размеров, а во всех своих одеждах выглядел великаном.

«Прямо мамонт, а не человек, хоть на тысячу лет — в вечную мерзлоту!»

— Унты тоже не годятся. Тяжелые они, да сушить долго. Валенки вышли со склада самые обыкновенные, только большого размера. А в валенки — носки мешаются из собачины. Я жене в Деревню напишу. Пришлет для тебя.

(«Честно говоря, думал, не «сломаться» бы ему здесь,— рассказывал бурьяльщик.— Слави бы таких на обкатку в благоприятные климаты».)



Задула пурга. Дороги замело, погода нелетняя, сообщения с базой никакого, только связь по радио, да и та временами прерывается, не проходит радиосигналы. Топлива для буровой не успели забросить в достаточном количестве, а был вскрыт газонный пласт. Тот самый мощный пласт, который показал уже, что шутки с ним плохи. В таких случаях прокачка скважины должна вестись безостановочно. Постоянно в ней должен находиться столб раствора, создающего противодавление. Этот раствор должен постоянно обновляться, чтобы не тронсходило его разгазирование. Кончится топливо, перестанут работать насосы, нагнетающие раствор на двухкилометровую глубину, вот тогда жди приключений.

С базы Володя получил распоряжение: «Прекрати бурение, перейти на холостой режим, экономить топливо».

— На холостом режиме тоже не жди ничего хорошего,— пояснил Сергей Трофимович.

А однажды ночью в вагончик мастера ворвался один из смежных бурьяльщиков и привнес недобрую весть: прихватил бурьяльные трубы в скважине, засосало гайной инструмент. Бурьяльщик, не сообщив мастеру, на свой страх и риск пытался выдернуть трубы из скважины, но только усугубил положение: верхний горизонтальный пояс вышки, не выдержав перегрузки, дал погнб. Теперь трубы были без движения, могла прекратиться циркуляция раствора.

Выйдя утром на связь с базой, мастер сообщил о случившемся, сказал, что послал трактор к соседям за монтажниками и приговоровал сдаться закачку соларки (дизельного топлива) в скважину. Это помогает размыть гайну на трубах и инструменте.

Динамик радиы некоторое время молчал, словно в затруднительном положении был не мастер, а человек, ведший разговор из диспетчерской.

— В ближайшее время доставить топливо не сможем. Пурга по прогнозам надолго,— отстали накопеч.



— У меня другого выхода нет. Думайте, как дойти. Даже в скажину качать не буду, все равно в обрез. Думайте, как доставить топливо.

На другом конце думали. На сей раз еще дольше.

— Ждите указаний начальника экспедиции.

Монтажники прибыли очень быстро и сразу приступили к работе. Их бригадир Александр Ильич Кутасов осматрел пояс и сказал: «Дело трудное, мороз,— но заменю пояс, заменим».

Пурга закрыла все вокруг белой пеленой. А жизнь на буровой пока шла своим чередом.

После обеда, скромно постучавшись в дверь, к мастеру вошел тракторист по фамилии Пугач. Он был в замасленной расстегнутой телогрейке, в шапке с поднятыми ушами, свисающими по сторонам. Присел на корточки у порога и закурил. На вопрос: «В чем дело?» — медлил с ответом. Потом долго рассказывал, что у него барахлит левый фрикцион, да и правый не очень, еле фурычит форсунка первого цилиндра. Пугач взял воду для буровой из ближайшего озера. Вода шла на прокачку скажины, на котельную, на кухню. Еще рассказывал, что прорубь каждый раз замерзает. Приходится расковыривать, ломом расковыривать. Володя устал слушать, отправил Пугача, назвав темплотом.

(«Научился немного в людях разбираться,— отметил Сергей Трофимович, который был невольным свидетелем их разговора,— не дал голову себе морочить».)

Потом прибежал монтажник Кутасова в брезентовой робе. Его широкое скуластое лицо было багровым от мороза и оттого, что бежал бегом. Он сообщил Кутасову, что Славка, это был другой монтажник, пересидел на высоте, околечили руки, те может спуститься вниз. Кутасов заочно обругал Славку «романтиком», велел нагреть в дизельной рукавицы. Потом с нагретыми рукавицами за пазухой пошел на вышку выручать Славку.

Стоя шум на кухне. Аня ругалась с Пугачем, который опоздал с водой для столовой. Пугач настолько спокойно выслушал всю брань в свой адрес, что повара пригрозил в следующий раз расколоть сковородку об его голову, если вода не будет во время. Пугач снова пошел выяснять отношения к начальству, любил он это делать.

— Мне сковородок не жалко,— ответил ему Володя,— пусть хоть все о твою голову расколочит.

Пугач похлопал глазами и ушел.

— Правильно ты его,— сказал Сергей Трофимович.— Ничем не проймешь этого человека, у него не нервы, а проволока железная.

На следующий день нарушилась связь с базой.

Опять не было прохождения радиосигналов. Буровую, может быть, и слышали, но она базы не слышала. Из эфира доносились чужие настоящие голоса, все что-то требовали, всем что-то было нужно. Володя на всякий случай прокричал в эфир о своих делах.

Пурга и не думала стихать, наоборот, усилилась.

Монтажники приготовились ставить на место новый стержень вышки, старый, что служил перекладиной между двумя вертикальными стойками, был уже снят.

Кутасов застегнул поверх полшубка широкий страховочный пояс, цепь перекинул через плечо.

— Не знаю, сколько провозимся,— сказал он Володе,— сильно увело в сторону отверстия. Два трактора нужны для растяжки вертикальных стоек. При крайности можно одним обойтись. Пугач хороший тракторист, может, справится.

— Хороший-то, хороший, только в настроении плохом ходит.

На улице сквозь вой пурги слышно было тараканье тракторного двигателя. Володя и Кутасов ждали, когда появится тракторист. На крыльце тонал ногами, отряхивался человек. Потом открыл дверь пинком ноги.

Володя и Кутасов не видели из комнаты, кто вошел в прихожую. А тот, ни слова не говоря, бросил на пол рукавицы и принялся греть руки над раскаленной спиралью.

— Это не Пугач,— сказал Кутасов,— тот тихоня, уж не Корнев ли от соседей.

— Я, я, Корнев,— раздалось из прихожей.

Кутасов оживился, приезд Корнева его обрадовал.

— Не помогать ли приехал?

— А зачем же, думаешь, по стругам лез? Фары пургу на три метра пробирают, не больше, дорогу на ощупь искал.

— А как узнал, что нужен?

— Как узнал? Слышал наш мастер ваши разговоры с базой.— И Корнев улыбнулся темным морщинистым лицом, показав в улыбке железные зубы.

В дверь постучались, осторожно вошел Пугач. Вошел и скромно присел на корточки.

— Ну вот, теперь и обсудим, как действовать,— сказал Володя.— Давай твоим трактором одну стойку оттянем, застопорим гусеницы, а Корнев с другой стороны вторую будет под размер натягивать, отверстия совмещать.

— У меня муфта резко берет, лучше мой трактор застопорить,— сказал Корнев.

— Лучше тракторами поменяйтесь.

— Я свой трактор никому не дам. Не-ет. Ни при какой погоде. Думаете, не смогу под размер натянуть? — ответил Пугач.

Володя громко рассмеялся:

— У тебя же фрикционы барахлят, и форсунка одна не фурычит.

После замены пояса на вышке сделали новую попытку проверить, поднять засевший в скажине инструмент. Бурлящие трубы не двинулись с места.

Уровень топлива в расходной цистерме все падал.

С базы были выславы два трактора. Двойной тягой они тащили емкость с горючим. Пройтись не смогли. Отцепив емкость, тракторы с трудом нашли обратную дорогу, вернулись на базу.

В столовой Аня развалила щип по мискам. У нее было плохое настроение, поругалась со своим Васейкой.

— Говорила: заказывайте больше хлеба с вертолетом. Теперь будет пурга месяц дуть, пасадитесь без хлеба! — Аня швырнула миски.

— Скважину можно загубить, столько трудов пропадет, а ты про буханки.

— Дизеля, того гляди, станут, топливо на исходе, — отвечали ей.

— Станут дизеля — а лепешек не на чем будет испечь, — ворчала Аня.

— Когда дизеля останутся, не до лепешек будет.

— Кончатся топливо, ничего не будет, — сказал тщедушный парнишка Миша Уткин, он работал кочегаром. Сказал с наслаждением, словно намеревался кого-то запугать. — Плита твоя работать не будет, замерзнет все, обогреться нечем, электричество погаснет, тьма крошечная наступит. Построимся в колошну, — продолжал Миша, смакуя, — и нешком к соседям.

— Найдем, чем обогреться! — рассердился Сергей Трофимович. — И свет придумаем! И в колонну стропить не станем!

Миша притих.

— Конечно, придумаем, — сказал другой бурлящик, Алексей — Печек железных понаделаем. Коптилок. С буровой какое есть дерево подсираем... Обогреемся. А до соседей-то далеко-о-о...



В вагончике Кутасов разливал по стаканам чай.

— Ну и заварил ты, — сказал Володя, — после такого чая сутки не уснешь.

— Как раз соответствует моменту... Значит, весной поедем на гусей охотиться? А?

— Поедем, — машинально ответила Володя.

— Отдохнем как следует. На Черное море тоже надо съездить. У твоей жены когда отпуск?

— Кто? — переспросила Володя.

— На Черное море, говорю, поедешь?

— Поеду.

— А на охоту?

— На охоту тоже.

— Как ты думаешь, — спросил Володя через некоторое время, — сколько стоит наша скважина?

— Миллиона полтора.

— Я думал — больше.

Володя и Сергей Трофимович делали обход по буровой. Работал один-единственный дизель. Слегка поддерживалось пламя в котельной. Буровую, ее механизмы еще больше занесло снегом, покрыло льдом. Казалось, что все вокруг живет на последнем дыхании. Уходит последнее тепло, кончается последняя энергия.

Всюду, куда они заходили, видели озабоченные лица людей. Всюду немой вопрос: что будет дальше? Мастер не знал, что будет дальше. Никто не знал. Но люди должны были видеть его спокойным, не потерявшим надежды. («Тут и бывалому человеку не долго растеряться, а он молодец — не подавал вида!» Это потом рассказывал Трофимич.) Буровая находилась на вулкане, который мог заработать в любое время. Пока действовали все механизмы, была циркуляция раствора в скважине. Теперь могло произойти разгазирование раствора, падение его удельного веса, падение противодавления, а вслед за этим и выброс газа из скважины.

— Весной обязательно поедем на озеро, — говорил Кутасов Володе в вагончике, — сегов наловим, уку сварим. Сварим уху?

Володя не слушал, невеселыми были его мысли.

— Володя, я тебе что говорю? На охоту... На рыбалку... Ухи... Густынины.

— Да, обязательно... Непременно.

— Эх, Володя, Володя, тебе сколько лет-то?

— Двадцать пять.

— Мало ты бывал во всяких переделках. Бывает, нет вроде никакого выхода, потом глядишь — находится, и самому перед собой стыдно, что паниковал... — Кутасов прислушался... — Слышишь, вроде трактор идет?

— Да что ты в конце концов, как ребенок, меня утешаешь! — вскипел Володя.

Кутасов махнул рукой. Слушай.

— Нет, не показалось мне.

— Галлоципаници слуховые у тебя.

Кутасов встал, надел полушубок. Теперь и Володя прислушался.

— Да... похоже на трактор. — Шум двигателя временами прорывался сквозь вой пурги.

Люди высыпали на улицу, встречали трактор. Он шел, выхватывая из тьмы фигуры людей, углы вагончиков, тяжело работал двигателем. На прицепах была цистерна. Трактор окружили со всех сторон. Из кабины, распахнув дверь ногой, вылез Корнев. Его тормошил, с ним обнимались.

— Сами-то с чем остались? — спросил Володя.

— С чем вы, с тем и мы... Ты какой год на Севере?

— Второй.

— А я пятнадцатый. Закон тундры плохо знаешь. Привет тебе от нашего мастера.

— Закачки солярки в скважину не дали результатов, — говорил мастер в микрофон рации. Рядом с ним находился Сергей Трофимович и Кутасов. — Циркуляция слабеет. Появилась опасность разгазирования раствора. Буду выдергивать инструмент на предельных нагрузках. Прием.

— Ваш новый пояс может не выдержать. Рухнет вся вышка. Дело опасное.

— Выброс еще опаснее.

— Проверьте аварийные задвижки.

— При выбросе на наших грунтах пойдут по сторонам грифоны, снесет все аварийное оборудование вместе с буровой.

— Подумайте как следует.

— Думаем! Начинать! Все!

Мастер выключил рацию, все оделись и вышли.

— Ты, Трофимич, следи за раствором, — сказал Кутасов, — как газ появится, сразу к аварийным задвижкам. Я буду в дизельной за оборотами следить...

— Постой, — прервал его Сергей Трофимович, — к рычагам, пожалуйста, мне все-таки, не ему, — сказал он вполголоса, имея в виду Володю. — Молод еще, неопытен.

— Аварийная ситуация, с опасностью связано. Он мастер.

— Ну кто там будет знать: он за рычагами стоял или я?

— Здесь как на корабле. Знаешь, кто за все в от-



вете? Капитан. В таких случаях не спрашивают, сколько лет от роду...

— Давай, Володя, не плошай! — крикнул Кутасов. — На пояс новый поглядывай. — И Кутасов нырнул в дизельную.

В стороне на безопасном расстоянии от вышки стояла бригада.

— Никому не сходить с места! — приказал второй бурьяльщик, Алексей. Он стоял немного впереди.

— Начали, — сказал кто-то за спиной у Алексея. — Сейчас дернут.

— Только бы выброса не было. Будем гореть сильными пламенем.

Вышка скрипнула, с конструкций посыпался иней.

— Ой, мамочки! Не рухнула бы! — сказала Аня.

— Не говори под руку, — сердито буркнул Алексей.

— Они же не слышат.

— Все равно. Не причитай!

Рывки сопровождался скрежетом металла, гудением натянутых тросов на тальблоке. Потом все стихло.

— Может, кому одному пойти на подмогу? — предложил Пугач.

— Всем стоять на месте! — снова строго приказал Алексей.

— Пережидают, смотрят, нет ли газа в растворе.

— Сейчас снова дернут.

Снова заскрежетал металл. И снова была передежка. Так повторялось несколько раз. Наконец трубы с тальблоком пошли вверх свободно.

Опасность выброса миновала. Инструмент был освобожден.

Володя сразу почувствовал сильную усталость. Он раздевался у себя в вагончике. Заплетающимся языком говорил Кутасову, который сидел рядом, курил:

— Весной на охоту поедем...

— Поедем, — как эхо повторил Кутасов.

— Мастера-соседа пригласим...

— Пригласим...

Молодому мастеру снилась весенняя тундра. Весной тундра оживает ручьями, покрывается разноцветным пыльным ковром, сотканным из мхов и трав. Солнце над горизонтом ходит огромное, оранжевое, не садится. Озера отражают буиный зеленый цвет трав, голубое небо, оранжевое солнце. И летят над тундрой гуси-лебеди, гомочут в вышине...

Проснувшись, Володя увидел Алексея. Тот делал

запись в журнале. Сначала мастер никак не мог понять, куда исчез Кутасов и почему вместо него Алексей. За окном вагончика было тихо. Тоже непонятно.

— Что, пурга кончилась?

— Кончилась, Владимир Иванович, кончилась. Вездеходы дорогу пробили. Автомашины с горячим пришли. Пять штук.

— А Кутасов где?

— На девятую уехал, там с дизельной что-то.

— На буровой как дела?

— Тридцать метров прошли. Я записал в журнале.

Володя посмотрел на часы. Стал поспешно одеваться. Было время связи. Сел к радию.

— Я пятый, я пятый, вызываю базу. Прием.

— Слушаем, слушаем, — сразу откликнулась база.

— У нас все в порядке. Инструмент освободили. Машины с горячим пришли. Продолжаем бурение... Прощай... — Володя обернулся к Алексею. — Тридцать? — Тридцать метров прошли, — сказал в микрофон. — Прием.

— Поздравляем, Владимир Иванович, всю бригаду поздравляем с благополучной ликвидацией аварии.

— Спасибо, спасибо, примите заявку на снабжение. — Володя развернул перед собой амбарную книгу. — Так... Цемент, цемент — пять тонн. Элеваторы к тальблоку, элеваторы — три штуки, три. Хлеб, хлеб — пять мешков, пять. Сигареты «Прима» — ящик. Прием.

— Владимир Иванович, погоди с продуктами, жена твоя тут в диспетчерской, говорить хочет, слушай...



...Так вот, по рассказам Сергея Трофимовича и Кутасова, представилась мне эта история рождесия мастера. С тех пор Владимир Иванович Кулагов — Володя — пробурил немало скважин. Он считается одним из лучших мастеров, работающих в Заполярье, в стране вьюг, морозов и летних распутиц. О нем и его бригаде несколько раз писали в местной газете.

Испытывал удовлетворение и старый бурьяльщик Сергей Трофимович Шутов. Это было видно по тому, как он рассказывал о Володе.

— Но первое время побаивался я за него, здорово побаивался. У нас условия особые, самостоятельность от человека требуется. В умеренном климате ведь как: случилась у тебя авария — сразу прилетит, придет мастер или инженер по аварийным работам, что нужно, доставят вовремя. А тут пурга задует — сам думай, соображай, принимай решения!



**ВЛАДИМИР
ЧЕРНОВ**

ВЕРСТНИКИ

*В прошлом году я познакомился
с четырьмя молодыми людьми.
Знакомство было недолгим.
И у меня и у моих собеседников
времени было в обрез,
мы торопились
по несложным делам.
Тогда я и не предполагал,
что эти встречи на ходу
запомнятся.
Запомнились.
И, очевидно, вот почему.
Мои новые
знакомые — Галя,
Борис, Николай и Валентина —
люди своеобразные,
в чем-то неповторимые,
в то же время
были очень схожи —
в делах, в мыслях о будущем,
в поступках и убеждениях
этих ребят четко
проглядывали черты
нынешнего поколения
молодежи.*

ДЕВУШКА С КАМАЗА

В начале расскажу о Гале Захаровой, девушке с КамАЗа. Любопытно складывалась у нее рабочая биография.

Когда она только на КамАЗ приехала, ей не повезло, попала в бригаду, где каждый был сам по себе. «Вкальвают» до седьмого пота, друг на друга — ноль внимания. Бирюки...

Малаярная работа, как Галя себе ее представляла, была делом радостным: «Я пришла в комнату, грязь крутом, и я подготовила эту комнату под краску, и прямо хочется взяться за кисть, чтоб, когда уйдешь, позади было светло и красиво». Но что же за радость в одиночку? Да и привыкла еще в ПТУ к другому — к слаженности, к товарищескому духу.

Как-то в обед, когда разбрелись все по углам, каждый над своим свертком колдует, не выдержала девушка: «Чего это вы все особняком? Ее постудили: «В чужой монастырь со своим уставом лезешь. Мы сюда не хороводы водить приехали...» Так и продолжали от звонка до звонка работать под одной крышей чужие люди. Одно название — бригада.

Топно стало Гале. Хотела уже куда-нибудь подалее от КамАЗа подаваться.

Однажды подошел к ней Саша Кадук, бригадир соседней бригады. «Чего грустная? Галя давно к соседям приглядывалась. Это были дружные и веселые ребята. Галя Кадуку говорит: «Возьмите к себе». И рассказала о своем житье-бытье. Кадук все сразу понял, однако говорит: «Взять к себе не могу, прости. В бригаде полный комплект». На том и растались. На другой день приходил Кадук на работу, а Галя сидит на его объекте молчком. И вроде уходит не собирается. Так целый день просидела, а вечером Кадук махнул рукой: «А, ладно! Нам пастьрные нужны, выходи с утра на работу. Я в управлении все улажу». И уладил.

Вот тогда и началась у Гали другая жизнь. Вечера, танцы, волейбол, самодеятельность — все это стало каждодневным, привычным, будто бы так всегда и было. И работалось радостно. Свои, свои крутом были люди. И успехи и неделады. Запомнила его манеру себя держать. Нравилось ей, как он работает, как разговаривает с людьми. Если и умеет Галя сейчас по-настоящему вникать в заботы и беды других, — это от Кадука. Это его школа. Даже теперь, когда совсем уже стала самостоятельной, она по привычке прикидывает, как бы вел себя в той или иной ситуации Кадук.

Видите, началось с простого — ее терпеливо выслушали, прониклись ее заботами, дали понять, что нужна коллективу. И человек уже в колесе.

Потом была история с «никудышниками».

Создали такую бригаду в управлении «Соцкультбытстрой» из девчонок 17—18 лет, выпускниц ПТУ. Никто не хотел быть у «никудышников» бригадиром. Дело в том, что девчонок этих (а всего их было восемнадцать) в свое время повыгоняли из других бригад за прогулы и неумение работать. «Галя, — сказал начальник управления Захаровой, только что вернувшейся с курсов бригадиров, — возглавь, мы на тебя надеемся». Он сказал это в присутствии бригады. Галя на девчонок посмотрела и согласилась.



Галия Захарова, строитель. «Я по глазам видела, что хотят девочки работать...»



Борис Чухраев, секретарь обкома комсомола: «Моя работа — это вечные перемены».

Согласилась вот почему: «Они — как я когда-то. Я по глазам видела, что хотят девочки работать, да не умеют, а в бригадах на них криком кричали: лодыри! Напутаны были девочки. И на работу не ходили, потому что боялись работы, жили в ожидании окрика. Веру в себя окончательно потеряли...»

Собрались «никудышники» вместе с бригадиром, стали думать, как дальше жить. И такую нежность и симпатию друг к другу тогда почувствовали...

Но Галя подозревала, что добрые отношения завтра же испортятся, едва только выяснится неумение девочек делать дело. Так и вышло. Готовила в те дни бригада под отделку потолка в строящемся доме. И не получались потолки. А в одиночку не покажешь девушкам, как надо бы по-настоящему работать в паре. Тогда Галя сняла своих девочек с объекта и повела на экскурсию в одну из лучших бригад. Стояли девочки присмирившие и на «классную» работу смотрели уже не как на что-то непостижимое, а пытливо, заинтересованно, понимая, что самим теперь предстоит освоить такой «класс». «Все! Завтра и у нас будут такие потолки». Однако назавтра качество хоть и появилось, да с выработкой дела были по-прежнему плохи. Вечером девочки остались на объекте: «Доделаем — уйдем».

И так — день за днем. Сначала одолели норму, постепенно стали ее перевыполнять. Получали по семьдесят рублей. Потом зарплата перевалила за сто. Одна за одной сдавали экзамены на повышенный разряд. А тут состоялся на стройке конкурс на лучшую бригаду. Галины девочки участвовать в конкурсе отказались. «Не сможем, опозоримся». «Они были невысокого мнения о себе, — рассказывала Галя, — а я видела, что могут уже работать. Говорю: «Не бойтесь...»

Бригада заняла на конкурсе третье место. «Никудышники» перещеголяли передовиков, обошли те самые бригады, из которых в свое время девчачь гнали.

Я встретился с Галей как раз в те дни. Она была такая счастливая...

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧУХРАЕВА

Когда Чухраеву исполнилось восемнадцать, его избрали секретарем райкома комсомола. Доверили самый крупный в Курской области район.

Сел Боря, Борис Михайлович, за пустой стол в своем личном кабинете. В раздумье побарабанил по стеклу пальцами. Потом оформил командировку и отправился по колхозам. На конференции сказал ему секретарь райкома партии: «Не дрейфы! Не залезай в бумаги, руки опустишь. Езжай сначала в первичные, сам увидишь, что тебе делать». Чухраев вовремя слова эти вспомнил.

Вообще Чухраеву легко было с людьми. И люди чувствовали в Чухраеве своего.

В поездках по району разворачивалась вокруг Чухраева до мелочей известная ему, привычная жизнь. Сам он человек деревенский, родители его — колхозники, и техникум, который он окончил, был техникумом сельскохозяйственным.

И потом, еще до секретарства, был Борис членом райкома, руководил комсомольской организацией техникума и по семинарам, собраниям, пленумам знал в лицо весь комсомольский актив.

Все это придавало ему уверенности. А выверенный коллективным опытом взгляд на те или иные проблемы выработал в нем еще и твердость в поступках.

Здесь в первичных организациях, в живом потоке событий, в ситуациях, которые незамедлительно требовали решения, — взвешенного, учитывающего реальные возможности, — здесь на полях, у зерноскладов, на биваках пахотной, среди загорелого, промасленного, патруженного племени сверстников полял Чухраев, что надобен окружающим по людям. Что нуждаются они в его помощи, совете, опеке, защите. За поездку накопилось множество наблюдений, фактов — обобщай, секретарь, делай выводы.



Николай Гурия, механизатор: «Мне предлагали работать в полеводстве. Не могу. Я без техники пропаду».



Валя Дивакова, учительница: «Сухомлинский, кстати, был как раз деревенским учителем».

Вернувшись в райком, начал осуществлять Чухраев свое предназначение. Прежде всего он решил твердо, что комсомольская организация района должна противостоять политике тех хозяйственников, которые работали по принципу «давай-давай», не замечая возросших потребностей молодежи, тяги к культуре, к знаниям, к самосовершенствованию. Только учитывая все это, можно закрепить ребят и девушек на селе,— убеждал, настаивал секретарь. Но понимал и другое: ключ к успеху — в участии молодежи в управлении хозяйством и службами, в повышении «судельного веса» молодежного мнения на собраниях и сходках. Вобретении навыков самостоятельности, ответственности за дело, в общественном коллективном воздействии.

Все возможности районной организации, от рейдов «прожектора» до выступлений в газете, были приведены в действие. Когда Чухраев видел, что слова его с комсомольской трибуны не доходят до цели, он выходил на трибуну пленума райкома партии. «Его поддержку я всегда чувствовал, а это, я тебе скажу, фундамент!»

Сейчас Чухраеву 26 лет, и с прошлого года он первый секретарь обкома комсомола. Окончил заочную Курский сельскохозяйственный институт. Можете судить, как напряженно жил он эти восемь лет. Работает Чухраев минимум по 12 часов ежедневно. Часто дольше.

Что помогло ему вырасти? Преданность тому делу, которому он посвящает жизнь.

Чухраев нужен людям — и больше тут нечего сказать.

Он оптодье не считает себя незаменимым. Я спросил его: «Кто из подчиненных мог бы занять твоё место?» Чухраев улыбнулся: «Многие». Он сознательно окружает себя людьми, умеющими делать то, на что его самого не хватало. Принцип подбора такой: «Смотри, есть ли у человека перспектива, может ли он в любое время заменить меня и вырасти, пойти дальше? Если да — так мне и нужен».

Чухраев не знал в жизни иной работы, кроме комсомольской. Хочется ему иного? «Другая работа? Нет, не представляю. Моя работа — это вечные перемены, вечные вопросы. Сегодня их решишь, завтра возникают новые. Вечное движение...»

ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ

Николай Гурия живет и работает в колхозе имени Петровского, в Черкасской области. Основа, на которой зиждется благополучие Гурина, надежная: земля. И сам он человек основательный.

Сидишь у него в горнице за столом. «Ешьте,— говорит хозяин, высылая на стол крупно нарезанный хлеб, ставя сковороду с яичницей доверху.— Все свое, никогда бежать не надо. На таком вот основании...»

Гурия каждой своей копейке знает счет. Оценивает сделанное обычно копейкой же. Дважды ездил в Казахстан комбайнером помогать на уборке. «За две страды я, считай, две тонны хлеба и привез». Дом свой Гурия весь до чурочки выстроил сам — среди традиционно белых хат неожиданно видный голубой дом, большой и веселый. Этот дом оценил Гурия так: «Тысячи в четыре он мне встал».

Все, что делает Гурия, делает неспешно, но зато прочно, на всю жизнь. И за женой своей будущей ухаживал он два года. «Записываться» не спешил. И понимание у него с женой полное. Вот дочка родилась. Куда ни кинь, дом у Гурия сейчас полная чаша.

Что ж, выходит, Гурия под себя гребет? Да нет, не так. Гурия га «свое» не жадеет.

Дом свой, например, Гурия даже загородкой не обнес: заходи во двор любой, хозяйство нарасташку. И велосипеда, «домашняя техника», на которм

ездит хозяин летом на работу, в теплое время стоит приосеженный к крыльцу.

Зато за бригадную технику.— а Гурия заместитель бригады тракторной бригады.— за нее он навалится на кого угодно. На нее он скуп, бережет, как берег крестьянин из века в век своих кормилицев — корову и лошадь. К трактором уходит Гурия, едва рассветет. Даже тогда, когда дела трактором нет. Ему и ребятам его все неместя, никак не могут уйти домой, пока, как говорится, за каждую гайку не подергаются.

Впрочем, техника для Гурина — нечто больше «кормилицы». «Мне предлагали работать в полеводстве. Не могу. Я без техники пропаду. Я человек «железный», оравленный техникой. На таком вот основании...»

Гурия с собой и с окружающими честен. Поскольку сейчас на бригадирской должности он работает по-настоящему не может — гвоздем в голову сидит незаконченный сарай,— Гурия (предлагали не раз!) от лестной должности отказывался. Ловчить он не смог бы.

Засмеялся Николай Гурия, когда я у него спросил: не намерен ли он из деревни махнуть в город? Нет, не намерен, и не потому, что по всем статьям жизнь у него в деревне лучше городской. Это было бы вранье. В другом дело.

У него есть профессия, за которую его уважают и сам он себя уважает. А иные ведь в город именно за тем и уходят, что не могут в селе приобрести облюбованную профессию. Сестра его, кстати, учится в Киевском университете, на филологическом факультете. Что ж, значит, такая у нее стезя, сам же Гурия намерен поступать в заочный техникум, станет механиком, но для этого не надо из деревни уезжать.

Гурия недаром на селе считают хорошим хозяином. Голос Гурина и в правлении и на общем собрании всем слышен. К мнению его, хоть и молодой он колхозник, прислушиваются.

Гурия встает в пять утра и сразу же начинает двигаться, и каждое движение его — рабочее. Он строит сарай, ладит трактор, и так до поздней ночи, до сна. Гурию во время работы хорошо — знает, я думаю, почему? Он все время видит плоды своего труда.

Он мне, например, сказал, когда вышли мы в поле: «Смотри, пшеницы стоят, как Дунай». Сказал и засмутился...

ВАЛИНО КРЕДО

Прошлым летом Валя Дивакова окончила пединститут и сейчас преподает математику в одном из сел Узбекистана. Мне кажется, что читателям будет любопытно познакомиться с Валею, какой она была на последнем курсе Ульяновского пединститута.

...Если в доме случится пожар, что станет спасать студентка Валя Дивакова?

— Тетрадки с лекциями, а если успею, то пособия и книги по специальности.

— Ну, Валя! На что они вам? Вы же кончаете институт.

— Мне же преподавать в школе. Кто знает, что может понадобиться. Рисковать не хочу. В магазинах пособия очень трудно найти, а в деревне вообще их не достанешь. Я ведь в деревне буду работать.

— А разве не может так случиться, что в городе?

— У меня, конечно, есть возможность остаться в городе. Тем более — прощай. Но в моей группе

меня просто не поймут. У нас почти все девочки из деревни и поедут в сельские школы. А я что же?

Валя отлично учится, с прекрасными отзывами проходит практику, считается студенткой перспективной и способной. Она человек разносторонний. Читает много, направленно, продуманно. Книги художественные, по педагогике и истории, экономическую и политическую литературу. Она поет с эстрады. Окончила музыкальную школу. Правда, сама играет редко, зато в музыке разбирается прекрасно. Именно она определяет музыкальные вкусы своей компании. Компания же ее — все бывшие одноклассники. Подобрался из людей очень разных в смысле вкусов и увлечений. Один учится в политэкономическом, другой в военном училище, третья работает на заводе, вечером учится в планово-экономическом и т. д. И Валя, по уверенно ее друзей, может с каждым из них вести интересную беседу.

«Так почему же,— спросит иной читатель,— такой образованной девушке так мало в жизни надо, что она готова «похоронить» себя в глухомани?» Но сама Валя не считает, что ей от жизни мало надо. У Вали есть к ней претензии. И серьезные и, по личному ее убеждению, немалые.

Валя знает, например, что многое в системе преподавания надо менять. Что школьнику преподавать надо не только знания, а и методы овладения знаниями. Это необходимо развивать способности учеников. Валя намеревается работать в школе именно так. Собираясь ехать в деревню, она узнала все, что могла узнать о жизни сельского учителя. Для нее не открытие, что многих из нужных пособий может не хватать на месте. Для того и берет она с собой лекции. Не себе — школе. Она к будущей своей работе в школе готовится основательно и серьезно. Она отнюдь не наивный, а, напротив, весьма трезвый человек. И расчетливый.

Именно в деревне, считает она, и можно проявить себя наиболее полно, так как там гораздо большая, чем в городе, предоставляется учителю самостоятельность, возможность для эксперимента. «Сухомлинский, кстати, был как раз деревенским учителем».

Валя привезет в школу и вкус к литературе и музыкальные свои увлечения. Да, прежде всего будет тяжелая работа. Но тяжелой работе научиться необходимо. Необходимо, считает она, узнать разные стороны жизни.

Представляя отдаленное будущее, Валя не витает в облаках. На первых порах она не видит себя самостоятельной создающей какую-нибудь новую педагогическую систему. Она считает, что систем пока не хватает, и готовится к будничному делу. Без всякого кокетства она говорит об этом. Валя просто хочет быть хорошей учительницей. А разве этого мало?



РАССКАЗЫ
О
ПРОФЕССИЯХ



Рисунки
Олега КОКИНА.

ЧЕЛОВЕК ЗА РУЛЕМ

Виктор Ключков несколько лет был шофером-рейсовиком в Средней Азии, возил людей и грузы через сложнейшие горные перевалы, обслуживал геологические партии далеко в горах. Сейчас он, шофер первого класса, работает в Москве на машине специализированной «Скорой помощи».

Мой сосед, мальчишка с десятилетней, как-то при встрече сказал мне:

— На шофера пойду учиться. Работа интересная, платят хорошо, хоть и дело простое: крути баранку да на педали нажимай!..

Тогда я не смог убедить его, что это интересное дело совсем не простое. А ведь таких, как мой сосед, немало. И поэтому я решил сейчас кое-что дописать к уже известному о профессии шофера.

В принципе задача шофера проста: перевезти из пункта А в пункт Б пассажиров или груз вовремя и без «дорожно-транспортных происшествий». Это основной шоферский закон. Закон для многих, ибо шофер — профессия массовая.

Что такое брак в работе? У токаря — испорченная заготовка, у сапожника — ботинки, которые никто не наденет, у пекаря — невкусный хлеб. А у шофера — груз, доставленный с опозданием, поврежденный автомобиль или — самое страшное — авария, катастрофа...

...Из Казахстана в Москву путь неблизкий. Пятый день я сидел за рулем, порядком устал, а до столицы было еще около тысячи километров. Да и погода не благоприятствовала: то дождь, то снег. До райцентра Николаевки оставалось километров пятнадцать, когда на обочине я увидел «голосовавшего» человека. Забравшись ко мне в кабину, он спросил:

— В Москву двигаетесь?

— В Москву...

— Я с тобой до Кузнецка подъеду. К родственникам в деревню наведаться. Теперь домой надо, отдохну, да завтра на смену, я тоже шофер, на автобусе работаю...

Встречные машины двигались колонной, меня никто не обгонял: мокрая и скользкая от грязи дорога не позволяла рисковать. Но вдруг, беспрерывно сигналя, мимо промчался серенький «вазик» и, не снижая скорости, скрылся за поворотом. Мой полуптук не выдержал:

— Куда погит, куда торопитесь? Благо бы по делу, а то ведь так просто — катается! Ох, уж эти «гонщики»! Сколько их за куветами оказывается, и все равно жмут на газ, ни с чем не считаются...

В Николаевке решили пообедать. У столовой сто-

ял знакомый «вазик». Мы поели, а когда сядились в машину, увидали его хозяина: молодой парень, лет 25, протирал ветровое стекло от грязи, оживленно беседуя со своей юной попутчицей. Мой коллега, подойдя к ним, сказал:

— Куда торопитесь, дорога-то вон какая, недолго и до беды...

Девушка хмыкнула, а парень, положив тряпку на капот, перестал улыбаться и зло спросил:

— А твое какое дело? Ты что — автоинспектор?

— Нет, не инспектор, а шофер, потому и советую, опыт есть...

— «Опыт есть...» — перебил его парень и снова взял тряпку. — Вот и давай отсюда со своим опытом...

Девушка засмеялась «удачной» шутке приятеля. Мы уехали. Скоро нас снова обогнал все тот же «вазик». И не просто обогнал, а «подрезал».

Шофер из Кузнецка выругался и закурил. Дорога пошла под уклон. В конце длинного спуска, там, где она делала поворот и снова уходила вверх, в нескольких метрах от дороги горел «вазик». Он лежал на земле вверх колесами, изуродованный до такой степени, что поначалу невозможно было понять, что эта груда искореженного металла была когда-то автомобилем...

Один из научно-исследовательских институтов создал недавно установку, на которой определяют «...коэффициент управления, вычисляемый делением времени пребывания водителя в безопасной зоне на общее время выполнения каждой программы, суммарное время тормозной реакции на красный сигнал светофора» и т. д. Трудно сказать, скоро ли наступит день, когда профессиональную пригодность каждого шофера будут определять с помощью подобных установок, сегодня же тысячи людей садятся за руль автомобиля, совершенно не проверенные «делением времени пребывания водителя...»

Имея, как говорится, природой данный характер в необходимый минимум специальных знаний, они получают в свои руки «источник повышенной опасности» (так называют юристы автомобили) и в основном самостоятельно начинают осваивать шоферское дело.

А труд шофера нелегкий, знаю не с чужих слов:

не первый год за рулем. Но знаю и другое: редко кто из моих коллег добровольно оставляет руль — разве что по состоянию здоровья или в связи с пенсионным возрастом. Моряки «заболевают» морем, шоферы — дорогой...

Люди полюбили дорогу, и она полюбила их требовательной любовью, которая ничего не прощает — будь то забывчивость, невнимательность или неумение.

Толковый словарь так поясняет слово «шофер»: водитель автомобиля. Но водителем шофера можно назвать только не знающего особенностей его работы. Да, человека воспитывает, учат коллектив, ставинки, администрация. А у шофера есть еще два иногда очень суровых наставника: автомобиль и дорога.

В районе реки Туй я и шофер Женья Хитров на двух машинах пробирались к стоянке нашей экспедиции. Именно пробирались, потому что раскисшая от осенних дождей лесная дорога была в прескверном состоянии. Дело осложнялось и тем, что она была «одноколесная» (крутом вековой лес) и развехаться со встречной машиной местами просто невозможно. Пока нам везло: встречных машин не было. Но вот впереди я увидел стоящие без движения четыре забрызганных грязью машины.

Мы подъехали и через минуту уже были в чем дело. Молодой парнишка, шофер потрепанного «газика», снял с двигателя откатывающийся бензонасос. Запасного у него не оказалось, у других шоферов — тоже. Машины у всех были другой марки, «зили». Оттащить в сторону «газика» и освободить дорогу невозможно: деревья подступали вплотную к дороге, почти на десять километров сплошьяком. Пять наших машин тоже должны были пятиться назад; казалось, другого выхода нет. Парнишка прыгнул. Ему осталось проехать каких-то пятнадцать километров до лесхоза, там гараж и дом, где он живет. Тогда один из шоферов достал из-под брезента канистру, у кого-то нашелся кусок резиновой трубки, у другого — старый металлический бензопровод. Все это соединили, стыки обмотали изоляционной лентой. Канистру с бензином закрепили на крыше кабины «газика», эрзац-бензопровод присоединили к карбюратору, и мотор заработал. Скоро мы обедели в теплом доме молодого шофера...

Автомобиль навязывает целую кучу обязанностей, которые, в идеальном понимании, водитель выполнять и не должен был... Но пока выполняет, мне думается, правильнее называть человека за рулем шофером.

Каждый шофер — участник движения». Вместе с ним на дороге работают другие водители. Чтобы не совершить «дорожно-транспортного происшествия», он должен уважать всех, но надеяться только на себя, на свое умение и технические возможности машины. Говорят, в какой-то стране после перечисления всех пунктов правил дорожного движения есть последний, на мой взгляд, очень важный: «Пропусти дурака!» Из практики известно, что, пользуясь им, можно избежать многих бед.

Специальные исследования, проведенные в Чехословакии, показали, что семнадцать процентов аварий и наездов совершается

шоферами после разнообразных утренних неприятностей — будь то дома или на работе. Понятно, что невозможно создать шофером такой психологический климат, который бы вызывал одни положительные эмоции. Потому наиболее надежными водителями становятся те, кто по натуре своей оптимист; оптимизм же присущ людям, уверенным в своих силах, имеющим твердые и достаточно обширные профессиональные знания. Шоферы — народ общительный; это потому, что большую часть времени они предоставлены сами себе. На людях же особенно появляется желание поговорить, поделиться впечатлениями, мыслями.

Если кто-то ремонтирует автомобиль, вокруг обязательно соберутся свободные от работы товарищи. Подскажут, помогут, а то и пошутят над неумелым. Но чаще шофер бывает один на один с машиной. Идет ли дождь или светит солнце, падает снег или трещит мороз, шофер, имея под рукой минимум инструментов и, как правило, почти никаких запчастей, сделает все возможное, чтобы машина двинулась дальше. Иначе нельзя: автомобиль не станок, который можно оставить в ожидании ремонта на какое угодно время. Зимой за несколько часов машина может так остыть, что завести мотор не удастся.

Специфические особенности, присущие нашей профессии, нелегким грузом ложатся на плечи молодого водителя, но большинство успешно справляется с ними и «капитально» занимает место за рулем. Очень незначительная часть отсеивается: обычно те, кто по своим психодиземическим данным просто не может работать на автомобиле.

Новичку постоянно напоминают: «Осторожней ездь, осторожней!» Причем именно осторожней, а не медленнее. Осторожным надо быть всегда: и в первый раз, и в сотый, и в тысячный. «Почти каждый, кто управляет автомобилем, вдруг однажды осознает, что живет в нем что-то из «демона дорог». Напыщенная уверенность в себе подсказывает ему, что ездит он лучше других. А если факты этого не подтверждают... тем хуже для фактов...» Так думает известный польский гошник, трехкратный чемпион Европы Собеслав Засада, и вместе с ним те, кто познал процесс вождения автомобиля.

Мой знакомый, много лет работающий шофером, как-то сказал: «Знаешь, я только тогда уверен, что рабочий день кончился без происшествий, когда поставил автомобиль в гараж и отошел от него метров на десять...»

Несколько лет назад работал я в Средней Азии. Однажды, в феврале, потребовалось срочно перевезти из Ала-Аты в Гармский район на Памире две тонны взрывчатки и пятьсот детонаторов. Погрузили ящики с аммонитом, в кабину сел бригадир взрывников Иван Алексеевич. Завернутые в бумагу детонаторы положили на колени. Без приключений по отличной автостраде доехали до Ташкента, повернули на Самарканд.

Начал накрапывать дождь, потом пошел снег. Дорога покрылась льдом, скорость



пришлось спизыг. Впереди нас ждал Китобский перевал. По сухой дороге его, как говорится, проедешь — не заметишь. А по льду... Я порядком устал, но все же решил пройти перевал сегодня. Кто знает, что за погода будет завтра?

На первых метрах обледенелого подъема столби прижавшиеся к скале автомобиля. Шoferы доставали из кузовов цепи противоскольжения, надевали стальные браслеты на колеса. Осторожно я проехал мимо них и включил передний мост. В зеркало заднего обзора увидел: они с завистью смотрят мне вслед. Размышляя о преимуществах автомобилей со всеми ведущими осями, я без труда прошел серпантин и въехал на перевал. Заглушил мотор и оинстил лобовое стекло ото льда. Иван Алексеевич открыл глаза и, увидев надпись «Китобский перевал, высшая точка», потянулся, зевнул и спросил:

— В Китобе скоро будем? Что-то есть хочется...

Не уточняя, я ответил:
— Будем...

И поехал вниз. Беспокойство овладело мной сразу, как только я увидел не тронутый колесами снег, покрывший дорогу. Значит, от Китоба машины не могут пройти.

Я миновал первый поворот. Машина медленно, на первой передаче двинулась к следующему, когда скорость ее почему-то стала увеличиваться. Открыв дверь и посмотрев на переднее колесо, я увидел, что оно вяло вращается и одновременно скользит по льду. Предотвратить скольжение мне не удалось ничем. Выход был один: «притереть» машину к скале. Но после удара ее могло бы отбросить в сторону обрыва...

Набрав довольно приличную скорость, машина катилась вниз. Я приготовился к самым неожиданным последствиям, но то, что ожидало меня за поворотом, превзошло все ожидания.

Слева была скала, справа — ущелье глубиной в несколько сотен метров. Дорога в этом месте имела небольшой изгиб, а край дорожного полотна был выщерблен примерно на метр на самом изгибе. То, что правыми колесами я попадаю в эту промозину, я понял сразу: ширина дороги здесь была меньше колес машины. Это безмолвно подтверждало множество автомашин, стоящих ниже поворота впритирку к скале. Возле первой толпились люди.

Увидя меня, что они стоят молча, а не бегут навстречу, не машут руками, не кричат. Но сейчас мне было не до них. В голове, как в ЭВМ, проскочила в сотую долю секунды тысяча подобных ситуаций. Одна была похожей. Краем глаза я успел взглянуть на судорожно вцепившегося в ручку кабины бригадира. Успел я еще подумать о том, как рванут две тонны амортиза, если мы грохнемся в пропасть.

Переднее правое колесо рухнуло в промозину, я рванул руль влево и придавил до упора педаль газа. В следующее мгновение я отпустил педаль и, почувствовав, как провалилось заднее колесо, вывернул руль влево и снова вжал на газ. Машина оста-

лась на дороге. На все эти манипуляции едва ли ушла секунда.

Осторожно подумав к скале и выключив зажигание. Дорога здесь была уже посыпана песком. Вылез из машины и сел на камень, потому что ноги предательски дрожали. Бригадир тоже вылез и, что-то бормоча, сел прямо в снег, прижимая к животу детонаторы. Обретя дар речи, он помянул черта и заключил:

— В жисть на машину не сяду!

Нас обступили люди, и Иван Алексеевич набросился на них: отчего не предупредили, почему не кричали? Когда красноречие бригадира иссякло, молодой узбек в щегольской кожаной куртке сказал:

— Зачем кричать, зачем шуметь? Все равно твой машина в пропасть шель... Кто помогать может, а?

Но бригадир не унимался. Я взял его за плечо и предложил:

— Садись в кабину, поедем...

Поздно ночью мы были в Гарме.

Все кончилось благополучно, но здесь не просто стечение обстоятельств. К сложностям, неожиданностям шоферу надо готовиться каждый день, каждую минуту. Пусть простят меня за пристрастие к Собеславу Засаде, но лучше не скажешь: «Если собрать все обстоятельства, предшествовавшие аварии (слишком быстрая езда, плохая погода, недостаточная видимость, неожиданное препятствие и т. д.), я проанализировать, что в этом случае водитель мог сделать, чтобы избежать трагедии, то вывод придет сам собой: просто ее хватило умения, базирующегося на хороших, устойчивых навыках и сознательном опущении ответственности. Не считаю, что каждый должен и обязан быть виртуозом. Но, безусловно, каждый из нас может улучшить свое водительское умение».

Ситуации случаются разные. И часто не одно мастерство решает: во многом решает характер человека.

Психология людей такова, что зачастую престиж многих профессий зависит от таких атрибутов, как китель с галунами или капитанская трубка. Но автомобиль — транспорт сухопутный. Ходовой рубки, а тем более капитанской каюты здесь быть не может, водителю же благоразумнее не курить. Но, возможно, в связи с отсутствием этих чисто внешних атрибутов отношение к профессии несколько иное. А напрасно...

Случай из шоферской практики можно было бы приводить без конца, но не в этом суть. Мне хотелось показать молодым людям, готовящимся стать водителями, не сразу бросающиеся в глаза и не всегда понятные «повороты» шоферской профессии. Часто, пользуясь автомобилем (будь то автобус, такси, грузовик или просто легковая машина), мы видим в нем только еще одно удобство, которое облегчает нашу жизнь в бурную эпоху научно-технической революции. Автомобиль на деле — это еще и проблемы. Не только чисто технические — человеческие.





**АНАТОЛИЙ
КАРПОВ**

Кому прямо терпеть поражения?

*Гроссмейстеру
Анатолию Карпову 22 года.
В прошлом году,
победив в Ленинградском
межзональном турнире,
он вошел в восьмерку
претендентов
на звание чемпиона мира,
которые в этом месяце
начинают борьбу
за право встретиться
с Робертом Фишером.
Карпова в первом матче
жребий свел
со Львом Полугаевским.
По системе коэффициентов,
принятой ФИДЕ,
Карпов сейчас стоит
в мировой классификации
вторым — сразу след за Фишером.
Анатолий Карпов учится
на экономическом факультете
Ленинградского университета.
В «Юности» выступает впервые.*

На снимке: Анатолий Карпов на последнем чемпионате страны.

Фото В. КУТЫРЕВА.

Мне повезло: когда мне было семь лет или даже чуть раньше, в большие шахматы с блеском входил Михаил Таль и, как мне помнится, это имя все знали, все болели за Талья — молодая звезда! — и шахматы захватили очень многих. В те годы и у нас, в Златоусте (сейчас я живу в Ленинграде, но детство провел в уральском городе Златоусте), был подлинный шахматный бум. У нас во дворе почти все ребята умели играть в шахматы. В какой-то момент шахматы вытеснили остальные игры, и, устроившись на крыльце, мы целыми днями играли в шахматы.

А первые выточенные из дерева фигуры я увидел дома — мой отец очень любит шахматы. Родители часто вспоминали, с какой жадностью, когда мне не было еще четырех лет, я наблюдал за партиями между отцом и его друзьями. Но с правилами игры, несмотря на мои горячие просьбы, меня познакомил не сразу. Кажется, не меньше года я добивался права сесть за шахматную доску. Помню, как я ужасно расстраивался, проигрывая партию. А отец говорил, что без проигрышей не будет и выигрышей и что, если я так буду расстраиваться, то он не будет со мной играть! Но прошло некоторое время, и я стал оказывать отцу упорное сопротивление, а иногда даже выигрывать у него.

Когда я пошел в первый класс, ребята с нашего двора, которые были постарше меня, но с которыми я играл на равных, уговорили моих родителей позволить отвести меня во Дворец спорта металлургического завода, где была шахматная комната и где регулярно проводились турниры. А во Дворце спорта ребята уговорили руководителя кружка, чтобы я был сразу включен в турнир на выполнение третьего разряда, поскольку у каждого из них уже был четвертый разряд, а я, дескать, не уступаю им.

И действительно, с первой попытки я выполнил третий разряд. И остальные шахматные рубежи, включая гроссмейстерский (я стал гроссмейстером в 1970 году, в девятнадцать лет), я преодолел также с первой попытки — вот только второй разряд, как ни странно, мне дался с трудом. Тут мой основной соперик во дворе, Кольшикин Саша, меня обошел. Кольшикин был старше меня лет на пять, но мы с ним примерно одинаково продвигались по шахматной лестнице. Однако второй разряд я выполнил, кажется, только с третьей попытки, а Кольшикин — с первой. До первого разряда мы добрались опять одновременно, но затем Кольшикин от шахмат отошел.

Не подумайте, что в ту пору я занимался шахматами серьезно. Лишь в пятнадцать лет, когда я выполнил звание мастера, я понял, что шахматы, если хочешь в них прогрессировать, требуют больших знаний и большей самоотдачи. К этому времени на мои шахматные воззрения уже серьезно повлиял Михаил Моисеевич Ботвинник. В 1964 году Ботвинник открыл в Москве свою знаменитую шахматную школу, и я, как и другие подающие надежды школьники, приезжал к Ботвиннику на каникулы.

Ботвинник просматривал наши партии, мы вместе анализировали дебютные схемы, лучшие партии, сыгранные гроссмейстерами в тот период. Подход Ботвинника к шахматам и, конечно, его непосредственные замечания по поводу моей игры, по поводу моего совершенно бездарного знания дебютов — все это впечатляло меня. Я стал читать различные шахматные книги, ибо до знакомства с Ботвинником единственной такой книгой (я прочитал ее, правда, от корки до корки) была книга избранных партий Капабланки. Думаю, что книга Капабланки оказалась у меня случайно, то есть именно эта шахмат-

ная книга, а не какая-либо иная. Увидел однажды в киоске книгу Капабланки и купил. А может быть, именно эта книга и наложила на стиль моей игры отпечаток, хотя пока еще трудно сказать, то у меня есть какой-то стиль. Думаю, что все еще будет меняться: стиль шахматиста складывается в более позднем возрасте, скажем, в двадцать шесть — двадцать семь лет, к моменту расцвета.

Одним словом, именно Ботвинник изменил мое отношение к шахматам, но еще не настолько, чтобы я стал заниматься ими очень серьезно. Даже не зная теории, я мог играть на равных со своими тогдашними противниками, упоная лишь на свою интуицию и способности. Что делать? Молодым шахматистам свойственна излишняя самоуверенность.

Но когда в пятнадцать лет я стал мастером и, наконец, всерьез решил посвятить себя шахматам (до этого я даже не задумывался, кем хочу быть: учился в математической школе, все дисциплины давались легко...), вот тут меня действительно пришло. Я понял, что во многом создаю себе затруднения только потому, что не знаю шахматной азбуки. Но я не стал метаться. Уже в детстве я играл не по возрасту рационально, играл с удовольствием эндшпиля. Должен сказать, что модные дебютные варианты приходят и уходят. Оценка отдельных позиций изменяется, и только умение хорошо играть эндшпиля остается — оно обязательно для достижения успехов в соревнованиях. И так как все у меня выходило в общем неплохо, то я не бросался в другую сторону — не бросался играть острейшие схемы и во что бы то ни стало комбинировать. И теперь, стремясь расширить свои шахматные познания, создать дебютный репертуар, я пытаюсь трезво оценить свои возможности и не ломать себя. Мне всегда, например, приятно было смотреть партии Талья, но я всегда знал, что стиль Талья не для меня. (А может быть, стиль Талья только для Талья и годится?) Я же хотел найти в шахматах что-то свое.

Очень трудно, однако, самому разобраться во всех шахматных премудростях, выстроить для себя систему изучения игры. И в этом мне помог уже Семен Абрамович Фурман, который в 1969 году стал моим тренером. После шестидесяти девятого года, когда я выиграл чемпионат мира среди юношей, я прочно вошел в шахматы и понял, что пути назад уже нет.

Выиграв юношеский чемпионат мира, я получил звание международного мастера. У нас очень много шахматистов, а международных турниров в стране проводится сравнительно мало, и поэтому возможности для получения звания международного мастера ограничены. А только это звание обеспечивает радужный прием у организаторов зарубежных турниров. И когда в шестидесяти девятом году мне удалось с первого раза преодолеть этот барьер, то мне сразу открылась Дорога на международные соревнования.

Но все мои крупные международные турниры пока что можно пересчитать по пальцам — больше десятка, пожалуй, не наберется. Это очень мало, конечно, для претендента на звание чемпиона мира! Все мои основные соперники сыграли значительно больше соревнований, имеют гораздо больший опыт и объем шахматных знаний. Мне было лестно, конечно, читать рассуждения Мекинга, что, дескать, только он и я могут сейчас отнять у Фишера звание чемпиона мира. Я подумал: а в самом деле, неплохо было бы встретиться с Мекингом в финальном матче претендентов... Но я полагаю, что этого не случится, что мы оба — и я и Мекинг — еще достаточно сырые шахматисты, чтобы пробиться в финальный матч претендентов и тем более — выиграть у Фишера.

С Фишером я еще не встречался на шахматных столках. Один раз, правда, в позарифном году, видел его во время турнира в Сан-Антонио, в США. В тот день мы играли последний тур, и вдруг начало партий почему-то отложили минут на десять — пятнадцать. Не понимаю, что происходит, я подошел, кажется, к Кересу и спросил, в чем дело. Он сказал, что ждут Фишера. Мне непонятно было, почему из-за Фишера надо было откладывать начало тура. Положено начинать в два часа, мы пришли, сидим, уже десять минут третьего — так почему надо ждать? Он же не участник турнира? А если бы он был участником, ему бы включили часы — и все. И начался бы тур. Но так уж получилось, что в знак уважения к американской шахматной федерации, к организаторам турнира участники не стали противиться. Сидим, ждем. Появился Фишер вместе с Эйве, затем Фишер поднялся на сцену, поздравовался с каждым участником и сел в первых рядах. Вот и все мои впечатления. А дальше я уже играл партию, я уже был целиком в партии, дальше Фишера я уже не видел. В тот же вечер он, кстати, и улетел. Могу лишь сказать, что он тогда произвел на меня достаточно приятное впечатление.

О шахматной силе, о шахматном стиле Фишера сейчас пишутся целые книги. Могу сказать лишь одно: безусловно, в данный момент Фишер — сильнейший шахматист в мире.

Так все же надеюсь ли я, вы меня спросите, стать чемпионом мира? Свои надежды я возлагаю на будущий цикл борьбы за это звание. В будущем цикле у меня будет больше шансов. На это есть причины. Во-первых, я надеюсь вырасти как шахматист и приобрести достаточный опыт. Во-вторых, все шахматисты старшего поколения сейчас подходят к критическому возрасту. А в сорок лет кривая успехов уже идет вниз. Это неизбежно. Это факт. И доминировать в следующем цикле, безусловно, должны уже молодые.

Трудно, конечно, сказать, кто из молодых гроссмейстеров сможет проделать больший объем работы и оказаться в числе претендентов. Я бы назвал Любнера, Мекинга. Это два основных зарубежных претендента. А у нас я назвал бы, пожалуй, Балашова и, может быть, Кузьмина. Есть еще талантливые молодые шахматисты: швед Андерссон, югослав Любоевич, у нас, например, Тукмаков, Вагания. Но я думаю, что и Андерссон и Любоевич вряд ли смогут завоевать звание чемпиона мира. Они в общем-то стали уж слишком профессиональными шахматистами. У них сейчас все ушло в очки, в турниры. Места для творчества осталось мало. Они не могут пока найти нужной границы, меры участия в международных соревнованиях — бесконечно перезажают с турнира на турнир. С одной стороны, это хорошо — они приобретают опыт, но вырабатывается ремесленничество. В какой-то момент надо себя ограничить и посидеть, подумать: что играть, как играть? А у них нет времени для этого: они постоянно играют.

Этот спор бесконечен: что такое шахматы — спорт, искусство или наука? Для меня это и то, и другое, и третье. Но сегодня шахматы — это, конечно, в первую очередь спорт. Согласитесь, что на любых соревнованиях — международных, отборочных — главный вопрос: кто победит?

Велика роль и науки в сегодняшних шахматах. В романтический период шахмат, до Стейнница, наука отсутствовала. В шахматы играли в свое удовольствие. Стейниц фактически создал новые шахматы,

стал спланивать позиции более научно. Стейниц был провозглашен первым чемпионом мира. И в дальнейшем, чтобы бороться за это звание, известные шахматисты начали серьезно изучать партии противников, искать новые идеи, новые замыслы. А в период Ботвинника и особенно после Ботвинника шахматная наука стала играть уже не второстепенную по отношению к шахматному искусству, а скорее первостепенную роль. И сегодня серьезные шахматисты часто бывают вынуждены обзудать желание сыграть красиво. Во имя чего? Во имя высоких результатов. (Другое дело, что играть красиво иногда приходится как раз во имя результата. Пример тому — моя партия с Гортом на мемориале Алексея 1971 года. Партия исключительная по остроте, по накалу борьбы. Мне нужна была такая партия, чтобы встать и бороться за призовые места, ибо уж очень мне melancholично я играл в предыдущих турах. И эта партия мне удалась.)

На последнем чемпионате страны Спасский решил в одной из партий выиграть красиво, хотя мог без особых усилий довести эту партию до победы техническим путем. И ему удалось выиграть красиво, хотя, как мне рассказывали, Бондаревский, который вновь тренирует Спасского, горестно взмахнул руками, когда Спасский что-то там пожертвовал — ведь был простой и надежный путь к выигрышу. А вот Другой — печальный пример. Тааль, имея подавляющее преимущество в партии со Свешниковым, все время пытался что-то красиво пожертвовать. А в результате с большим трудом сделал ничью. Дело в том, что тот, кто идет по пути нерациональной игры, по пути красивых комбинаций и головоломных осложнений, в конце концов тернет очко — ну, хотя бы одно из десяти. Я же предпочитаю десять партий из десяти выиграть технически.

Конечно, все не так просто. В какой-то момент нерациональность может как раз оказаться высшей рациональностью. В последнем чемпионате страны тот же Спасский играл, прямо скажем, нерационально. Я имею в виду совсем не ту партию, о которой уже упоминал. Дело в другом: Спасский больше всех выкладывался в турнире. Он выкладывался полностью, не прибегая для более ответственных встреч, для матчей претендентов, какие-то теоретические откровения, щедро демонстрировал новые планы в ряде систем. Но этому есть серьезное объяснение: перед матчами претендентов Спасскому надо было почувствовать свою силу. Все последние международные соревнования, я считаю, он провел на низком уровне. Возможно, еще сказывалась депрессия после матча с Фишером. Он еще не мог преодолеть психологическую травму. И мне очень приятно, что Спасский нашел в себе силы, чтобы восстановиться. Да, так выкладывался в чемпионате страны, Спасский поступал нерационально, но в его положении это было наиболее разумным, я бы сказал, вариант. Внутренне, психологически ему было важнее всего опутить свою силу, вкус настоящей победы. Чемпионат СССР явился последней и очень удачной репетицией Спасского перед матчем с Бирном, в котором безусловное предпочтение я отдаю экс-чемпиону мира.

Для всех претендентов этот чемпионат страны оказался очень сложным турниром. Фактически у нас вообще нет турниров, где можно было бы экспериментировать. Допустим, я начал экспериментировать — а время от времени это необходимо, — и если игра не сложилась и я провалился, то на следующий крупный турнир меня могут уже не послать. Вот и получается, что мы должны экспериментировать с оглядкой на спортивные результаты. И последний чемпионат страны носил, как известно, характер от-

борочного турнира, шахматисты расставили по номеру, и надо было непременно попасть в первую девятку. И вообще новая система нашей шахматной организации, как каждая новая система, еще требует серьезной корректировки.

В отличие от Спасского остальные претенденты на чемпионате не выкладывались. Скажем, Полугаевскому, моему предстоящему сопернику, этот турнир был не нужен: он совсем недавно, позже других, пробился в восьмерку претендентов. Он устал, поэтому чемпионат страны играл предельно рационально, хотя обычно он вкладывался в шахматную партию все, все свои силы, все свои знания. А здесь было видно, что он в общем-то играет вполсилы. Я отчасти тоже играл вполсилы, но не потому, что мне не нужен был этот турнир, как раз мне хорошо было бы в нем сыграть, но так получилось, что я с самого начала почувствовал, что нахожусь в плохой форме. Хотя отчасти это, может быть, хорошо, что я тогда еще не вошел в форму, потому что основные испытания ложатся на этот год. И форсировать форму в ходе турнира, по-видимому, не имело смысла. И Полугаевский не хотел показывать все, что он знает в дебютах, и я тоже. Думаю, что мы следили друг за другом по ходу турнира. Я, правда, у его партий останавливался редко, собираясь их посмотреть потом. Он же часто подходил к моему столику. Одним словом, думаю, что борьба в нашем матче будет напряженной.

И Петросян, конечно, думал лишь о том, чтобы попасть в девятку. У него все мысли были о Портише, о своем конкуренте. Дело в том, что счет их встреч в пользу Портиша, хотя я не думаю, что в матче это имеет особенно большое значение. Несколько хуже может быть то, что Петросян еще ни разу у Портиша не выиграл. Это может обернуться некоторым психологическим барьером. А может, и случится обратное. Вообще, как шахматист, Петросян стоит в «табелі о рангах» выше Портиша. Он практически более сильный игрок.

Я думал, что и Корчной не будет особенно выкладываться. Но у него такой задиристый характер, что сначала он играл вполсилы, но потом его заело, особенно после поражения в партии со мной, и он уже включился на полную катушку и работал каждую партию с самого начала и до конца. Работал и работал. Я не могу тут не вспомнить недавний фильм «Гроссмейстер», где Корчной играет роль тренера героя. Может, это профессиональное восприятие, а не чисто зрительское, но меня просто поразила сцена, когда Корчной уговаривает своего подопечного сделать ничью. Это очень странно, это совсем на него непохоже. И, хотя я понимаю, что в фильме Корчной играет роль тренера, но я не могу отделиться от ощущения неправдоподобности. Возвращаясь к реальному Корчному, хочу заметить, что в шахматах у него многое зависит от настроения. Если он в хорошей форме и в хорошем настроении, то играет, как зверь. А нет формы — и Корчной уже не Корчной. Тогда он мучает себя, хотя видно, что игра не идет. Тогда он играет на голом честолюбии, и игра ему дается с колоссальным трудом. Он, конечно, выдающийся шахматист, и обидно, даже несправедливо, что в свои лучшие годы он не стал чемпионом мира, но теперь уже на три матча, полагаю, его не хватит. Какой-то из этих матчей он проиграл. Могу лишь предположить, что если Корчной будет в хорошей форме и настроении, то Меккинг его победит, если же игра у него не будет ладиться, то уже первый матч будет для него очень напряженным и неприятным.

Меккинг. Я встретился с ним в двух турнирах — в Гастингсе и в Сан-Антонио. Как человек он мне ве-

поправился. Правда, говорят, что сейчас он меняется, но на этих турнирах он вел себя просто по-гангстерски. Играл со мной, он вел себя корректно, тут я ничего не могу сказать. Но я дважды наблюдал, как в цейтноте Меккинг мешал своим противникам переключать часы, просто держал кнопку, и все. Что же касается его игры, то в первой партии, в Гастингсе, Меккинг уже в дебюте получил против меня трудную позицию и хотя и пытался сопротивляться, но бесполое. В Сан-Антонио я встречался с Меккингом в последнем туре. Я шел делать с ним ничью, которая мне гарантировала дежес первого места. Когда мы сели за столик, он посмотрел на меня затравленным зверем, хотя я не мог понять, почему. Для него результат этой партии не имел значения — он играл в турнире неудачно. Но так получилось, что я волновался меньше Меккинга — это было видно по его взгляду. Потом, в какой-то момент, хода после пятого-шестого, он понял, что я хочу ничью. И он заулыбался. Но я считал, что он такой человек, что не должен согласиться на ничью. Однако, когда я предложил ничью, а это было еще через несколько ходов, Меккинг, ни минуты не задумываясь, согласился. До межзонального турнира в Бразилии я бы никогда не решился назвать его в числе будущих претендентов, хотя не сомневался, что он шахматист талантливей. В 1967 году, когда Меккинг был пятнадцатилетним, он уже участвовал в межзональном турнире претендентов, где ему удалось выиграть у ряда сильнейших шахматистов. Потом долгое время у Меккинга не было особых сдвигов. Но в прошлом году он значительно усилился, очень много поработал и сыграл на межзональном турнире достойно. И вел себя на этом турнире уже прилично. Хочется верить, что и матч Корчной — Меккинг пройдет без конфликтов.

Я всегда хочу быть первым. Если бы я не был шахматистом, то все равно в чем-то стремился бы быть первым. Ну, скажем, не первым, а одним из лучших. Ну, а в шахматах? Тем более. Иначе глупо играть серьезно. И, кроме того, если не быть первым, то, значит, терпеть поражения. А кому же приятно терпеть поражения? Однако в шахматах все может быть. Звание чемпиона мира разыгрывается раз в три года. Всекие могут вмешаться случайности. Вполне реально и не стать чемпионом мира — ведь за всю шахматную историю их было всего одиннадцать. Но этот вариант я не хочу акцентировать.



Дмитрий Ситковецкий: «Скрипка дается не просто...»



Обычно, когда мы представляем читателям «Оности» музыкантов-инструменталистов, повод для знакомства — успешное выступление на авторитетном конкурсе. Но сей раз повод иной — первый сольный концерт в консерваторском зале.

Чем же вызван столь ответственный дебют Дмитрия Ситковецкого на столичной сцене? Ответ прост: ярко выраженный талант девятнадцатилетнего скрипача, его уже сегодня зрелое мастерство...

— Почему я выбрал скрипку? — говорит Дмитрий Ситковецкий. — Прежде всего потому, что убежден в том, что на этом инструменте можно всего полна и ясно раскрыть душевный мир человека... Правда, говорят, что ближе всего человеческому голосу более зрелого по возрасту человека, а скрипка — более юного. Это не относится к возрасту исполнителя. Просто голоса разные. Вообще скрипка как-то более натурально в человеческое сердце... Да и ближе она мне потому, что первые мои музыкальные ощущения были связаны именно с нею. Мой отец был скрипачом. Он умер, когда мне было всего четыре года. Но я уже с двух лет «играл» со своей крохотной скрипкой, прежде чем в пять лет начал учиться на ней играть.

Отцом Димы был замечательный советский скрипач Юлиан Ситковецкий. Блестяще начав свою музыкальную карьеру, став победителем на двух крупнейших международных конкурсах, он ушел из жизни на пороге своего тридцатитрехлетия.

— Скрипка во многом была предопределена для меня детскими впечатлениями от игры отца, и я никогда не жалею об этом, — продолжает Ситковецкий-младший. — Но мне и сегодня скрипка дается очень не просто. Этот инструмент требует в большей мере, чем другие, труда, настойчивости, целеустремленности. Труда, я сказал бы, даже адского. Трудный инструмент — и в техническом отношении и в эмоциональном. Он, как очень чуткий камертон, — от него не скроешь ни малейшей неточности, прежде всего интонационной, а в этом и известная доля его своеобразного «коварства»... Вы скажете, любой инструмент такой. А я стану спорить, отдавая здесь предпочтение скрипке. С этим коварством, «подводными камнями» скрипки, я встречаюсь каждый день, и признаюсь, был у меня — пусть очень короткий — период сомнений, неверия в свои силы. А может, все шло от требовательности к себе и от ответственности перед именем отца.

Лето Дмитрий проводит обычно вместе со своим дядей — Виталием Григорьевичем Ситковецким, альтистом оркестра Кирилла Кондрашина. И куда бы летом ни выезжал на гастроли оркестр, Дмитрий едет с дядей. И вот в жаркий, солнечный день, когда кондрашинцы заканчивают репетиции и идут на пляж, Дима идет в гостиницу и играет, играет, играет, без конца повторяя сложные упражнения... Затем на пульте появляются ноты — каприсы Паганини, концерт Моцарта... И опять — уже под руководством дяди — многочасовая работа, прерываемая коротким обеденным перерывом или вечерним концертом оркестра...

Конкурс чехословацкого радио «Концертино» — Прага, где Ситковецкий получил в 1966 году первую премию, проводился под девизами. Жюри слушало безымянные магнитофонные пленки с записью конкурсных программ музыкантов в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. В обязательную программу входило одно из крайне сложных сочинений — соната чешского классика двадцатого века Бо-

гулава Мартину, а по собственному выбору Дима Ситковецкий взял тоже очень сложную сонату Георга Генделя. Таким образом, он сразу заявил себя в двух контрастных музыкальных стилях — немецкой музыке доклассического периода и острых современных гармониях. Оказалось, что это совсем не случайно. Я спрашиваю Ситковецкого об основных его музыкальных привязанностях и слышу в ответ:

- Бах, Моцарт, Бетховен, из более старой музыки — Монтеверди...
- А из современной?
- Прокофьев, Стравинский, Шостакович...
- А чем объяснить, что в число ваших особых привязанностей не входят романтики девятнадцатого века, например, Шуберт, Шуман?..

— Это не совсем так. Они входят. Только я называю сейчас самое для меня главное, так сказать, отправные точки... Почему? Вот, например, музыка восемнадцатого — начала девятнадцатого века. Она мне кажется философичной, всесохотной. Ту же глобальность, всесохотность я чувствую и в музыке двадцатого века, естественно, решенной уже новым, современным языком. Но это не значит, что я отрицаю романтиков. Видимо, мне ближе идти к выражению внутреннего мира отдельного человека (а это прежде всего я чувствую в романтиках) через общечеловеческую проблематику. Это уже, наверное, чисто субъективно. Ведь я очень охотно играю и Шуберта и концерт Чайковского (правда, еще в классе) и мечтаю о скрипичных концертах Сибелиуса и Брамса...

И вот Дмитрий Ситковецкий впервые предстал на целый вечер перед переполнившим зал публикой, показав программу в четырех контрастных музыкальных стилях — Моцарт, Шуберт, Брамс, Вайнберг и Прокофьев. Программа сложная и для давно концертирующего скрипача. А тут — первый концерт в жизни. Да еще фортепианную партию ведет такая шансистка, как Белла Давидович, его мама. И программа фактически подготовлена Дмитрием самостоятельно: профессор Юрий Янкевич успел только вчере не начать работу с ним над Второй сонатой Прокофьева, а потом тяжело заболел и скончался незадолго до дебюта своего любимого ученика. А новый его педагог — профессор Игорь Безродный — впервые встретился с ним в классе уже после его концерта в консерватории...

Но вернемся к началу нашего разговора. К вопросу о конкурсах скрипачей.

— Дмитрий, какую программу вы составили бы для себя, если бы вам предложили самому выбирать ее перед конкурсом?

— Прежде всего я не особенно рвусь играть на конкурсах. Они чем-то напоминают спорт — тут иногда решает не мастерство, а выносливость, нервы. А эти качества присутствуют не у всех исполнителей. Я предпочел бы участвовать в музыкальных фестивалях, где не ставятся баллы за игру...

— Но все-таки если бы решился играть на конкурсе?..

— Если бы решился?.. Я бы выбрал капризы Паганини, сольные сонаты Баха, концерт Моцарта, сонаты Бетховена, Прокофьева, виртуозные пьесы Изаи, Венявского, Крейсера, Сарасате. И предложил бы еще в программу что-нибудь из сочинений молодых советских композиторов...

— А для участия в финале? Ведь там нужен концерт для скрипки с оркестром!

— Сначала надо дойти до финала...

УСЛОВИЯ КОНКУРСА «ЗЕЛЕНОГО ЛИСТКА»

Объявленный редколлекцией журнала «Юность» конкурс «Зеленого листка» призван поощрить начинающих писателей в создании произведений о нашем молодом современнике.

Как известно, редакция «Юности» отмечает «Зеленым листком» литературные дебюты на страницах журнала. Это и определило название конкурса. Мы заинтересованы в том, чтобы таких дебютантов становилось все больше, а идейный и художественный уровень присылаемых произведений становился все выше.

На конкурс могут присылаться произведения о жизни молодежи, ее идеалах, работе, учебе, дружбе, любви. На конвертах должна быть надпись: «На конкурс».

Лучшие произведения будут напечатаны в журнале с эмблемой «Зеленого листка», а наиболее достойные из них по решению жюри будут размещены.

В состав жюри под председательством главного редактора «Юности» Бориса Полевого войдут известные писатели, журналисты, художники.

Итоги конкурса будут подводиться в конце декабря текущего года и опубликовываться в одном из первых номеров года следующего.

Установлены следующие премии: одна первая — 500 рублей, две вторых — по 250 рублей, три третьих — по 200 рублей.

Редакция журнала «Юность»

Беседу вел Андрей МУСКАТБЛИТ.



"сую голову в ярмо литературы"

Этими словами сопроводил свой юмористический рассказ школьник из Минска Вячеслав Носевич. Сказано несколько лихо, но мне понравилось. Значит, молодой человек сознает, что литература — дело нелегкое.

Тем не менее число школьников, студентов, солдат, молодых рабочих, вступающих на скользкую тропу юмора, растет с каждым годом. Раньше считали, что в молодости все грешат стихами. Нынче молодые люди заваливают редакции не только своей поэтической продукцией, но и юморесками, пародиями, афоризмами...

В чем тут дело? Почему многие юноши и девушки, вместо того, чтобы воздыхать и проливать светлые лирические слезы, хихикают, а то и хохочут? Ответ один: пресловутая акселерация. Преждевременное повзросление. Ранняя серьезность. А как известно, удел серьезных людей — юмор.

Пусть публикуемые здесь сочинения еще не блещут отточенным литературным мастерством, у их авторов другое достоинство — ребята имеют свою оригинальную точку зрения на окружающий мир. Несмотря на молодые годы, а может быть, благодаря им, они хорошо видят недостатки свои, своих сверстников и, что греха таить, порой «поддевают» старшее поколение. Я думаю, что ничего в этом страшного нет. Просто ребята развивают у себя острый взгляд и умение подмечать в жизни забавное и парадоксальное. А это говорит о том, что они взрослеют, несмотря на то, что кое-кому из них всего двенадцать лет.

Галка ГАЛКИНА

Дорогая «Юность»!

Мне 12 лет, я учусь в 6-м классе средней школы города Киева. Может быть, мне еще рано читать журнал для юношества, но если мне интересно? Я очень люблю смех. И в твоём журнале я прежде всего открываю «Зеленый портфель». Веселые рассказы мне очень нравятся. Я тоже попробовала написать. Вот мое самое-самое первое «произведение». Если оно понравится тебе, напечатай его, пожалуйста. Пожонкий случай произошел в нашем классе, но я изменила фамилию ребят и многое досочинила. До свидания!

Лена ВОВК

г. Киев

ЛЕНА
ВОВК

Что-то нездоровится...

На последнем уроке — контрольная. Уже на первой перемене настроение в 6-м классе заметно понизилось. Что делать?

Иванова бежит в медпункт и объявляет нашему школьному медбрату:

— Александр Григорьевич, мне что-то нездоровится. Голова болит, тошнит и...

Она не успевает окончить. Дверь распахивается, и Грибова со смертельно бледным лицом и пылающими щеками (плод работы всей перемены) выливает в кабинет.

Она замогаильным голосом сообщает, что, очевидно, у нее лихорадка, и поэтому ей срочно нужна справка. Но едва Александр Григорьевич открывает рот, как на него ниспадает Борисов:

— Дайте отупление. Жить не хочу, так живот болит!

За дверями краснощекий Ермолович поспешно догрызает румяное яблоко, но вдруг гнибает в жесточайшем приступе радикулита. Рядом Медведева учит шпатель Понову, а Матвеев деловито осведомляется, с какой стороны находится печень.

— Боже мой! — визжит Верещагина, влетая в медпункт. — Господи! Эта неуклюжая Соловейчик наступила мне на ногу! Ой, ой, ой! Ходить не могу! Наверное, перелом. Александр Григорьевич, родненький, умоляю, дайте справку!

Тут же Соломинский показывает нарисованную фломастером язву, требуя отпустить его с уроков.

— Ну, ладно, ребята, — решительно объявляет Александр Григорьевич, — зайдите на большой перемене. Я всем дам справки. А сейчас марш в класс!

— Урра!!!
Все шестиклассники мгновенно излечиваются от своих болезней и с гиканьем вылетают в коридор. А Александр Григорьевич запирает свой медпункт и направляется в кабинет директора школы.

— Вы знаете, — говорит он ди-

ректору, — мне что-то нездоровится.

— А что с вами?
— Голова болит, и тошнит, и радикулит разыгрался, и па ногу мне наступили, наверное, перелом...

Директор разрешает Александру Григорьевичу идти домой.

На большой перемене толпа больных и увечных тиснет в замкнутые двери медпункта.

Рисунок
А. БЕЛЛ.



Дорогая
редакция!

Меня зовут Катя Синика. Мне семнадцать лет. «Мы не витрины!» — мой первый шаг. Не нужно считать эту новеллу автобиографической. Скорее это просто рассуждения о характере моих ровесников и странностях некоторых родителей.

С уважением

Е. СИНИКА

г. Баку.

Е. СИНИКА

Мы не витрины!

— **П**о физике я получила тройку! — с видимым удовольствием сообщила Светка. — Да, да, тройку! Так и доложи родственникам и знакомым: Светка заваливает вступительные экзамены.

Светкин папа растерянно моргал. Меня тоже вдруг охватило мстительное чувство. Я развязно плюхнулась в кресло и в ответ на галантно-любозное: «А вы, Тома?» — торжествующе выпалила: «Три!»

Светкин папа, пошатываясь, вышел из комнаты. Мне даже стало его немножечко жалко. Физикой-то мы со Светкой сдали на «отлично». Но у нас была плав... Было решено, что и о предстоящих экзаменах предки будут информированы в том же духе.

На следующем экзамене мы тоже получили по пятерке. Универ-

ситет становился реальностью. Тем не менее домой мы явились в полосатых брюках, на голове у каждой красовался рыжий парик. С порога Светка провозгласила:

— Снова по тройку!

Бледный Светкин папа схватил меня за руку.

— Опять тройка? Что я скажу у себя на работе? Что подумает о нашей семье Изабелла Петровна...

— «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» — вставила Светка.

— Какая княгиня? Ты подумала, что отцу нельзя будет нигде появиться? Стыд! У Сергея Ивановича дочка провалилась...

— Папа, — снова не выдержала Светка, — но ведь стыдно должно быть прежде всего мне.

— Да при чем тут ты? — махнул рукой Сергей Иванович.

По четырем экзаменам мы на-



Рисунок М. ВОЧЕНКОВА.

брали 20 баллов. Программа была выполнена. Прочтя свои фамилии в списках зачисленных, мы направились домой. На улице столкнулись со Светкиным папой.

— Ну что, девочки? Как дела? — Как всегда! — ответила Светка и вскочила в проходящий автобус. Мы с ее папой остались стоять у витрины какого-то магазина. Вокруг нас толкались, смеялись, курили, что-то насвистывали.

— Что же вы так меня подвели? Как я буду людям в глаза смотреть...

— Сергей Иванович, как вы думаете, зачем людям дети? — Я долго сдерживалась, но тут меня понесло.—Некоторые думают, что дети — это витрины. И на эти витрины каждый выставляет то, что кажется ему наиболее ценным. Одни — образованность, другие — спортивные успехи, третьи — музыкальные способности... Мы, конечно, должны хорошо учиться и пристойно выглядеть, но не только же ради того, чтобы вы при случае могли продемонстрировать нас знакомым и сослуживцам? Знаете, зачем некоторые родители

заставляют своих детей изучать английский и плясать на скрипке? Только для того, чтобы в какой-нибудь компании небрежно кинуть: «А моя дочка свободно играет Сарате по-английски».

Светкин папа смотрел на меня круглыми глазами!

— Мы не витрины! — выпалила я и сорвала с головы рыжий парик.

И только когда я сказала, что нас со Светкой зачислили в университет, Светкин папа успокоился и даже стал насвистывать что-то веселое.

Дорогая «Юность»!

Я посылал в редакцию два своих рассказа, но они, видимо, не подошли. Сейчас посылаю еще один рассказ. Надеюсь, что его участь будет удачнее. Итак, сую голову в ядро литературы...

Вячеслав НОСЕВИЧ,
десятиклассник

г. Минск

ВЯЧЕСЛАВ
НОСЕВИЧ

Сказка о двух обезьянах

В далекие-далекие времена повстречались две обезьяны. Одна из них всегда оставляла впечатление умной обезьяны, и поэтому ее так и звали — Умная Обезьяна. А другая была какой-то необыкновенной, странной, и поэтому кто-то дал ей кличку Чокнутая Обезьяна.

— Что это ты делаешь? — спросила Умная Обезьяна, и ее глаза от удивления стали большими и круглыми, как половинки кокосового ореха.

Действительно, удивляться было чему! Чокнутая Обезьяна... работала! Она встала на задние лапы, взяла в передние палку и стала

выкапывать корешки каких-то растений.

— Это ты что же — работаешь?! — поразилась Умная Обезьяна.— Ой, не могу! Ой, умру! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Посмотрите на нее! Она работает!

Редко Умной Обезьяне удавалось так смеяться.

— Давай, давай работай! Трудись! Вкальвай! Работа, она... хехе... чокнутых любит. Ой, не могу! Ой, мамочка! Га-га-га! Да где это видано, чтобы обезьяна работала? Сразу видно, что ты чокнутая. Да кому это нужно?.. Смотри на меня: я обезьяна умная и живу себе припеваючи. Уметь надо жить!

Чокнутая Обезьяна молчала. Да и что она могла сказать? По-своему Умная Обезьяна была права: можно отлично прожить без труда. Надо только уметь. И поэтому Чокнутой Обезьяне оставалось только молчать и работать.

Прошло много-много лет, а пра-прапрапуки Умной Обезьяны все так же раскачивались на ветках, строили рожи и верещали:

— Нет, это ж надо! Работать — ха-ха-ха! Посмотрите, что с этими чокнутыми обезьянами работа сделала. Совсем обезьяний облик потеряли...

Особенно привелись они, когда Человек привозил в зоопарк своих детей, чтобы они посмотрели на обезьян.



Рисунок И. ГНИСЮК.

ПЛАТФОРМЫ,

ПЛАТФОРМЫ,

ПЛАТФОРМЫ...

Здравствуй, дорогая редакция!

Я учусь в 10-м классе, очень люблю рисовать. Рисую всем (красками, карандашами и т. д.) и везде, но ни шаржей, ни юмористических зарисовок еще никогда не делала. Это мое первое «творение» на тему, которая волнует все человечество,— «мода». Так что «себя на суд Вам отдаю».

С уважением

Ирина Седая.

г. Москва



СТУДИЯ МОЛОДЫХ ПУБЛИЦИСТОВ В «ЮНОСТИ»

Редакция «Юности» совместно с московской писательской организацией открыла при журнале студию «Публицист». В нее приняты молодые журналисты, рабочие, студенты, выпускники многих вузов, пробующие силы в публицистике.

Чем будут заниматься студии? Будут обсуждать вместе свои новые работы, узнавать мнение признанных мастеров-публицистов о своем творчестве. Встретятся с М. Шагинян, Н. Атаровым, К. Симоновым и другими известными писателями, которые расскажут молодым о своих журналистских дорогах, о планах и взглядах на общее со студийцами дело. Опытom работы над очерками, статьями, репортажами, документальными повестями поделится со своей сменой Г. Радов (председатель художественного совета студии), В. Амлинский, Г. Медынский, Я. Голованов, Б. Анашенков, которые будут вести семинары студии.

На регулярных «пресс-конференциях» перед студийцами выступают специалисты в самых разных областях промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Эта форма работы студии даст молодым публицистам и новые знания и новые темы для творчества. Тем более, что все занятия, включая «пресс-конференции», будут, по сути, беседами и дискуссиями между всеми участниками — студийцами, руководителями семинаров, гостями. Организаторы и участники студии именно так понимают учебу публицистов и преподавание мастерства. Ну, а цель и того и другого одна — побольше публикаций молодых авторов на страницах журнала «Юность», побольше страстных, знающих, опытных публицистов в советской прессе, побольше новых журналистских имен.

На первом занятии студии «Публицист» участники и руководители семинаров познакомились друг с другом, решили организационные вопросы и подтвердили, что взгляды на формы и цели будущей совместной работы — общие. Значит, двери студии можно считать открытыми.

В НОМЕРЕ

ПЕРЕДОВАЯ

Алексей СУРКОВ. Будьте достойны великого имени 2

ПРОЗА

Феликс ВЕТРОВ. Сигма-эф. Повесть 7

Владимир КОЧЕТОВ. «Нак у Дуношки на три думушки...» Повесть 39

Иса КАПАЕВ. Верность очагу. Рассказ. Перевел с ногайского А. Орлов 66

ПОЭЗИЯ

Вячеслав ШЕРЕШЕВ. Сыновья. «Я не боюсь сентиментальности...». Землекопы, Юрий ШИГАЕВ. Зерно. Березы. «Летом рвется, как будто пламя...». Олег КОЧЕТОВ. Сивка. «Накал же неистовая сила...». «Пригладив рогатыми вилами...». Все как прежде... Александр ВАСЮТКОВ. «Опять весна, и гвалт веселый...». Пионерлагерь. «В плаще годов шестидесятих...». Маме. Валерий ЛЕВЕНКО. Рождество. «На пролив туман, как дым...» 4—6

Алексей ЦВЕТКОВ. «Дремал на крышах облачный колосс...». «Выйди с вечера к ручью...». Станислав ЛЯКИШЕВ. Рассвет. Таежная река. Баллада о муже. Лось. Отт РАУН. Финляндия. «Мох спит на камне...». Перевел с эстонского В. Краснополюский. Виктор ЕСИПОВ. В день Победы. Старики. «Шумя, встрепенутся деревья...». Юрий ДУДИН. «Осенняя луна...». Дорога. Валерий МАЙНАШЕВ. Народная песня. Перевел с казачьего Л. Таран. Наталия ФИЛИМОНОВА. «Рыжая кобылица...» 35—33

Ирина ПУТЯЕВА. «Всегда чего-то нам недостает...». «Увы! — такие вот дела...» 71

Чингиз АЛИОГЛЫ. «Я по широкой шел дороге...». Вечное утро. Дождь. Перевел с азербайджанского П. Вегин 89

КРИТИКА

Читатель пишет... Две точки зрения 72

Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации 74

Зураб НАЛБАНДЯН. Вихрем враждебным назло! 76

Борис ЛАВРОВ. Трое на стройке. (К нашей вилладке) 79

ПИСЬМО ЯНВАРЯ

Геннадий АКИМОВ. Я сюда приехал всерьез... 82

НАУКА И ТЕХНИКА

А Я ГОВОРЮ — ИСТОРИЯ! (Веседа журналистки Дали Цуладзе с лауреатом премии Ленинского комсомола за 1973 год Рисмагом Гордезиани) 83

Михаил СИДОРОВ. Человек и АСУ 85

ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей ФРОЛОВ. Первая пурга 90

Владимир ЧЕРНОВ. Сверстники 95

Винтор КЛЮНКОВ. Человек за рулем 99

ШАХМАТЫ

Анатолий КАРПОВ. Кому приятно терпеть поражения?... 102

ДЕБЮТЫ

Дмитрий СИТКОВЕЦКИЙ: «скрипка дается не просто...» 106

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Лена ВОВК. Что-то нездоровится... * Е. СИНИКА. Мы не витрины! * Вячеслав НОСЕВИЧ. Сказка о двух обезьянах. * Ирина СЕДАЯ. Платформы, платформы, платформы... 108

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИБЕВ,
Г. А. МЕДВИНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.
Оформление
Е. Зелениной.
Технический редактор
Л. К. Зябкина.

Оформление 1-й и 4-й стр.
обложки В. КОТЛЯРА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6,
улица Горького, № 32-1.
Телефон редакции: 251-32-83.
85 Рукописи
не возвращаются.

90
95 Сдано в набор 25.X-1973 г.
А 04782.

99 Подп. к печ. 11/XII-1973 г.
Формат 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
102 Изд. № 12. Заказ № 1331.

106 Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.
108

Слово к читателям

Дорогие друзья!

Вот и закрыта последняя страница первого номера «Юности», на обложке которого нарисован зеленый листок. Постоянные читатели нашего журнала знают, что зеленым листком редакция отмечает первые выступления прозаиков, поэтов, критиков, очеркистов, художников, юмористов. И первый номер в новом, 1974 году также следует этой традиции. Он составлен из произведений авторов, делающих первые шаги на литературном поприще. Но на этот раз мы не обозначили каждое стихотворение, повесть или юмореску отдельным зеленым листком: решили поделить этот знак между всеми молодыми авторами.

И только один из писателей старшего поколения — наш добрый, старый друг, Герой Социалистического Труда, поэт Алексей Сурков был приглашен принять участие в номере молодых, ибо то, что он рассказал здесь о скорби народной в день кончины В. И. Ленина пятьдесят лет назад, никто, естественно, из наших молодых авторов рассказать не мог: их еще не было на свете.

Мы надеемся, что первый номер «Юности» даст вам, дорогие читатели, пищу для размышлений, а редакции — новые талантливые рукописи.

Наших дебютантов мы в редакции шутя между собой называем «первопечатниками». И художник И. Оффенгенден позволил себе творческую вольность: он изобразил нового автора «Юности», которому Галка Галкина вручает зеленый листок, на пьедестале памятник первопечатнику Ивану Федорову... Все же до некоторой степени родственники!

Итак, с Новым годом, дорогие друзья! С новыми творческими успехами!

